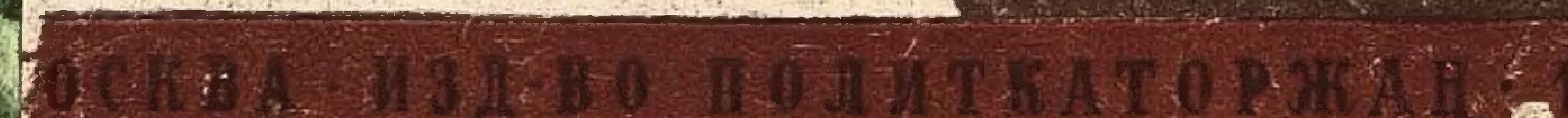
В. Н. СОКОЛОВ

Партбилет № 0046340

ВКП(б)



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
-И-
ССЫЛЬНО
ПОСЕЛЕНЦЕВ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ И ДР. МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО РОССИИ

1931

№ 12 (LXXVII)

МОСКВА

В. Н. СОКОЛОВ

ПАРТБИЛЕТ № 0046340

ЗАПИСКИ СТАРОГО БОЛЬШЕВИКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

Сдана в набор 7/VIII—31 г.
Подписана к печати 19/X—31 г.

Ответственный редактор *Я. Б. Шумяцкий*
Технический редактор *С. М. Матвеев*
Корректор *И. Н. Филатов*

Уполн. главл. В—10134 ФЗУ Мособлполиграфа. Зак. 2208. Тир. 5.000.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЛЮДИ БЕЗ ИМЕНИ

ТРАНЗИТ ИДЕЙ

1

Второй съезд — это горный перевал, открывающий перспективы. Это конец труднейшей, кропотливейшей части пути. Ущелья, подъемы, обходные извивы дороги оставлены позади. И отсюда сжаты размеры их, скрадены расстояния, сближая верстовые столбы. Вытряхнулась, испарилась трудность преодоления переходов. Кончен подъем, отпало и ощущение его тяжести за плечами. Как-будто дорожная сума, набитая до отказа, отстегнулась сама собою и перестала тянуть назад.

Далеко, далеко внизу, куда уже нет желания оглянуться, горы и тени давят и не пускают. Скрытыми остаются в придорожных ущельях Трубачи, Буяновские кружки, кассы взаимопомощи, кропотливые поиски живых связей, случайные организаторы, гектографы... Деяния и доспехи прошлого века. Провалы людей, более заметные, чем их работа. Прорывы дела, более разрушительные, чем до этого было создано. Торопливая завязка узлов, штопанье, штопанье без конца. Как братья Байковы за починкой в конец изношенной обуви. Заказ на новые сапоги для них большой праздник.

Путь жизни обошел эти ущелья и завалил из них выход. Они обречены — жизнь никогда не идет назад.

И снизу оттуда, запутавшись в мелком придорожном кустарнике (на манер Авраамова жертвенного барана), нельзя видеть никаких перспектив. Только когда оторвешься, только на дальнейшем подъеме развертываются неожиданно: полтавские беспорядки, златоустовские расстрелы, ростовские стачки. Они притягивают к себе, десятикратно сокращая расстояние и удесятеряя силы. И они толкают вперед и выше, к самому перевалу, не позволяя ни останавливаться, ни оглядываться назад.

И вот он — перевал. Тягость блужданий и переходов исчезла. Им нет места даже в тайниках памяти. Вольные ветры сдувают последнюю дорожную пыль. Открывается огромный, иной, неведомый мир. И слишком мало у человека глаз, чтобы охва-

тить все впереди. Необычайно близко все и вместе с тем далеко, слишком доступно и недосягаемо, как мечты.

Горные вершины лишены индивидуальности. Они укладываются отсюда в систему. И система — единое целое, это целое — класс. Партия — гребень. Политика — единство партии с классом — непрерывный железный кружевной мост от вершины к вершине до конца горизонта, где горы стыкаются с небом.

Горы и пропасти неразлучны и слиты. Все взброшено к облакам, и потому исчезает высота — все под ногами. Резкие линии и четкие контуры уничтожают форму.

Но здесь понятнее то, что уже пройдено и оставлено позади, яснее и отчетливее то, что впереди. Понятнее отсюда, что надо делать, яснее, с чего начать.

— Волны массового движения все выше и выше, — говорит Носков, — и нужно перестраиваться, чтобы не оказаться в хвосте.

Он только-что вернулся из-за границы после съезда. И, передавая впечатления, входит в свою новую роль члена ЦК. Для нас он остается Борисом попрежнему. Для других он становится Глебовым, Нилом или еще кем-либо. Расширяется территория действия, наращиваются функции — увеличивается запас псевдонимов. На той стороне границы он гладко выбрит, на этой запускает рыжеватую бороду. И по размерам его бороды всегда можно определить срок его пребывания в своем отечестве.

Мы собрались за самоваром у Горна. Обычно его квартиру редко кто из нас посещает: он ведет занятия с ремесленниками, и наши следы к его обиталищу были бы лишними. Но сегодня последний день перед разъездом отсюда. И можно позволить себе некоторую долю неосторожности.

Маленькая мещанская комната с лежанкой пропахла трубкой. Горн редко выпускает ее из рта. И в его комнате не живут цветы, и не задерживаются посетители: слишком мало воздуха без табачного дыма. И всякие разговоры, кроме деловых, здесь вянут. Плешивый Горн, по кличке Сигарыч, гордится такой репутацией своего логова и с добродушной иронией выслушивает упреки. Он отвечает на них только новыми клубами дыма и расчесываньем пальцами грязновато-черной голландской бороды.

Псков, как предсъездовская база, свою миссию выполнил, исчерпал себя до конца. Больше здесь некому и нечего делать. Лепешинского увезли и выслали почти год назад. Кра-

сиков уехал тогда же и не вернулся. Послесъездовская ситуация требует новой ориентировки, нового размещения сил.

— Здесь нечего больше делать,— подытоживает Борис,— для двух пар ремесленников можно оставить на развод одного Сигарыча. Он их будет понемножку подкапчивать на своей трубке. И на всякий случай, на перепутьи между Питером и границей, сохранит квартиры и связи.

Борис сидит на лежанке и, как грач, смотрит из-за длинного носа то одним, то другим глазом. Он говорит как о решенном уже, не предлагая, а декретируя. Уверенный и настойчивый раньше, теперь он готов оказаться распорядителем. Но он помнит, что Стопани, несмотря на свое добродушие, чувствителен к проявлениям генеральства. И хитро, по-грачиному, скашивает на него глаз.

— Митроныч будет восстанавливать Северный союз... в Ярославле или в Костроме... как Митроныч?..

— Это на месте будет видно,— бурчит Стопани,— может быть, придется и в Иванове...

— Не советовал бы: две организации в рабочем центре ослабят конспирацию. Впрочем, сам будешь видеть... Повар остается в Либаве — он уже знает свой район, и сейчас договаривается с Сюртуком.

— Кончай скорее, Володька,— выпыхивает вместе с дымом Сигарыч:— ко мне скоро придут.

— Воробей торопился, да невелик уродился... Зачем было назначать?..

Они препираются зря: сидеть здесь в комнате долго все равно ни у кого нет охоты — душно и дымно, как-будто не жилье, а закут, который никогда не проветривается. Даже сам хозяин часто предпочитает отдых со своей трубкой не у себя дома, а у кого-нибудь из нас.

— И, наконец, последнее... — продолжает Борис: — Искра и транспорт...

— Почему последнее?.. — опять ворчит Стопани:— с этого начинать нужно!..

— Не придирайся, с этого и начнешь. Граница налажена, Таня будет выпускать пудов тридцать в месяц... Сейчас надо оборудовать приемно-распределительные базы. Ирина уже в Полтаве. Мирона пошлем в Смоленск.

Таня — бакинская типография. Оборудование ее было уже закончено, и ожидалась большая производительность. Ирина — высокая, черная девица — с тяжелыми волосами и влажными

губами — должна была подготовить в Полтаве приемочный склад.

С этой же целью я уезжаю завтра в Смоленск, чтобы больше сюда не вернуться.

Борис ночует у меня. И мы еще долго не спим, устанавливая пароли, адреса, ключи шифров...

До сегодня жизнь располагалась так: основное — статистика, здесь стержень, личная жизнь, вокруг которого укладывалась конспирация — явки, адреса, паспорта, встречи, проводы, передачи... С завтрашнего дня обратная установка: стержнем, основой собственной жизни становится конспирация. Статистика или иной какой заработок — лишь попутно, постольку, поскольку не мешает или способствует конспирации. В переверт: конспирация становится профессией, профессия — конспирацией.

Так вообще выявляет свои противоречия жизнь. И логика вещей, независимо от нашей воли, становится логикой разума.

Человек перестает быть человеком,— он становится инструментом революции, ее придатком. Так же, как на заводе рабочий становится придатком машины, ее живым инструментом.

В сущности, что получалось? Москва, Иваново-Вознесенск, Кострома, Ярославль, Тверь, Брянск, Тула — рабочие центры. Давно уже они вытолкнуты жизнью из полусонной, дореформенной колеи. Рабочая закваска бродит и пузырится. Ищет новых дрожжей, нового бродила, которое бы оказалось своим. Каждый для себя и каждый в своем месте ищет.

И не могут не искать. Ибо: сегодня то же, что и вчера, завтра то же, что и сегодня. Дни цепью нанизаны один на другой. И в днях вплетено чужое бродило. Доносится еще утрами на заре гуд лондонского К о л о к о л а. И рвет еще вечерами тишину Желябовский боевой зов.

Но это романтика — красивое покрывало жизни. Рабочая жизнь слишком полна трудом и лишениями, чтобы ее можно было прикрыть романтикой. В оголении — правда. И в правде — своя логика, своя красота. Последнему (исторически последнему) из классов незачем рядиться в чужие лохмотья. Не следует прикрываться чужими одеждами. В этом, в своем (an sich) историческое и собственное достоинство класса. И только с этим достоинством он станет и историческим классом für sich.

И незачем сейчас оставаться кротом — копать тесный и длинный ход, выбрасывая от времени до времени кучки земли

на поверхность. Крот истории, конечно, хорошо роет. Но крот подпольный останется обыкновенной полевой мышью. Он не успевает за жизнью. И жизнь проходит над ним, сравнивая его кучки, заваливая его ходы.

Формы конспиративной организации и работы даны формами производства. Кустарь и ремесленник умирают. И не потому, чтобы они не хотели жить, а потому, что жизнь их перешагивает. И мы должны поспевать за нею. Разве может десяток рабочих центров увязаться в единое целое десятью и даже сотней гектографов? Понадобился бы новый средневековый период. А хорошая типография увяжет сотни рабочих центров. Многие умники теперь пренебрежительно говорят: это техническая увязка. А им нужна другая — идейная. Глупые кроты, через которых шагает жизнь, и они не видят ее.

Книжные люди всегда склонны рассуждать в обратном порядке — что ружье заряжается выстрелом, а не порохом. Как-будто общественные классы образуются идеологически, а не технически. Техника — это зародыш идеологии, идеология — это завершение техники. Логика вещей становится логикой разума.

2

Смоленск — транзитный узел от Москвы к Варшаве, из черноземного центра в Балтийское море. Собственной промышленности нет. Но переваливается и обменивается чужая. От обмена кой-что остается здесь — законный процент, не считая усушки, усыпки, утруски.

И город живет транзитом искони. Не даром же его могучие кирпичные стены могут поспорить своим протяжением, высотой и прочностью со стенами московского Китай-города и Кремля. Они говорят о транзите прошлых веков и иного порядка — транзите войны народов.

От нее остались только эти грозные стены с зияющими проломами. Через них выползал затем город в окраины, за господский тын, отпочковываясь в застенные и заречные слободы. В центре оставался цвет населения, основная руда, в слободы выливался шлак, быдло, чернеть, отбросы — солдатские, мещанские...

Изменился характер транзита, изменились навыки и обычаи. От грозной крепости остались лишь стены с проломами, отделяющие административно-торговый господский центр от ремесленно-потребительской челяди застенных и заречных окраин.

Город торговый — значит, достаточно суетливый, живой. Имеет газету — значит, обеспечен интеллигенцией, которая, как и вообще российская интеллигенция, склонна к революционной романтике. Близок к черте оседлости, что создает и вокруг рядового обывателя атмосферу гражданской полулегальности и оппозиционности.

Для конспиративного предприятия — обстановка, что надо, как для карася тинистый пруд. Нет промышленности, нет рабочих организаций, значит — отсутствует и работа для души у местной интеллигенции. И эта душа остается открытой, не занятой, для нашего обихода. Нет риска провалов по связи, по совместительству. А если потребуется проверить свой собственный хвост, смело иди через „Булонь" к Богоявленскому пролому или через Сенную площадь: никакой шпик на этих слишком открытых путях затаиться не сможет. Если нужным окажется спутать слежку, прямо с главной улицы ныряй в овраг к святому Одигитрию или юркни через Солдатский пролом — и дело в шляпе: трудно будет распутать следы даже верхним чутьем.

Город, что надо, лучшего не придумаешь. Ориентировка дается сразу, как только обойдешь центр, придерживаясь издали стен с их внутренней стороны. Особливо, если приехал утром, а по двум данным адресам нужно пойти только после полудня. Есть время взглянуть и за стены через проломы.

Собственная легализация и заработок прежде всего. Это земское бюро — статистик Семенов.

— От Бориса Николаевича.

— Очень рад.

Чахлый, чалый клинышек бороды, над очками длинные, прямые льняные волосы. Тон конспиративно сдержанный, фигура достоинства с умолчанием. Вспоминается прозвище, которым окрестил его Борис, давая мне адрес: „Пыж".

Не тот пыж, которым забивают заряд в ружье. А совсем новое существительное от глагола пыжиться, надуваться.

— Встретимся у меня, часов в семь. Там же можно и ночевать (если вы не имеете ночевки)... Адрес...

Он чертит план моего пути к одному из проломов, намечает переулки и дом.

— Флигель во дворе... Первое окно от крыльца, стукнете трижды.

Впереди у меня достаточно времени, чтобы продолжать ориентировку по данному плану. Лучше осмотреть путь днем, чем искать его вечером и спрашивать у прохожих.

Застенная окраина деревянных, чистеньких, аккуратных особнячков, с парадными крылечками и затворенными калиточками во двор. Между тротуарами и немощеной дорогой травка, деревянные тумбочки и аккуратненькие неглубокие канавки. Прохожих мало, значит — обитатели или служат днем, или домоседы. Посторонние сюда заходят лишь по встретившейся надобности. Постоянно здесь живут, повидимому, некрупный чиновник или чиновник на пенсии и средний рантье, бухгалтер, семейный приказчик.

А когда шел уже вечером, закрывались в домиках ставни, лязгали болты, проталкиваемые с улицы в комнаты, в дворах спускались с цепи собаки. И когда стукнул трижды в условленное окно, казалось, что этот осторожный стук слышится на целую улицу.

— Я занимаю отдельную квартиру,— говорит хозяин.— Это удобнее, чем в комнате: никто не видит, кто ко мне ходит.

Он замечает, что я переставляю ноги с трудом, неохотно, и держусь ближе к дивану.

— Сейчас я дам вам постель, и будем ужинать. Раньше не мог освободиться: приходится вести кой-какую работу... с рабочими...

— А они здесь все-таки есть?

— Немного... больше мелкие мастерские. Ничего ребята — душа как-то отдыхает с ними.

Говорить не хочется: человека видишь впервые, о предмете, его интересующем, не имеешь понятия, и голова — как пустой резиновый мяч. Скорее бы спать!

Но хозяин, должно быть, говорливее и подвижнее, чем обычно. Он решил вытянуть из меня информацию. Приходится с ним разговаривать общими фразами, так, чтобы ничего все-таки не сказать, но и не потерять в его глазах своего реноме.

— Теперь я спокоен, — потирает он руки, усаживаясь за чай.— Собираюсь за границу — поучиться, ориентироваться,— и некому кружок передать. Вы кстати приехали... на ловца и зверь, как говорят.

— Боюсь, что не смогу заменить вас... Два дела на одни руки — двойная угроза каждому из них...

— Пожалуй, это веское соображение... Но в комитет вы все-таки должны войти. Мне хотелось бы его до отъезда оформить. А ребят я передам Брилингу.

Он действительно в ближайшие же дни комитет оформил. Причем три четверти комитета оказались в одной и той же комнате статистического бюро, за разными только столами.

И деятельность комитета в дальнейшем почти ни разу не вышла из стен этой комнаты.

Так совершалась легализация моя в смоленской статистике.

Привязки к нелегальной стороне задуманного проекта были по другому адресу — учителя духовной семинарии Д. А. Лебедева.

Бывают люди, с которыми встречаешься в первый раз, как со старыми знакомыми. Они просты, бесхитростны, человечны. Им нечего таить или прятать. И они подходят к другому с той долей уважительного внимания, на какую вправе рассчитывать они сами.

Таким именно оказался этот семинарский профессор. Простой и доступный, как деревенский учитель. Добродушный и увалень, как семидесятник-студент. Вероятно, семинаристы его любили и уважали. И не боялись у него на глазах юркнуть в пивнушку.

Так он меня и встретил, как старого знакомого, который зашел к нему напиться чаю. Он был партийный и знал, зачем я приехал. Однако удивительно просто и деликатно обходил все вопросы, которые могли бы намекнуть на его любопытство или показаться назойливостью. Он напомнил мне этим Халезова. Было в них сходство и в происхождении, и в фигуре, и в оканьи говора.

Но зато сам он мне дал большой запас сведений о местной жизни и простые, на редкость верные характеристики людей, к которым нужно было с той или иной стороны подойти.

И работа началась. Так же, как она начиналась и раньше,— исканием полезных знакомств, закладкой вспомогательных функций — адресов, явок, квартир для хранения и ночевок...

Однако с солидной интеллигенцией, уже имеющей определенное общественное положение и практику, дело оказывалось не так просто, как было раньше. Она прислушивалась теперь к своему штутгартскому пророку. И если продолжала еще якшаться с нелегальными партиями, то по инерции и мягкотелости: нельзя ни с того, ни с сего взять да и порвать резко и прямо — это может отразиться на практике. Но уже скептицизм к нашему брату, без рода, без племени, вытравлял у нее желание помогать.

На первых же порах пришлось обратиться к одному либеральному адвокату.

Начиная адвокатуру, он был марксистом. Расширив практику, утратил время для увлечений. Но сохранил добрые отношения и знакомства, а при случае не прочь был поддержать и

рискованный разговор. Сейчас он был председателем правления Заречной библиотеки. И через него нужно было ввести туда своего человека.

Принял чрезвычайно любезно. Говорил очаровательно и остроумно. Особенно о местной знати и власти. Только адвокат может так ядовито и образно характеризовать подоплеку взаимоотношений. Не даром говорят, что у них язык без костей: доктора знают больше, но хранят про себя, потому что у них суконный язык.

Но в нужном содействии отказал.

— Каждый культурный очаг имеет свое назначение и свою абсолютную ценность...— говорит он почти наставительно.— Подводить его под какой-либо риск было бы нецелесообразно.

— Но ведь тут нет намека на риск, а тем более на подвод?..

— У Громеки (жандармский генерал) на этот счет своя логика.

И испытывая, видимо, некоторую неловкость за резкий поворот разговора, пожелал возложить на меня инициативу этого поворота. Отечески-тепло и дружески-искренно зазвучали его слова.

— Основной враг наш один и тот же — самодержавие. До взятия этой крепости нам невыгодно поедать друг друга.

— Однако вы только-что положили начало этому поеданью...

— Отказом от библиотеки?.. Это маленькое практическое дело, и не им будут измеряться исторические ошибки...

— Однако?..

— С вашим доктринерством, с вашей нетерпимостью вы идете в стороне от жизни. Масса жертв и микроскопические результаты. Правда теоретическая в ущерб правде практической.

— Но еще большой, знаете, вопрос — не укрепляется ли ваша практика нашими жертвами?

Разошлись без особого желания вторичной встречи.

Но если бы он мог предусмотреть, что через пару лет, его поведут в булыгинскую думу кадеты, теперешний его разговор со мною был бы и еще иным.

С интеллигенцией не солидной, не износившей студенческих тужурок, обнаружилась невязка иного характера. Эта категория была, конечно, не прочь от помощи и участия. Но она выражала желание, чтобы, во-первых, ей дали непременно серьезное дело. А, во-вторых, требовала большей самостоятельности, как гарантии от риска. Такой именно смысл носила

моя беседа с одним начинающим врачом. Революционность его в университете не подвергалась сомнениям. И рекомендовал его мне его же приятель, псковский врач Савин, находившийся в это время в ссылке.

— Серьезные дела не дают, а берут. Степень же риска обратно пропорциональна так называемой осторожности работника.

Это была грубость с моей стороны. И, может быть, не вполне справедливая. Но очень уж ясно за этой претензией на большие дела угадывалось мелкое самолюбие и большая боязнь за уют и благополучие.

Однако обстановка для работы оказалась на редкость благоприятною. Не прошло и месяца, как подобралась довольно спевшаяся активная группа. Найдены квартиры — разгрузочные и складочные. Адреса для писем, накладных, телеграмм, явки — добыты без большого труда и по всем правилам конспирации: на солидные буржуазные фамилии, в магазинах, в приемных врачей.

Романтизм всегда свойственен человеческой природе. И, может быть, ряд наших адресов, явок, квартир оказался в нашем распоряжении не без этой чисто-человеческой предпосылки. Нужно было лишь во-время и к месту ее использовать.

3

Поселился сначала в комнате. Почти изолированная от хозяев, прямо из передней, она представлялась достаточно удобною.

Подходящей казалась и местность: за городской стеной, по улице, застроенной деревянными, помещичьего типа домами-усадьбами. Каждый из них выглядит хозяйственно и в меру солидно. Каждый окружен собственными службами и пристройками, из-за которых поднимаются большие деревья собственного сада. Простое мещанство на таких улицах не живет, ибо они для него недостаточно мелко и тесно застроены. Ремесленники тоже их избегают: недостаток заказчиков и движения нагоняют тоску. Средний чиновник и солидный интеллигент — врач, адвокат, земец по выборам — являются типичными обитателями таких улиц. Движения по ним не так много, но извозчики их хорошо знают. Люди здесь живут прочно, оседло, но командировки и приезды с вещами не так редки. На сплетни и пересуды менее склонны — известная степень такта удерживает от любопытства и вмешательства в чужие дела.

Земский статистик, к которому 2—3 раза в месяц приезжает «брат» или «приятель-студент», с вещами, на несколько дней, здесь мог бы и не возбудить подозрений у соседей. А хозяева, по свойственному их классу либерализму, могли бы попросту закрывать глаза на некоторую нерегулярность таких приездов и выездов.

Но все, говорят, относительно. Обнаружились свои неудобства и в этих условиях. Запирать комнату уходя — значит проявлять недоверие к хозяевам. Оставлять ее незакрытою—значит искушать любопытство прислуги.

Однажды привезли ящик с шрифтом. Как это у нас часто бывало, шрифт был уложен вплотную, без всякой прокладки. Ящик небольшой из тонких досок. Тяжесть не соответствует объему. Извозчик его вносит кряхтя. И его приходится предупреждать, чтобы обращался с ящиком осторожнее. Случившаяся в передней хозяйка с недоумением и явно подозрительно оглядывает и груз, и извозчика. А на другой день, возвратившись со службы, я нашел на своем столе две буквы и шпацию: очевидно, хозяйка во время уборки нашла их в передней и давала понять всю бестактность моего поведения.

Бояться доноса, повидимому, не приходится. Но шрифт (это уж очевидно) нужно спасать немедленно. Вытаскивать ящик, явно уже худой, значит рисковать оставить за собой след из шрифта. Да и не по силам было нести его в таком виде. Звать же извозчика — это усугублять на себе уже настороженное внимание.

Пришлось нагружаться самому, и притом так, чтобы незаметно унести на себе действительно непосильную тяжесть. Задача была не из легких — разместить вокруг себя содержимое ящика так, чтобы не перетягивало ни на одну сторону и чтобы сверху можно было надеть пальто. Пришлось употребить в дело старые брюки, завязав крепко их концы так, чтобы получился двойной мешок. В каждую половину вошло фунтов по тридцать. А затем они были перекинуты через шею и повисли по бокам туловища. В каждый из карманов пальто и пиджака вошло еще по несколько фунтов. В обеих руках получилось по десятифунтовой сверстанной связке, в форме завернутых в бумагу книг.

Когда все эти доспехи возложены были на рамена, то пальто застегивалось с большим усилием и только на одну пуговицу. С трудом можно было переводить дух, а ноги пружинили, как резиновые.

Тем не менее, нужно было итти, другого выхода не было.

Осенняя черная ночь матерински любовно прикрывала трагедию еле передвигавшего ноги конспиратора. А он пыхтел, как ломовая лошадь, покачиваясь под тяжестью, как хмельной, и балансируя увесистыми ручными свертками.

Дорога пустынная, без единого фонаря, и проходит через огромную Сенную площадь, сплошь покрытую подмерзшими кочками осенней грязи. Через каждые 40—50 шагов нужно садиться прямо на землю, чтобы импровизированные мешки дали некоторый отдых шее. Но с каждого последующего привала приходится подниматься все с большим и большим трудом.

Один мой знакомый учитель математики придумал для выпускного экзамена гимназистам каверзную задачу: „Одновременно из разных мест, по направлению к Мекке, двигались два пилигрима. Чтобы авансом расположить к себе Магомета, один шел на четвереньках, другой вперед пятками"... Дальше приводились точные размеры расстояния между правой ладонью и левой ступней первого, и длины внутреннего и внешнего шага второго. Стремление, по этой задаче, приблизить момент поклонения священной гробнице присуще было каждому из паломников в одинаковой степени. Но оно приводило первого к тому, что через известные промежутки времени он „рыл землю носом", а второй отклонялся от прямой линии пути под углом в столько-то градусов... Но математическая сторона этой задачи меня в этот момент не занимала. Не так важно было, в какой срок эти чудаки совершат свое паломничество. Но я физически понял всю „тяжесть" их трагикомического подвига. И пытался, пригибаемый свинцом к земле, определить, который из них охотнее согласился бы доставить в Мекку мои доспехи.

Несколько раз являлось искушение оставить часть груза тут же на Сенной площади, чтобы вернуться за ним потом. Но боязнь потом его не найти и оказаться в дураках от этого удерживала. Профессиональное самолюбие нередко усиливает физические возможности.

Когда этот крестный путь был окончен у квартиры Калиты и рука прикоснулась к двери, чтобы постучать, все напряжение моментально исчезло. Ни стоять, ни войти в комнату уже не мог. Пришлось разгружаться в сенях, чтобы потом, уже совершенно освобожденному, едва добрести до ближайшего стула.

При разборке шрифта обнаружился набранный заголовок: „Южный рабочий".

В этот раз я видел его впервые.

4

Комнату пришлось оставить и нанять отдельную квартиру в совершенно противоположной части города. Низ занимал захудалый армейский офицер, с семьей и кучей непристроенных полуграмотных своячиниц. Мезонин, в 3 небольших комнаты, с отдельным крыльцом и чуланом под лестницей, оставались на мою долю. Необходимая обстановка для всей новой квартиры стоила два десятка рублей. С офицером познакомились быстро, и он разрешил своему денщику убирать мою квартиру и подавать самовары.

Беспорядок, безалаберность и невежество нижнего этажа давали известное право и мезонину иметь свои некоторые странности, жить одному не в комнате, а в квартире. Холостецкое право, понятное царскому воину, позволяло мне не стеснять себя обывательскими распорядками и монотонностью. И очень быстро эти маленькие странности перестали замечаться, если только замечались и раньше.

Два-три душевных разговора за чаем с угнетенным семьей воином. Два-три грошевых займа его жене на базарные расходы. Коробка конфект своячинице... И в мезонин совершенно без всяких сомнений и опасений можно было хоть ежедневно привозить на комиссию корзины книг, а затем отправлять их заказчикам. Эта басня о приватном сверх службы комиссионерстве не вызывала сомнений. А когда скоплялось в чулане под лестницей 3—4 пустых багажных корзины, одну из них непременно выпрашивала для себя или для сестры офицерша.

Но и добрые отношения также имеют свою худую сторону.

Однажды привезен был транспорт, попавший в воду при переправе через границу. В пути до Смоленска литература в корзине смерзлась блинами. Нужно было оттаивать и сушить.

Пришлось заболеть на трое суток и не выходить из квартиры. Чрезвычайно кропотливо и медленно, чтобы не порвать, отделялись совершенно мокрые тончайшие номера Искры. Расстилались по всему полу, развешивались по спинкам стульев. Пришлось в двух комнатах протянуть веревку и сушить, как белье. Подсохнет одна сторона, перевертываешь на другую.

И добрые соседи забеспокоились. Начались поминутные беганья.

— Не послать ли Степана за доктором?

— Благодарю вас: я не настолько болен. Пройдет.

— А вы принимаете что-нибудь? Есть ли у вас лекарство?

И бросает взгляд на затворенные комнаты.

— Может быть, у вас прибрать? Все вы холостяки ужасно любите в сору сидеть.

Усиленно уверяю, что я не из мусорных холостяков. А не прибрано только в этой комнате, потому что в ней стоит кровать. И перевожу разговор в другую плоскость.

Через полчаса является муж.

— Ну, разве можно хворать! Разве не русский вы человек?

— Самый русский.

— Так в чем же дело?.. Есть у меня доброе русское лекарство. Как рукой снимет. Или, может быть, сюда принести?

Обещаю притти к нему, если не пройдет к вечеру.

— Русское лекарство приятнее не в холостецкой квартире...

— Коли так, ну и так — муж жене отвечал... Приходите!

На цыпочках спускаюсь после него с лестницы и запираю дверь.

Через некоторое время стук. Игнорирую. Стучат сильнее. Приходит в голову мысль: не явился ли кто из товарищей.

Отворяю. Сестра офицерши.

— Сима прислала вам коржиков. И велела мне поставить вам самовар и напоить чаем.

— Милая барышня, за коржики спасибо, а чаю я не хочу.

— А пока закипит самовар — захотите.

И устремляется к комнате, где, она знает, находится самовар.

— Лучше, вот что.... прогуляйте меня по улице.

— А вам можно?

— Разумеется, можно. Теплее оденусь.

— Ну, хорошо, иду собираться.

Уходя, запираю снаружи, и становится спокойнее. На улице сначала имитирую больного, потом это забывается. Припоминается оставленная сушильня и тот ее край, с которого уже теперь нужно бы перевертывать Искру.

5

В декабре наехал сюда представитель ЦК. Так сообщил Бриллинг, приглашая на заседание комитета. Собрались у него на квартире, где остановился и представитель, его личный знакомый. Кроме хозяина и меня, было еще два комитетчика, которых увидел здесь первый и последний раз. После этого уже ни разу в комитет не ходил, чтобы не рисковать переплетом хвостов.

Представитель рекомендовался Леонидом, объезжавшим организации по поручению Зверя, для доклада о втором съезде. Мягкий, вдумчивый взгляд, задушевный дружеский разговор и глубокая серьезность в каждом, даже шутливом, слове.

С нажимистой подкупающей мягкостью он рассказывает о результатах съезда. Как-будто запросто беседует с старыми своими друзьями, а не формально докладывает по поручению официального партийного учреждения. И доклад утрачивает внушительность прерогативы, но становится непосредственнее, понятнее, задевает и волнует, как свое близкое дело.

Съезда как-будто и не было, потому что меньшинство отказывается подчиниться его основным организационным решениям. Интеллигентский индивидуализм не понимает рабочей дисциплины и анархически отказывается от сотрудничества в ЦО. Кустарничество боится партийной централизации и уродует первый параграф устава. Семейственность не мирится с твердой уставностью и требует оставления всей старой редакции...

Леонид (он же Иннокентий) говорит без резкостей, мягко. Изредка отбрасывает с большого лба волосы. И убеждает не столько словами, сколько сопоставлениями, удачными параллелями.

Эмигрантская кружковщина в целом противопоставляет себя централизованной российской партии, потому что боится ее: партия — для нее гроб. И у страха глаза велики: централизация представляется деспотией, принципиальная твердость центра бонапартизмом. И она в отчаяньи апеллирует к демократизму, к персональному доверию, к традициям старой Искры.

Но съездовское большинство — это и есть досъездовская старая Искра. Она создала партию, как отрицание кружковщины и семейственности, в том числе и собственной. Произошел недосмотр. Курица высидела утят. И теперь отчаянно кудахчет на берегу, когда они уверенно поплыли. Борьба меньшинства за ЦО — это борьба за курицу-наседку, за благодушный семейный курятник, за кустарничество...

— Плеханов — светлая голова, большой политический ум, — кончает Иннокентий, — и прекрасно понимает, откуда и куда дует ветер. Но его доброе сердце не может спокойно мириться с воплями растревоженного собственного гнезда.

— Меньшинство, ведь, это почти половина съезда... — дипломатически сомневается Брилинг: — значит, почти половина партии, и нельзя ее так легко скидывать со счетов.

Так же дипломатически вежливо и спокойно и с той же интонацией Брилинг возражал бы и тогда, если бы докладчик оказался от меньшинства. Он активно не работает, и интерес его к разногласиям только академический.

— Скидывать нельзя,— отвечает ему докладчик,— но подчинить нужно — иначе партии нет, съезд собирался впустую, ни для кого принималась программа! Тогда так и скажем: ошиблись, не доросли, поспешили, начнем сначала...

Каждый из нас (в новорожденном комитете) понимает, что начинать сначала — нелепость. Каждый недорослем себя не чувствует и не считает. Но кой-кому начинает казаться: ошибка — не в созыве съезда, а в его окончании. Ошибка случайная, частная: кто-то увлекся, перехватил на теорию, оторвался от практики.

— Движение развертывается стихийно и по-разному,— говорит Брилинг: — нельзя им дирижировать из одного и притом заграничного центра: дирижерская палочка повиснет в воздухе.

— Аналогия от кустарничества,— вмешиваюсь я,— рабочая армия — не оркестр на купеческой свадьбе, а боевая сила! И генеральный штаб (а не дирижер) должен быть в безопасности.

По первому параграфу устава даже не прели. Едва родившись на съезде, он уже устарел для российской действительности. Доктора, адвокаты, профессора могут еще сочувствовать нам, но уже предпочитают членство не с нами, а в другом месте. И их не защищает даже тот, кто возражает против «излишней» централизации. Леонид тоже не тратит слов на гимназистов и сочувствующих. Он их просто отодвигает, как пробку на воде, и черпает из источника.

— Массовое движение инстинктивно ищет классовой основы ясности, дифференцированности, отчетливости организации. Но в нем много старых пережитков от народнического бунтарства и либеральной обывательщины. Их нужно отсеять, и нужно не решето, а сито...

Пока не объявлена война, должна действовать дипломатия. Составить резолюцию оказалось труднее, чем выслушать и согласиться с выводами доклада. Язык и навыки мысли мало привычны к обходам и полунамекам. А основной закон дипломатии — не называть вещи своими именами. Осудить первый параграф легко, потому что он уже перешел в область теории, стал достоянием общим — всякий вправе и понимать и изображать его, как это удобнее и привычнее. Но выгнать Мартова

из ЦО, как это хотелось бы сделать, уже нельзя: выбрал съезд, и война не объявлена. Приходится «просить» подчиниться выборам. И это звучит фальшиво.

И резолюция составляется не столько на основе доклада, сколько из желания сохранить худой мир. Да и самое желание это не вполне искренно, потому что навыки говорят: лучше добрая ссора, чем худой мир... Но был съезд, есть партия, должна быть дисциплина. И нужно сохранять выбранные центры, чтобы не возвращаться к старому хаосу.

Невысказанные противоречия съедают и самую резолюцию. Она выходит кургузой и половинчатой. „Решительное" осуждение меньшинства звучит несовсем решительно. И большевистское признание правильности выборов и призыв к дисциплине остаются лишь пугающими словами, неспособными никого напугать.

Но что можем мы делать, когда ЦО приходит к нам в письмах только через месяц по выходе?.. и когда в транспорте сейчас идет еще старая-старая Искра, далеко досъездовская, которую приходится сушить, как белье?..

И выражая полное доверие нашим центрам, мы не знаем, что они сейчас делают и чего от нас хотят. Мы исходим из жизни и опыта, из учета сегодняшних нужд движения, и, улавливая тенденции (а не действия, которых еще не знаем) центров, выводим доверие или недоверие к ним. Ошибки в выводах бывают, но случайно и редко.

После заседания Иннокентий пошел меня проводить: у него оказался пароль от Бориса и поручение ознакомиться с ходом нашего дела,

Мягкий, сиротский морозец располагал к длинной прогулке. И мы срезали с ним изрядную дугу смоленской стены. Колесили по переулкам без всякой системы, лишь временами оглядываясь, не маячит ли сзади какая тень. Он рассказывал о загранице и о тех характерных мелочах взаимотноошений, которые не находили места в докладе.

— Нашему Дядьку (Ленину) приходится сейчас труднее всех: один... как доезжачий на чужой псарне. Лает на него Мартовская шатия на всех перекрестках и со всех сторон... а он пытается его поймать за хвост — вернуть к логике съездовских рассуждений. Исключительной настойчивости и уверенности человек: когда ему указывают, что противники не понимают логики потому, что не хотят ее понимать,— он отвечает, что не для них это делает, а для будущего, для рабочих масс, которые учатся и хотят понимать.

— Но тогда, ведь, сегодняшняя резолюция для него не поддержка.

— Но она подразумевает поддержку на худой конец... на случай окончательного разрыва. Но сейчас он его не хочет, старается избежать.

— И, кажется, правильно: разрыв сейчас — это не было съезда, нет партии — она еще не претворилась в повседневную практику, не стала привычкой.

— Кстати о практике,— говорит Иннокентий: — чем больше разговариваешь с комитетами, тем несомненнее становится одно: надо туда больше рабочих. Дядько безусловно прав и здесь — будет меньше слов, больше дела. Да и слова другие пойдут.

Незаметно дошли до моей квартиры и поднялись в мезонин. И в первый раз, с момента приезда сюда, я формулировал вслух — что, как и почему было сделано здесь. Раньше не с кем было делиться подробностями: Борис еще не был, а в письмах всего не уложишь. И теперь даже сам удивляешься, как много приходится рассказывать.

Предприятие слажено до деталей и работает без перебоев. Всякие винтики, сцепления, шестерни не хлябают, не скрипят. Район увязан. Дело за центром — подбрасывай материал...

6

В Полтаве получился прорыв. У девицы под тяжелыми волосами оказались куриные мозги. Хороший адрес для накладных она не сумела обставить и использовать. Товар получился непосредственно в магазин, и тут же был вскрыт исполнительными приказчиками.

Честный коммерсант схватился за голову, хлопнул себя по ляжкам и... послал за полицией. Что он мог сделать иное, чтобы сохранить свое дело?..

Инцидент до прихода полиции удалось уладить через тех же исполнительных приказчиков: им тоже не улыбались допросы и перспектива безработицы. Товар спасли, но шопот и пересуды из магазина поплыли, как вонь из разбитого гнилого яйца. Испорчен был не один такой адрес, и не одна, до сих пор достаточно чистая и неиспользованная репутация оказалась подмоченной.

Полтавский семафор должны были закрыть. Ирина отряхнула подол и чирикает где-то на другой ветке.

И полтавское русло уже отведено на Смоленск. Двойная

нагрузка. Шлют и везут, только успевай принимать и распределять. На разгрузку и перепаковку не больше пары дней — постановление нашего коллектива. Груз скоропортящийся — засаливать вредно и для потребителя, и для самого груза.

На явку приходится заглядывать каждый день. И с каждым днем приемная доктора Хайкина — совсем своего человека — полнеет.

— Если бы это были только больные, — шутит он, — я был бы скоро богат.

Ежедневно в комнатке рядом с его кабинетом оказываются с паролями. Из приемной, через докторский кабинет они только проходят, чтобы скрыться в комнатушку с другой стороны кабинета. Доктор называет ее изолятором. И в нее есть также вход и непосредственно из передней.

Привозят накладные, паспорта, заказы... Получают явки, связи, квартиры. Или короткие указания, где взять или где ждать, чтобы получить то, что нужно.

Раз колесо завертелось, машина не может работать вхолостую. Дело родит дело. И в хорошем хозяйстве всякая веревочка суть на пользу.

— Иван Иваныч приказал долго жить.

— Туда ему и дорога.

Парень из Вильно, от Ивана Иваныча — великолепный гравер. Режет, в ожидании меня, в докторском изоляторе печать мещанской управы.

— Захватил материал, чтобы не скучать на явках.

— Только на одну печать?..

— Нет, в сумке на вокзале есть еще запас.

— Очень хорошо. Мы как-раз сидим без печатей. Дня три задержитесь у нас, потом получите явку.

— А как же Ярославль?

— Не обидится: вы им захватите от нас подарок — будут довольны. И вам передышка в дороге...

Через три дня мы с печатями.

А печать на паспорте — это больше, чем сам паспорт, — это его душа. Ясная, четкая печать свидетельствует о полном отсутствии сомнений у власти, выдавшей паспорт, к его владельцу. Значит, поставлена в трезвом виде, с явным вниманием к человеку, а не броском и нехотя, чтобы отвязаться. Значит, человек стоящий. Совсем иной коленкор, когда приходится вместо печати прикладывать медный пятак, с затертыми хлебным мякишем буквами, чтобы остался на бумаге только орел.

А товарищ, оставивший нам печати, продолжает путь свой на Ярославль. И едет охотнее — не с паролем только, а с литературой: гарантия хорошего приема на новом месте.

Любопытные вещи и комбинации на явке не так редки. И всегда поучительны, даже там, где близко соприкасаются с анекдотом.

Сидит за столом напротив молодая женщина. Она прямо из-за границы. С трехъэтажным носковским паролем. Скромный, изящный костюм. Уверенная, серьезная речь. Ей нужна явка в Орел к Иннокентию. Все ясно. И что тут особенного?..

А между тем хочется доуловить что-то, дообъяснить, допонять. И не знаешь, что именно. Как-будто сам забыл что-нибудь, или не досказала она. А что именно — никак не поймаешь. Глаза невольно и внимательнее останавливаются на ее лице. Как-будто тут это неуловимое — и просвечивает, и прячется. Даже неловко становится, когда она ловит твой взгляд.

И все-таки тянет, до беспокойства тянет еще раз взглянуть. Она говорит серьезно и о серьезном, а тебе кажется, когда глядишь на ее лицо, что оно улыбается, светится...

Разговор окончен. Она оправляет волосы, надевает шляпу. Беспокойство твое сразу исчезло...

— Знаете что, вам надо подновить краску...

— Разве?.. — Смотрит в зеркало. — Сделаю это в Орле. Поеду, ведь, ночью, а в вагоне темно.

Брови и волосы у нее воронова крыла. Но над лбом и с боков лучезарное окаймление блондинки. Оно незаметно с первого взгляда, но придает лицу отпечаток неуловимого противоречия. И наблюдательный шпик на этом противоречии может сделать себе карьеру.

Но транзитная явка — это шлюз канала, соединяющего речные системы. Через нее знаешь больше, чем только свой район. Знаешь характер связей, потребностей, взаимоотношения, силы. Кто чем там или тут живет, что стоит на очереди. Откуда ждать беды или радости. Чем интенсивнее циркуляция, тем глубже узнаешь места и входишь в их интересы. Тем яснее представляешь, что именно надо делать сегодня, завтра, потом. Понятнее и полнокровнее так называемые директивы и указания центра.

Наша группа хорошо спелась. Ни в какой так называемой общественной деятельности, по взаимному договору, никто из нас не участвует. Мы находим друг друга по экстренной надобности только по месту службы. Учреждения всегда всем

доступны и потому безопаснее, чем квартиры. Все знют, на всякий поганый случай, только мою квартиру. И все другие квартиры известны лишь мне. Потому что квартира не только жилье, но и определенная отрасль в работе группы.

И только одна из квартир используется для совещаний всей группы. Здесь живут солидные женщины из местной интеллигенции. Они занимают скромное служебное положение. Администрация о них сказала бы: „ни в чем предосудительном не замечены". Но они члены партии и активно работают в группе по функции местных связей.

Собираемся мы не так часто: когда есть директивы, или когда нужно подвести некоторый итог, или наметить ближайшие перспективы. Говорим лишь о деле, ибо вопросы съезда в основном не вызывают у нас разногласий. А практические вопросы работы, по нашему общему соглашению, могут дискутироваться, но не решаться голосованием. Здесь принцип централизма не вызывает ни сомнений, ни нареканий. Каждый мой шаг и каждое действие в общей работе известны всем. И пока не было ни одного случая недовольства, или неодобрения.

И вся увязка работы, организация ее здесь на месте, информация центра, переписка с местами — сами собой сосредоточиваются в моих руках и все время остаются за мною.

Но дело действительно развертывается быстро. Одному уже не удается везде поспеть — дня и вечера нехватает. Затруднения и с развозкой: связи крепнут, район растет, нужно уточнение функций, нужны новые люди.

Прислали из Киева двух — Пономарева и Луку Семеныча. Там уже им нельзя было оставаться.

Оба — бывшие студенты. Но Пономарев считал себя литератором. Что мы могли ему предложить, близко соприкасающееся с его навыками?.. Паспортный и шифровальный отдел. Это приучает человека к точности, аккуратности и соблюдению меры вещей. А у литераторов всегда это было в отсутствии. Значит, сразу убиваем двух зайцев: окультуриваем литературу и облагораживаем уголовную подделку видов на жительство.

Лука Семеныч пошел по развозу. Он не был никогда вояжером или торговцем. И, пожалуй, не мог бы им стать: слишком скромен и не навязчив. Но он наблюдателен, спокоен, уровновешен. Настойчив без наседания, общителен без говорливости. И практичен, как честный лавочник — свое не продешевит, на чужое цены не поднимет.

И он оказался у нас незаменимым транспортером, умеющим учитывать все особенности своего дела.

Прибегает однажды девица, посланная на вокзал, чтобы получить багаж. Взволнована, шляпка на бок, волосы не в порядке.

— Выследили!..

— Кого?.. Вас?..

— Нет, багаж выследили: я скрылась! Когда отдала квитанцию носильщику, за ним пошел жандарм... Конечно, ждать было бы глупо: вообще обстановка на вокзале сегодня подозрительная. Мне придется теперь отсюда уехать!

Лука посмотрел на нее одним глазом:

— Только сначала вы получите багаж.

Сказал спокойно с сипотцей, как говорил всегда. Девица опешила, не находя слов.

— Нужно, барышня, нервы держать в порядке. Какой был бы жандарм дурак, если бы пошел смотреть за носильщиком, вместо того, чтобы придержать вас?

— Но ведь же он за ним пошел?!

— Значит, не по вашему делу. Идемте!

И он отвел ее обратно на вокзал. Она забыла и номер носильщика. Пришлось устанавливать по приметам, разыскивать. Носильщик уже сменился, ушел обедать. Лука стащил девицу к нему на квартиру.

— Где же вы были?.. Я вас искал, искал, потом нужно сменяться, положил ваши вещи у товарища.

Впоследствии Лука Семеныч стал профессором-агрономом. И, вероятно, прогадал. Ему нужно было ориентироваться на профессора по психологии. Наша экспериментальная школа в большей мере содействовала именно этому уклону. И давала обильнейший материал для лабораторного изучения больше всего в этой, а не агрономической, плоскости.

Один из товарищей, только-что приехавший, дал в прописку фальшивый паспорт. Через два дня его вызывают в участок.

Он не спешит скрыться, как нервная девица, а ставит вопрос практически, как Лука:

— Если паспорт раскрыт, то заберут без вызова, без повестки. А раз приглашают без провожатого — пустяки. Хороший паспорт надо беречь.

Оказались действительно пустяки. Ему предложили несколько обычных формальных вопросов, не имеющих никакого отношения к нелегальности. И отпустили с миром, как всякого обывателя.

И дальше задача для профессора экспериментальной психологии. Пусть попробует ее решить без помощи диалектики.

Покончив благополучно беседу с приставом, прежде чем уйти из участка, он тут же около городового, в прихожей, начал делать то, что должен был сделать дома, до прихода сюда: чистить свои карманы.

Извлек прокламацию, просмотрел, изорвал на клочки и положил в карман. Только не в боковой карман пиджака, где она была, а в наружный карман пальто. Нашарил в жилетном кармане бумажку с адресами. Тоже, неспеша, посмотрел и отправил в рот. Стоит и, как козел, торопливо жует.

Городовой сначала смотрел равнодушно и тупо. Потом взгляд его насторожился.

— Что вы делаете, господин?

Господин посмотрел на него. И как-будто смешался. Так показалось городовому.

Он чуть-чуть придержал господина и немедленно вызвал пристава.

— Так что, ваше скородие, будто не в своем уме... Бумагу рвет, другую съел!

Обыскали. Склеили прокламацию.

Пристав решил, что сумасшедший. Но на всякий случай передал его жандармам. Но там инстинктивно, диалектически решили задачу правильно и отправили парня в тюрьму. А правильное решение задачи было изложено в вступительной части протокола об аресте „неизвестного, проживающего по подложному паспорту на имя“...

7

Началась японская война. По улицам проползла жиденькая манифестация — с царским портретом впереди и нарядом городовых в хвосте. Нелепо и криво болтался впереди базарный царь в аляповатой раме. Для двоих хоругвеносцев он был слишком легковесен. И они не считали нужным итти с ним „в ногу“. И царь ковылял и дергался то одним плечом, то другим. Было смешно со стороны и убого для самодержца: получалось явное над ним издевательство. Сами манифестанты это чувствовали и смотрели по сторонам с вызывающей злостью.

Настроение обывателя стало киснуть. Симпатии к нам усиливались. Всякие услуги оказывались охотнее. Рабстали без перебоев, не испытывая никакого недостатка ни в адресах, ни в квартирах. За четыре месяца прошли через наш транзит де-

сятки пудов литературы. И ни одного провала. Это была очень большая марка. Приходил шрифт. Были паспорта, печати.

Понадобилась другая специальная квартира для склада, где могли бы подбираться и храниться образцы транзитной литературы. Здесь на этой основе могла потом создаться образцовая нелегальная библиотека.

За это дело взялась Марфа, не особенно завязанная в транспорте. Ей повезло. Квартира оказалась настолько удобной и изолированной от хозяев, что решено было пересмотреть вопрос об ее использовании, если бы понадобилось организовать типографию.

Марфа — конторщица местной газеты,— жила одна. Это смущало вначале. Обывательское любопытство границ не имеет, а конспирация должна их поставить. И только изредка заходил к ней я. И пока мы придумывали объяснение этих посещений, хозяйка нашла их сама.

По паспорту, Марфа — молодая вдова. Привлекательностью тоже бог не обидел: золотые с рыжинкой волосы, голубые глаза, движения мягкие и уверенные. Что особенного, если к ней вечером иногда заходит скромный молодой человек, тихий, непьющий. И она домоседка. Значит, женщина рассудительная, себя бережет. „Ну, и дай бог,— думает хозяйка,— кто богу не грешен, а особенно смолоду".

И однажды Марфа услышала:

— Не женишок ли это?..

Та отшатнулась:

— Нет, что вы, чтобы я второй раз вышла замуж?..

И за это в другой раз услышала хуже:

— Может быть, переменить у вас кровать?..

— Нет, зачем же?..—И только тут поняла, залилась краской. Кровать переменить не позволила. Но хозяйку, конечно, этим не убедила. Наоборот, своей стыдливостью укрепила ее предположения и подняла в ее глазах свою репутацию.

Но мне уже можно было после этого приходить к Марфе в квартиру и без нее и даже иметь свой ключ.

— Удивительные люди!— смеется Марфа:— о брате расспрашивали бы, о женихе и того больше — где служит, сколько получает, когда свадьба. А сейчас, хоть бы слово... ни одного вопроса!

— А зачем спрашивать, если и так понятно? Ходит скромно вечером, не шумит — значит, женат, бережет покой законной семьи. Значит, совестливый человек. Одновременно роман и драма... Сердце не камень, даже хозяйское.

В самом деле — часто случается: чем настойчивее, замысловатее конспирирует человек, тем скорее проваливается. Чем чаще на улице оглядывается, нет ли шпика, тем скорее приобретает его. И чем хитрее и сложнее придумывает комбинации, тем легче запутывается в них сам.

Нужно подходить в этом случае к жизни проще, вульгарнее, с установкой не на идеал, а на среднюю данной среды. И она сама тогда выдвинет и поддержит нужные комбинации.

Недолго спустя, после конспирации с Марфой, понадобилось отправить Бориса, минуя смоленский вокзал. Он уходил от усиленной за ним киевской слежки.

Была как раз масленица. И поездка на извозчике за город до ближайшего полустанка не представляла ничего особенного. Никаких вещей, кроме маленького саквояжа, с ним не было.

Выехали днем. Приехали к станции перед сумерками. Поезда пришлось ждать. Немного озябли, и нужно было ослабить упряжку, чтобы дать отдых лошади и подкормить. Тут же около станции начиналась деревня. Заехали на один из дворов и заказали самовар.

Но только-что успели налить по стакану, послышался шум подходящего поезда. Борис вынул из саквояжа судейскую фуражку, уложил туда свою шапку. И мы отправились на станцию, наказав извозчику, чтобы он пил чай и купил лошади овса.

Через четверть часа, проводив Бориса, возвращаюсь к оставленному самовару. Уже темно. В избе горит лампа. В комнате человек пять-шесть крестьян. Наш извозчик сидит в углу какой-то растерянный. Стаканы с чаем так и остались на столе нетронутыми.

Прошу хозяйку подживить самовар и спрашиваю извозчика, дал ли лошади корм. Он совершенно расстраивается:

— Какой тут корм, хоть бы так унести ноги!

Недоумеваю. Оглядываюсь. Вся публика отводит свои глаза в сторону. Извозчик поясняет:

— Хотят, вишь, за урядником посылать! Неведомо кого, говорят, привез. Потом, дескать, будут нас тягать да расспрашивать!

— А разве кому до этого есть дело?

— Поговори вот тут с ними! А мое какое дело? Наняли — поехал: тем живу.

Чувствуется по взглядам и невмешательству мужичков, напряженно следящих за разговором, что мнение уже составлено.

Ждут только окончательной уверенности, точки над и, как принято выражаться в культурном обществе. Хозяйка подживлять самовар тоже медлит.

— В чем дело, хозяин?

— А у нас ни в чем. Вот рази у вас какое ни то дело есть — это нам неведомо, вам лучше знать!

— Постой, не финти. О каком нашем деле говоришь? Говори прямо.

— А нам все едино — хоть прямо, хоть криво. Где товарищ-то твой?

— Уехал.

— Уехал? А зачем нужно было отсюдова уехать, а не с города? Каки-таки дела гонят без ничего десяток верст? Картузик, вишь, передел!

Крестьянский разговор везде одинаков — в Костромской, Псковской, Смоленской губернии: всегда с околесицей и наивным подсиживаньем.

— Эх вы, умные головы! Шесть вас тут собралось, а об одном картузике выдумать не умеют. Еще подумайте, может, к делу-то и подойдете, а мы пока будем чай пить.

Инстинктивно чувствуешь, что придумывать сразу объяснение не следует. Недоверие за время отсутствия упрочилось, возражения будут рассматриваться как желание выпутаться. Это лишь укрепит подозрение. Нужно дать несколько разрядиться атмосфере.

Раздеваюсь и сажусь к столу. Хозяйка открывает печь и шарит горячих углей.

Приглашаю извозчика:

— Все равно уже теперь не вернешь, давай друг, чай пить.

— Это, конечно...— Вот лошадь-то покормить бы.

— Вот что, хозяин: урядник — урядником, а пока что лошадь покормить все-таки надо: она ни при чем.

Хозяин не ответил, но, спросив извозчика, сколько ему надо овса, дал распоряжение сыну отпустить.

Мы продолжаем пить чай. Я не начинаю разговора, они тоже молчат. Наконец, хозяин не выдерживает:

— Куда же отсюдова, опять в город?..

— Куда же больше?

— Дельце, значит, обработал?

— Не совсем.

— Как же не совсем? Ведь уехал, говоришь, товарищ-то?

— Уехал, да не весь.

— Вещи, значит, оставил какие?

— Хуже, чем вещи.

Любопытство одолевает их нестерпимое. Один допрашивает, все остальные нетерпеливо ожидают ответа, но делают вид,

что это их мало интересует. Но тон уже заметно иной, чем перед этим. Настороженность еще есть, но вражда как-будто спадает. Подчеркиваемая ирония в вопросах маскирует простое крестьянское любопытство. Нужно отыграться на нем.

— Баба осталась. Да еще к тому же чужая. Ему нужно ехать по делу, а она не пускает. „Врешь,—говорит,—жениться едешь. Жива не буду, а глаза тебе выцарапаю".

— А и очень просто, выцарапает!

— Есть другие такие, злющие ой-ой-ой! И себя не пожалеет, а на своем поставит!

— Да вот недалеко ходить,—в Починках там...

— От этакой, брат, не только за двенадцать верст, а на край света сбежишь!

Закричали все сразу наперебой. Объяснение оказалось и понятным, и достаточно любопытным. Причина тайного отъезда представлялась вполне уважительною.

— Два дня он выезжал в городе на вокзал, с вещами. А она уже там. И начинает скандалить.

— Так-так. Это вот самое...

— Мил, значит, ей пришелся...

— Ну и пришлось уже налегке сюда ехать, в чем был. Фуражку, и ту спрятал, чтобы в городе по ней не узнала.

— Вот так баба! Ничего, что чужая, а ты, говорит, мой!..

— Так вашего брата и надо...—вставляет хозяйка:—спать-то все охочи! А потом вильнул хвостом, и нет.

Между мужиками и бабой начинается пикантная переброска достоинствами того и другого пола. Бабу задевает за живое. Она огрызается всерьез. Мужики бросают шутками, используя случай ввернуть одну-другую скабрезность.

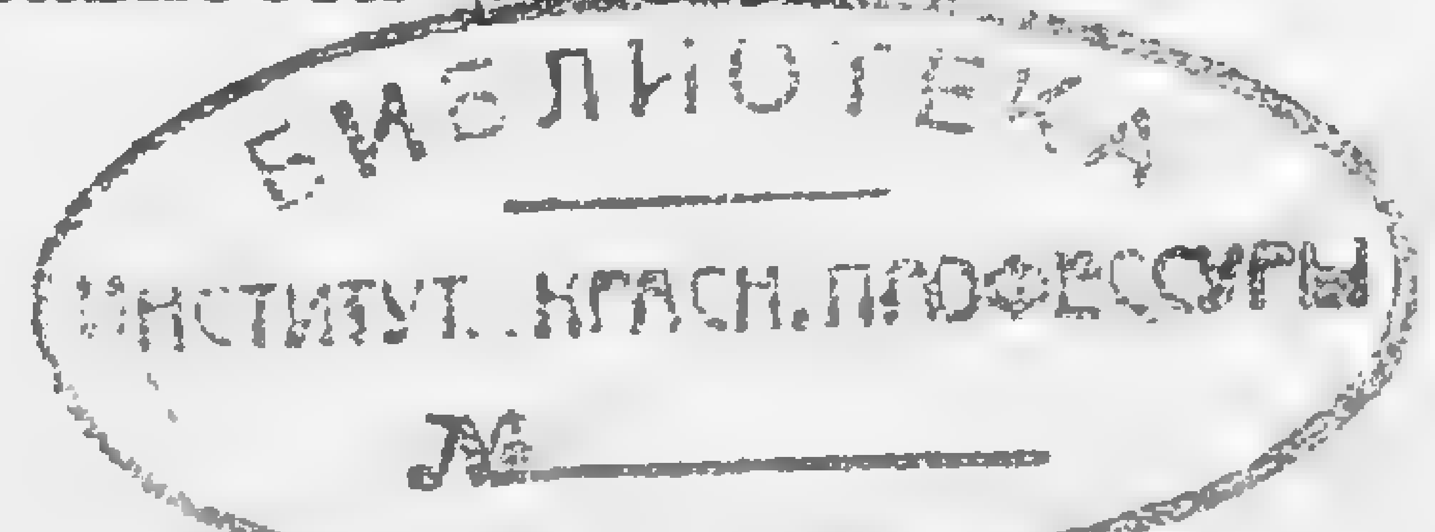
Кончаем чай, расплачиваемся и начинаем собираться. Об уряднике уже ни звука, как-будто о нем не было и речи. Извозчик осведомляется об обратной дороге. Объясняют, как лучше проехать, где взять правее, где придерживаться вешек. И все гуртом вышли проводить нас на улицу.

— Счастливо! Напредки к нам милости просим!

— Ваши гости.

8

О бюджете много говорили с Борисом в Пскове, перед отъездом сюда. Бюджет основа всякого дела, мерило его размаха, источник и регулятор интенсивности работы.



И приходили к выводам далеко не розовым. ЦК нищ, от него нечего брать, а надо ему давать. Партийная касса случайна — членских взносов не собирается, и как их собирать!.. Концерты?.. Подписные листы и пожертвования?.. Все неопределенно, случайно, ненадежно. На этом бюджет нельзя строить и не построишь.

А между тем расходная часть того же бюджета сама в колонки цифрами строится. Производство — это прежде всего сумма издержек производства. От нее никуда не спрячешься — нет издержек, нет производства.

— Дело коммерческое, — говорит Борис, — по-коммерчески и надо ставить: товар получил — деньги на бочку.

Сигарыч морщится.

— Знаешь, Владимир, — выжевывает он через трубку, — это похоже на профанацию...

— Надо было не трубку из Англии тебе привезти, а лошадиный скребок: интеллигентской перхоти у тебя слишком много... В следующий раз привезу непременно.

У Сигарыча даже лысина краснеет. Он явно третирует интеллигентщину, донашивая студенческий свой костюм, и постепенно принимает облик мастерового. И когда слышит упреки его в интеллигентщине, то принимает их за намек на неискренность переодеванья. Но показывать этого не желает.

— Хорошо, что тебя эсэры не слышат, подняли бы вой! И правы: революция не торговля.

— Она и не нищенство! — подхватывает Борис. — Однако и ты ведь толкаешься кой к кому, как церковный староста с тарелкой... Это не профанация?..

— Есть все-таки разница.

— По моему, в пользу торговли. Все равно ведь свои гектографы комитетам дороже стоят. А насчет эсэров, брат, помолчи: они, как мясники, берут задатки под тушу, когда она еще на ногах ходит.

— Голосуется предложение Сигарыча, — вмешиваюсь я в их перепалку: — пустить подписные листы среди интеллигенции и агитировать в рабочих массах за регулярные сборы.

Предполагая с моей стороны издевку, Сигарыч насмешливо скашивает на меня глаза.

— Ну, да, я говорил это и настаиваю на этом.

— Принято единогласно, — подытоживает Борис, — других источников пока нет у комитетов, чтобы платить нам за литературу.

Сначала это царапало все-таки. Как-то неловко было говорить

в комитете о купле-продаже, изображать из себя коробейника или прасола.

Но первый же объезд положил конец всяким сомнениям. Комитеты это приняли проще, охотнее, чем мы к этому подходили.

— Нам много выгоднее... И можем потребовать — а то, как нищему в суму, кладут, что под руку попадется.

Платили даже больше, чем с них приходилось по весу. Давали авансом, делали заказы вперед.

И рядом с шифрами, паролями, адресами, заняли не последнее место в бюро: 1) бухгалтерские записи и 2) вытяжной, пружинный безмен. Точная такса за фунт литературы, за пуд шрифта, за паспортную книжку и бланк Франко место отправки.

Марфа служит в конторе местной газеты и живет на свой заработок. Бывший студент Гейн и я зарабатываем в статистике. Голубков — врач, и тоже не нуждается в партийной кассе. Но Пономарев, Лука Семеныч и еще двое на бюджете бюро. Расходы растут и оплачиваются без задержки. Выделяется даже помощь приезжающим. И кой-что остается для заграничного центра.

Бюджет балансируется без дотаций и без дефицитов — „сальдо в н/пользу“...

Аппетит приходит во время еды. Сальдо раздражающе беспокоит, как лакомое блюдо. Все чаще и чаще оно в наших мыслях и разговорах реализируется в блестящий новенький шрифт и особую квартиру, приспособленную для типографии.

Одно из окон Марфы смотрит непосредственно в глубокий овраг. Это обширное соседнее владение, повидимому дворянского рода: по краям оврага старые, как на екатерининском большаке, березы, а бока и дно густо заросли репьем и крапивой. Там никогда не видно людей. И если провести под полом квартиры Марфы небольшую траншею к ближайшему берегу оврага, открыть какую-нибудь мелочную торговлю или подходящую мастерскую...

Но сальдо слишком еще недостаточно, и мысли не вызрели настолько, чтобы стать толчком к действиям. Не все достаточно убеждены, что мы на верном пути.

На днях вышел некоторый разговор с Гейном.

Я зашел к нему вечером убедиться в его подготовленности к поездке с литературой: рано утром он должен был выехать в Курск. Зашел просто для очистки совести: Гейн всегда точен и предусмотрителен. Но как-то спокойнее за товарища и за дело, когда в этом удостоверишься непосредственно.

Застал его за окончанием сборов: завертывает в одеяло подушку.

— Так рано?..

— Сейчас на вокзал, чтобы не проспать — вздремну там.

— А багаж?

— Он уже там, на хранении — возьму перед посадкой: это безопаснее и ему, и мне.

— Ничего не забыто?

— Все в порядке. Адреса заучил, пароли зашифровал в мундштук.

Разговаривая, он оглядывает свои карманы, смотрит по сторонам, не забыл ли каких нужных в дороге мелочей.

Комнатка маленькая, обставлена бедно, по-студенчески. Он еще не так давно исключен, и, как человек живой, думающий, энергичный, за общественной работой не замечает своей неустроенности.

— Кончил! Можно на досуге поговорить. Есть у меня вопрос один...

И смотрит на меня задорно смеющимися глазами. Отвел от глаз волосы, собрал безбородое юношеское лицо в добродушную усмешку.

— Давно думаю, да говорить все некогда.

— Да?..

— Делаем вот мы революцию — литературу развозим, типографию думаем ставить. А живем на отшибе как-будто, в стороне, рабочих не видим, и революция как-будто идет мимо нас, стороной... Не знаешь, кому ты нужен!

Он человек искренний, общительный, не перегорел и ищет. Конспирация в одиночку, замкнутая в себе, ему еще непривычна. И работа для него новая — родит и новые мысли. И он уже не первый раз обращается к моей экспертизе.

— Вас не удовлетворяет теперешняя наша работа?

— Я этого не мог бы утверждать, по совести! Но это не большак, а проселок. И хочется на люди, в гущу: там виднее и самое дело, и результаты.

— Вы же, ведь, в гуще были уже? Кружок, массовка, беседа, речь... И один из непременных результатов — острое сознание отсутствия литературы, поиски листков, брошюр, перешлепка на желатине... Разве не так?

— Это, конечно, не редко бывало.

— Всегда! И не бывало, а есть и еще долго будет. И разве теперешняя ваша работа не естественное развитие прежней?..

Гейн, как всякий юный спорщик, невнимателен к чужой

мысли. Ему важно высказать до конца свою. И когда говорю я, он нетерпеливо ерошит волосы, пытается перебивать, вскакивает со стула, опять садится. Наконец не выдерживает:

— И все-таки она в стороне, наша работа — на отшибе! Второстепенный запасный резервуар, который может и не понадобиться.

Этот довод от молодых горячих работников слышишь нередко. И ответ на него стал уже стереотипным:

— Так кажется, потому что мы не изжили кустарничества. В том, что разделение труда не нарушает единства и цельности предприятия, мы уже не сомневаемся. А когда приходится важнейший цех вывести за фабричную ограду в отдельный корпус, мы уже видим отшиб. А разве целостность производства этим нарушена, или уменьшилась важность цеха?..

9

Дня не видишь совсем. Он как-то просачивается, вытекает между службой, явками, адресами, деловыми беседами, переходами из одного места в другое...

Приходишь в себя лишь вечером, после того, как свалится с плеч последнее обязательство. Некуда больше итти, не с кем говорить, не назначено никакого свидания. Сам по себе и сам для себя. И сразу виснут в истоме, как от тяжелой физической работы, руки. Ноги с трудом отдираются от земли. Голова пуста. Язык не ворочается.

И хорошо посидеть на уединенной скамейке смоленской Булони. Смотреть, как усаживаются на ночь вороньи стаи. Слушать их суетливый галдеж угнезживанья, а потом сонное бредовое карканье и встревоженные перелеты.

День выпит до дна, или он тебя выпил — не суть важно. Все в порядке. Совесть чиста. Завтра...

Это завтра, как услужливый не в меру лакей, сейчас же тычет под нос своим докладом, как только остаешься один. Завтра будет завтра, тогда и нужно о нем говорить. А на сегодня достаточно того, что было. О чем разговаривать?..

Но это завтра, как осенняя муха, втыкается в уставшую голову. И так ее не отгонишь. Она зудит, гипнотизирует, нарушает покойную отрешенность. Нужно куда-то идти, где тихо, свет и тепло, и где не нужно было бы разговаривать.

Это место всегда вклинивалось в мысли неожиданно. И обещало относительный холостецкий уют в холостецкой квартире доктора Голубкова.

Часто к нему нельзя ходить — он один из основных членов нашей группы. Тем приятнее редкие посещения. У него всегда можно найти стакан чудесного крепкого чая, с его любимым лакомством — монпансье. И можно не разговаривать — сидеть и молчать. Он служит в больнице, работает целый день. И, должно быть, ему тоже надоедают постоянные там разговоры. Он не обижается на молчаливого гостя. Не становится говорливее при госте и сам.

Сегодня особенно почему-то потянуло к нему. И сейчас же припомнил: у него на квартире хранится часть транспорта и пачка с паспортами. Надо это дело урегулировать.

Голубков живет рядом с тюрьмой, во дворе, в мезонине. Проходя по двору от калитки, встречаю женщину, завернутую в ротонду. Поднимаюсь к нему в мезонин, довольный, что наконец добрался.

Длинный, поджарый хозяин сложился на корточки перед маленькой печью. Заслонка открыта, и пламя освещает на полу кучку брошюрок. Голубков, не спеша, берет по одной, отрывает по два-три листочка и отправляет их в печь.

— В чем дело?..

— Получил только-что извещение, что будет обыск. Хозяйкина дочь уже вынесла часть к знакомым и еще обернется. Но всего не спасти, чертовски жаль, если пропадет.

Говорит, не волнуясь, спокойно и обстоятельно, как дополнительное наставление при вручении больному рецепта.

Его хозяйка поставляла в тюрьму молоко, и оттуда принесла эту благую весть. Надо было торопиться, а извещать кого-либо слишком поздно.

— Вот и поджигаю, сколько успею.

— Это вам на неделю хватит!

Отверстие у печи было возмутительно мало — вершка три на три. Огонь слишком слаб, чтобы закрутить целую книжку. Недаром же Голубков рвал листочками. Он хороший хирург и знает толк в выдержке, точности и спокойствии.

Девица вышла лишь первым рейсом, когда я входил. Милейший Александр Павлыч дожигает всего на всего первую книжку, а их чуть не пара пудов. И он никак не хочет расстаться со своей хирургической методичностью.

— Есть какой-нибудь мешок или простыня?

— Вот одеяло.

Выбираем все, что было, и складываем в одеяло. Получается изрядный узел, такого же размера и формы, по которым отличают на улице прачку, несущую за плечами в стирку белье.

Пачка с паспортами идет отдельно в карман. Взваливаю на спину узел и отправляюсь в поиски ему места.

Луна, как раздетая, отбросив меланхолию и ложный стыд, заливает ярким светом пустынную улицу. В сотне шагов через огороды над забором виден высокий корпус тюрьмы. Желто-красными пятнами выделяются на ее фоне, высоко под крышей, маленькие окна одиночек.

Отворяю калитку, и охватывает беспокойное ощущение вытолкнутого из подземелья: улица точно вымыта, и только узкая полоса противоположного тротуара остается в тени. На светлой стороне, кроме меня, ни души. А по другой стороне улицы, со стороны тюрьмы, подъезжает темная, большая тюремная карета.

Так бывает во время охоты за зайцем. Собаки наседают по следу. Он выскакивает на поляну, чтобы ее пересечь. Но он должен предварительно установить безопасность взятого направления. А для этого на момент присаживается боком к намеченному пути. Иначе, как боком, он не может видеть того, что у него впереди. И вот, в момент этой задержки в самом центре его немигающего круглого глаза фиксируется единственный предмет: охотник, вскидывающий ружье.

Ноги не отрываются от панели. Карета медленно поворачивает к калитке. Быстро мелькает мысль: податься назад во двор, бросить узел и искать пути через заборы и огороды. Одновременно, не додумывая, поворачиваю по светлому тротуару к тюрьме и иду мерным, неторопливым шагом. В ногах ощущение необычайной резвости и желание сразу перепрыгнуть улицу в тень противоположного забора. Уши настораживаются назад, туда, где слишком медленный, вслед за мною, поворот черной большой кареты. И только одно ожидание от этого режущего скрипа полозьев, ожидание заглушающего его крика: „стой!“

Карета повернула. Не останавливается. Нагоняет. Проезжает мимо и останавливается у тюремных ворот. Так же мерно, не торопясь, поворачиваю через улицу на теневую сторону. Сзади над плечами как-будто кто наседает, и снова прилив резвости в пятках. Не внушает доверия уже и тень. Кажется, что она прячет засаду. И уже не только не видно, что скрывается сзади, но и впереди за каждым заборным столбом как-будто шевелится какая-то живая фигура.

Еще поворот за угол — и извозчик. Укладываю узел под полость и еду к центру. Напряженность не исчезает, но чувства опасности уже нет: она позади, погоня отсутствует. Мы сме-

шиваемся с обычным общим движением, становимся его незаметной легальной частью.

И теперь только начинаешь придумывать, что делать дальше и куда держать путь. Уже к ночи почти, и не везде, по-провинциальному, можно найти открытыми двери.

Решаю остановиться у некоего экстерна. Он иногда давал приют приезжающим и просил использовать его полнее. Его квартира содержалась на наши средства. Но постоянному использованию ее до сих пор мешали те или иные случайности: то неналаженность его взаимоотношений с квартирохозяином, то кое-какие подозрительные мелочи в окружающей обстановке на улице, то посещение домохозяина городовым. Каждый раз, когда возникала речь о приспособлении квартиры для какой-либо постоянной функции, экстерн указывал на одну из подобных мелочей и просил выждать пару дней, чтобы в интересах дела быть совершенно уверенным. Пара дней растягивалась в неделю. Надобность в квартире или изживалась, или удовлетворялась в иной комбинации. И экстерн продолжал считать свою квартиру конспиративной, а мы держали ее на всякий случай.

Лука, чаще других имевший с ним дело, не раз предлагал отказаться от этой квартиры.

— Хозяйчик он, а не работник! На Мартовском уставе заквашен... и трус.

Останавливаю извозчика несколько дальше нужной квартиры. И когда он отъезжает, иду с узлом по тротуару в обратном направлении. Дверь еще не на запоре, кругом ни одного постороннего глаза. Хозяин дома.

Объясняю свое появление:

— Неожиданно, только-что приехал товарищ. Ночевку ему нашли, но литературу, которую он привез, необходимо, хотя бы до завтра, оставить здесь.

— И великолепно. Думаю, что она будет цела.

И поясняет:

— Ко мне, видете ли, приехала сегодня из Витебска сестра, она там связана с организацией. Но слежки за ней, кажется, еще нет.

— Да? Тем лучше: узел сегодня останется здесь. Но если вы находите, что было бы удобнее ему переночевать в другом месте, то оденьтесь и снесите его туда. А завтра я вам дам другой адрес.

Было заметно, что это ему не особенно нравится, и что ни в какое ночное путешествие он не пустится. Решительность

заявления обезоружила его, и он уже не пытается внушить мне сомнение в безопасности его квартиры — значит, решил покориться неизбежному. Было его жаль, и некоторое беспокойство оставалось за судьбу узла. Но искать новый выход в такой поздний час безнадежное дело.

Выйдя из квартиры, нащупываю в кармане сверток с паспортами. Он оказался забытым, но возвращаться к экстерну уже нелепо. По пути домой зарываю его в снег около исторической смоленской стены. До завтрашнего вечера.

На другой день экстерн уже раньше меня оказался на явке. Зеленый и мрачный, от бессонной, должно быть, ночи, он пришел за другим адресом. К нему отправился Лука и, прежде чем унести узел, своим спокойно скрипучим голосом, как по смычку канифолью, испытывал его нервы: рассказывал о случаях, подобных настоящему,— когда опасность приходила как-раз в тот момент, с которого начинали ее считать уже миновавшей.

— Было и так однажды... В Харькове. Литература в квартире так была спрятана, что полиция, даже зная, что она тут есть, найти не смогла бы... да... И вот понадобилось ее перенести. Вынули, упаковали. Ценная была литература: З а р я, Тун... да... И только-только из дверей выходят — полиция в двери: будьте добры обождать! Поторопись на пять минут раньше вынести — и все было бы цело! Да-а... Выкурю еще одну, и можно убираться.

Что пережил за время этого разговора экстерн, это осталось известным лишь ему одному. Больше на явку он не ходил.

10

Обыск у Голубкова не состоялся. И не мог состояться потому что был выдуман его хозяйкой.

Удивительно заботливы о своих квартирантах смоленские хозяйки. Как клуши цыплят оберегают. И каждая по-разному. Моя первая хозяйка сигнализировала о своей заботливости подобранными в передней свинцовыми буквами. Хозяйка Марфы, в свои заботы о квартирантке, включила и меня недостойного. Голубковская наоборот — пожелала меня от Голубкова или его от меня отвадить.

Это ей до известной степени удалось. Хотя на рикошет своей выдумки по отношению к собственной дочери она едва ли рассчитывала.

Но этот случай приходится учитывать независимо от характера его происхождения. Учитывать в соотношении его с внешним миром.

Всякий аппарат и всякая организация, в процессе работы, неизбежно начинает испытывать толчки. Как бы хорошо она ни была построена, как бы гладко ни функционировала, момент начала перебоев неустраним. В нелегальной работе в особенности. Теория вероятностей здесь имеет такое же применение, как и в математике. Данный факт должен был оцениваться как предупреждение отнюдь не персонального, а общего характера — как результат начинающейся изнашиваемости аппарата: явок, квартир, взаимоотношений с окружающими.

Стало очевидным, что какая-то часть начинает израбатываться, скрипеть. Значит, может повести к остановке всей машины. Вполне естественный вывод отсюда, что нужно в этой машине что-то сменить, как-то переставить ее видимые детали. И так же естественно было подойти к самооценке или, точнее, к переоценке своих собственных действий и отношения их к обстановке.

Предупреждение усугублялось другими показателями. Незадолго перед этим выехал по делам в Киев Пономарев и не подавал о себе никаких известий. Потом получено было оттуда письмо, обнаружившее после нагрева только три зашифрованных слова. Никакой подписи, и никакого намека на ключ. Долго ломали голову, пытаясь разгадать шифр, и только тогда его установили, когда остановились на предположении — не означают ли эти три зашифрованные слова: „Николай Федорович арестован". Слова по количеству знаков оказались подходящими. Буква „о" во всех случаях обозначалась одинаково, одними и теми же цифрами. Буква „а" тоже. Очевидно, писал случайный, неопытный человек, по заказу уже из тюрьмы. Пономарев знал несколько ключей и рассчитывал на нашу догадливость. Ключ был найден. Применение его в целом подтвердило гипотезу.

Припоминалась и еще мелочь, не обратившая на себя в свое время внимания. Владелец одного магазина разрешил пользоваться его адресом для получения заказных писем „со вложением". Но, получив такое письмо, забыл всмотреться в характер адреса и унес из магазина домой, а там, как свое, распечатал. Оказалось, всего только Освобождение. Но человек он был добросовестный и чрезвычайно пугливый: выбросить или уничтожить не мог, но и держать при себе боялся. А всякое место, куда бы он ни захотел его спрятать, представлялось ему ненадежным: „как-будто вот, как положишь его, оно и закричит". Даже когда у него начались от страха

колики в животе, он так и бегал, прижимая рукой карман с Освобождением. И до самого утра не ел, не пил, не спал и не раздевался. Успокоился только тогда, когда стало светло.

Искушать судьбу бесконечно нельзя. Непрерывное хождение целыми днями по городу между адресами, явками и квартирами в провинциальном городе не может оставаться никем не замеченным. Даже заяц в бору на опавшей хвое наслеживает четкую охотничьему глазу тропинку. Еще быстрее человеческая тропа становится проезжей дорогой.

День за днем, мелочь за мелочью, прицепляясь к одному и тому же объекту, оставляют на нем отметину, создают известность. И в конце концов никакие проверки собственных хвостов, ни знакомство с географией проходных дворов не в силах уничтожить эту известность. Наоборот, с течением времени, и эти последние приемы уже становятся сами отметинами. Количество переходит в качество.

Так называемое зрелое размышление — это только вывод из данных, уравнение из многих известных, комбинация того, что уже есть. Становилось ясно, что мое дальнейшее пребывание здесь, как центрального связывающего звена всего аппарата, может оказаться для него гибельным. Группа согласилась с этим. И в ближайший приезд Бориса было решено перебросить меня на австрийскую границу, где как-раз в этот момент произошло застопориванье пути.

Но пока происходили сборы и передача связей, необходимость исчезновения с смоленского горизонта обнаружилась с полной ясностью.

Моя собственная квартира стала объектом некоторого внимания. Два вечера под ряд, около ворот, в сумерках, маячила одна и та же фигура. А вниз, к офицеру, неожиданно сделал визит его сослуживец, дважды провалившийся на экзамене в военную академию и теперь ожидавший назначения по корпусу жандармов. И так же неожиданно я получил приглашение вниз на чашку чая. Простодушная офицерша шепнула при этом, что у них сегодня почетный гость и желает со мною познакомиться. Она была из „простых" и искренно полагала, что такое высокое внимание для меня тоже почетно и будет приятно.

Говорили о войне, о Купринском „Поединке". Были попытки перейти вообще к литературе, но из этого ничего не вышло, потому что хозяева сразу поникли. Поэтому перешли на анекдоты. Вечер закончился тускло и, пожалуй, никого не удовлетворил.

Но остаться ночевать в своей квартире уже не хотелось, Свернув в портплед подушку и одеяло, приехал на вокзал и. потолкавшись там, отправился ночевать в гостиницу. А еще через день выехал по назначению.

Вместо меня остался А. П. Голубков. И когда через пару месяцев пришлось вновь проезжать здесь,— дело продолжало существовать, и провалился только один магазинный адрес. Да должен был так же, как и я, уехать Лука. Но в этот приезд пришлось все-таки осторожно держаться на улицах и проходить по ним по возможности вечером.

ГРАНИЦА

1

Маршрут до границы нужно было получить в Вильно. Там работал Кузьма — военный врач Федор Гусаров. С ним и нужно было о деталях договориться. По пути предстояло остановиться на короткое время в Минске, чтобы выполнить там одно поручение и кстати проверить виленскую явку.

К Минску поезд подошел рано утром. Ночь в вагоне прошла без сна. До явочного часа далеко. И вот начинается обычное в таких случаях скитание, без всякого интереса, по городским улицам. Сначала все-таки есть кой-какая цель — предварительная ориентировка, курс на ту улицу, где явочная квартира. А дальше уже всякая цель отпадает. И начинается бесцельное толкание из одной улицы в другую, с единственным заданием провести время. И когда это время приходится, как в данном случае, на раннее утро, то становится особенно скучно: негде умыться, напиться чаю. Ждешь с нетерпением открытия какого-нибудь трактира или чайной. И в то же время знаешь, что встретит там тебя недоспавший, нераскачавшийся человек. Встретит, как первого посетителя, не весьма приветливо. Кухня еще не работает, кипяток „придется чуточку подождать“. На столах еще не убраны следы вечера, так же, как и грязь с пола...

Время тянется нудно, медленно...

На явке провели в гостиную и просили, подождать, пока сходят за комитетчиком.

— Будьте, как дома, товарищ.

Такой богатой явочной квартиры еще не видел. Не комнаты, а апартаменты. Великолепная мебель, портьеры, ковры, камин. Осторожно опускаюсь на диван и начинаю ждать.

В комнате никого. Очевидно, к таким посещениям уже привыкли и предоставляют посетителей самим себе. Мягко, тепло, уютно. Отсутствуют яркие краски, и располагает к покою. Никто не входит, не слышно движения и в соседних комна-

тах. И ни одной забытой книжки или газеты ни на столах, ни на камине. Приходится сидеть наедине с собственной особой.

Понемногу тепло и покой обволакивают. Ходьба по городу сказывается усталостью. Виснет на веках бессонная ночь. То удаляются, то приближаются окружающие предметы, принимая совершенно несвойственные им размеры и формы. Иногда совершенно выпадает все из сознания, и приходит вновь какой-нибудь отдельною деталью — ножкой стола, краем камина. Потом вдруг все восстанавливается сразу, но в каком-то ином, непривычном освещении. Хочется что-то понять, что-то с себя стряхнуть, от чего-то освободиться. И так приятно совершенно закрыть глаза и перестать думать.

И опять все начинает тускнеть, расплываться, отдаляться. Перед глазами плавают красные, синие, желтые пятна. Вырисовывается отчетливо край кресла, ножка уходит куда-то в глубину, ниже пола, спинка поднимается к потолку. И лицо, настоящее человеческое лицо, выглядывает из-за кресла и опять прячется туда. Опять. Смотрит осмысленно, с любопытством. Наблюдает. Вновь перед глазами вся комната. Все четко и ясно, резкие нормальные формы. Маленькое любопытное человеческое лицо все-таки выглядывает из-за кресла и прячется.

Впервые в жизни чувствую, как поднимаются на голове волосы...

Просыпаюсь совершенно и вскакиваю с дивана. Из-за кресла, через всю комнату к стене и на камин, в два прыжка уносится маленькая обезьянка.

Все еще не освободился от галлюцинации и стою перед фактом в дурацкой растерянности.

А она спокойно уселась, подобрала хвост и поднесла палец к губам, как-будто хочет сказать:

— Помалкивай уж, товарищ...

Стало как-то не по себе, — неловко и стыдно... Как-будто тебя уличили в чем или на чем-то поймали. Чтобы стряхнуть это ощущение, придвинулся ближе к камину, намереваясь рассмотреть соглядатая. Но она ухватилась за портьеру и перебросилась на карниз над дверью. А оттуда послала уже острый насмешливый взгляд.

Что оставалось делать?.. Сесть на свое место и продолжать ожидание. Сидеть в одиночестве и в то же время чувствовать, что ты не один и находишься под откровенным наблюдением. Чувство беспредметного беспокойства и беспричинной обиды

родит отрывок совсем несуразной мысли: „чорт знает, кому ты здесь товарищ—хозяевам или их обезьяне“.

2

В Вильно поезд прикатил тоже раненько утром. И так же, как неприкаянному, приходится полдня болтаться по улицам. Но здесь они хоть живее, чище, красивее минских. И есть достопримечательность — Замковая гора. Самое любопытное на ней, конечно, подъем: что-то ждешь наверху, а время идет все-таки. Не так обидно, когда там интересного не оказывается.

Зато поднимается настроение, когда попадаешь к Остробрамской. Длинные хвосты прилично одетых и, по виду, культурных людей елозят коленями тротуары и тычутся в землю лбами, как и русские бескультурные мужики. Разница только та, что в русской деревне это делается истово и готовно, а тут чинно, благопристойно, оставляя на тротуаре проход, не снимая перчаток: встанет и коленки платочком почистит.

На явке говорить с Гусаровым не удается. Публика непрерывно приходит, уходит, ждет очереди. Переносим беседу на вечер, в особой квартире. Там будут и приехавшие сегодня же из Киева Борис и Марк.

В назначенный час звоню в квартиру штабс-капитана И. И. Клопова. Знакомая фамилия по переписке из Пскова. Этому именно его высокоблагородию штабс-капитану Клопову сочинялись письма от вышедшего в запас младшего унтер-офицера его роты. Такого солдата в реальности не существовало. Фигура адресата создавалась воображением. А переписка шла на протяжении месяцев. Одно письмо продолжало другое. Плелась безграмотная хроника жизни младшего унтер-офицера запаса на родине. Потом эта безграмотная галиматья начинялась между строчками двууглекислым свинцом. И получал штабс-капитан Клопов, которого вижу впервые только сейчас.

— Знаете, я вас представлял совершенно другим.

— Интересно...

— Благодушным отцом-командиром, с некоторым брюшком, с бородой по крайней мере в полгруди... и в очках.

Ничего похожего на эти отличия у реального штабс-капитана не имеется. Невысокий, сухой, жилистый с рыжеватыми небольшими усами, он мало походил даже на заправского вояку — столько штатского добродушия в его лице и глазах.

— Но самое интересное,— отшучивается он,— что писали

вы мне от полуграмотного солдата, а на английской почтовой бумаге.

— Отнести излишки насчет субординации, и все в порядке,— вставляет Борис.

Перед этим только-что в Киеве получился провал. И Борис с Марком перекочевывали в Смоленск в расчете: на заложенной нами базе обосновать там центральное техническое бюро.

— Только на время,— успокаивает Борис: — потом мы его передвинем в Орел или Курск.

Марк — бывший студент — высокий, худой, с глазами, как сливы. Он молод, порывист и непоседлив, говорит хриповатым баском. Любит, говорят, скрипку и недурно ею владеет. С места в карьер он отводит меня в дальний угол и забрасывает вопросами о Смоленске.

За чаем условились с Кузьмой и Борисом, что мне нужно обосноваться в Каменец-Подольске, где работал арестованный перед этим Кудрин. Явка туда есть у Гусарова, но старая, Кудринская. Уверенности, что она еще может сгодиться, нет. Значит, нужно это выяснить, уже оказавшись на месте. И никаких других привязок. Ищи верхним чутьем. И будь готов к неприятному положению, а то и к провалу.

Оказавшись на такой явке, сразу же чувствуешь глухую стену недоверия и подозрительности: маленькое колючее слово „шпик“ излучается из взглядов, которыми тебя здесь обмеривают. Оно слышится в недовольных, а то и пренебрежительных ответах, которые дают на твои вопросы. Это — тяжелый момент. И иногда так и не удастся его рассеять. Но бывает и так, что два-три наводящих вопроса или намек рассеивают недоверие. И в полуутвердительной, полунамекающей форме удается вытянуть нужное указание.

Нередко небрежность или ошибка в шифровке уродуют адрес, фамилию, пароль. Приходится при отыскивании догадываться, восстанавливать по наличным элементам недостающие.

В одном из московских учреждений пришлось перед этим искать явочную фамилию, имея только ее начало: „Ацер“..., а дальше в расшифровке ряд согласных букв, и фамилия получалась нелепая. Спрашиваю курьера учреждения:

— Мне нужно Ацер..., и конец проглатываю.

— Как?

— Ацер...ов,— изображаю заикающегося.

— Ацероверов, может быть?

— Да, да...кко...нечно, он.

Или в другой приезд там же: „у Калужских ворот аптека Белоцерковского“. У Калужских ворот аптека есть, но фамилия на вывеске другая. Может быть, Белоцерковский в ней только служит? Заходишь и спрашиваешь, его вызывают. Но Белоцерковский в ответ на пароль, делает удивленное и замкнутое лицо:

— Я не понимаю, чего вы хотите...

В свою очередь изображаешь на лице удивление, но уже с явною, умышленной растерянностью.

— Извиняюсь, ведь вы — Белоцерковский?

— Да, я — Белоцерковский.

— Как же так?.. Почему же так перепутали?..

И беспомощно оглядываешься по сторонам, подчеркивая, что попал в тяжелое положение. Белоцерковский быстро ощупывает тебя взглядом сверху вниз. Взгляд его сохраняет строгость, но более внимательный, чем недоверчивый.

— Откуда вы?

— Сейчас непосредственно из Вильно...

Это значит, что до Вильно я еще откуда-то ехал. Значит, путь не такой близкий, чтобы своевременно иметь информацию об изменении явки.

—Вероятно, вы ошиблись адресом.

—Едва ли: на такие далекие расстояния так не ошибаются. Тем более, что у меня никакого другого адреса нет. И вещи, которые я должен здесь сдать, остались на вокзале.

—Может быть, вы здесь кого-нибудь знаете?

—Боюсь, что никого: публика так недолговечна, а мои приезды сюда не так часты...

— Все-таки, видите ли, то, что вы говорите, ко мне не относится. Давно как-то один мой знакомый, будучи без квартиры, просил меня направить к нему, если обратятся ко мне „от дяди Вани“ (так именно зовут его самого). Но ко мне никто не обращался. И теперь знакомый этот уже уехал.

Ясно, что он уже решил помочь, но ищет формулу логически естественного подхода, которая могла бы, при некоторой натяжке, показаться естественною и с точки зрения „третьего“ лица. Теперь уже моя задача помочь ему.

—Может быть, ваш знакомый вернулся?..

—Нет, его здесь нет.

—Или у него есть здесь родные, которые могли бы быть осведомлены?

—Вот что... Вы где остановились?

Нигде.

— Я попытаюсь разыскать его сестру... если только она тоже не уехала.

— И когда мне зайти к вам?

— Ко мне заходить не надо — это слишком далеко. Вы будете сидеть около памятника Пушкина на скамейке справа, сегодня в шесть часов.

И у памятника Пушкина я получаю явку. А на явке разговариваю с Землячкой.

Так что неуверенность в каменец-подольской явке отнюдь не расхолаживает и даже не уменьшает ее ценности. Только уговариваемся с Гусаровым, что необходимо проверить не только явку, но и весь путь через границу до Львова, установить и зафиксировать передаточные пункты и связи с контрабандистами.

— Как только наладите путь, — говорит Кузьма, — сейчас же пишите. Немедленно приеду, и закрепим все на месте. Деньги тоже привезу, что бы вам от дела не отрываться.

Но мы встретились с ним только через шесть лет после этого в Енисейской губернии, когда он уже был в ссылке, а я шел с этапом и остановился у него для ночевки. А еще через десяток лет мне пришлось в Омске говорить над его могилой надгробное слово: колчаковская тюрьма и наша собственная невнимательность ускорили конец этого на редкость честного, преданного делу товарища Кузьмы.

3

Жизнь — это большая река судоходная. А ты в ней как красная рыба, на которую охотнее ставят приманку рыбаки.

Каждый последующий город для тебя, как рыбный садок. Войти в него легче, выйти труднее. Задача ориентировки, на случай выхода, самая трудная задача. И вырабатывается привычка — определять достоинства и недостатки садка прежде, чем распускать плавники.

Смоленск — это проточный садок. Железнодорожный, транзитный узел. Кой-что от транзита остается и в его внутреннем обиходе: торговая сутолка, обывательская суета, некоторые потуги на самоутверждение, в виде местной газеты. Это не бог весть какие преимущества, но все-таки город, как город. Обитатели его имеют хоть какое-то основание говорить, что они не лыком шиты и от века не отстают.

И здесь нашему брату легче комбинировать обывательские недостатки в конспиративные достоинства.

Но вот Каменец-Подольск. Тихая заводь, город-мешок, рыбный садок, из которого выходы заросли тиной. Он в развилке между путями отступления: одна железная дорога проходит мимо в сотне километров от города, другая в тридцати. И в этот губернский центр можно попасть, как в барскую усадьбу или заштатный городишко, только на лошадях.

Это застойное болотце в стороне от реки-жизни. Мелочная торговля, мастерки-одиночки, улички-коридоры, грязные, засаленные гостиницы-номера. Мелочность, застойность, семейность и в так называемой общественной жизни.

Правда, здесь уже два города, или, как их называют, два „плана“: старый с турецкой крепостью, обращенной в тюрьму, и новый с торговыми банями на общественную потребу. Но разница между ними только пожарного свойства: новый план застраивается чуть-чуть просторнее.

И между ними (вместо газеты) взброшенный на большую высоту железный ажурный мостик над мелкой быстрой рекой. С него бросаются не для того, чтобы утонуть, а чтобы разбиться о гряды камней, которые облизываются рекой.

Работать здесь конспиративно—не связанному с местной почвой, не пуская в нее корней,—дело довольно замысловатое. Или на любителя. Все знают всех, и каждый у каждого на виду. Всякий вновь прибывающий становится известным в тот самый момент, как выходит со станции для найма подводы. И когда он на этой подводе едет, возница по багажу, по посадке, по отрывочным фразам определяет его достаточно правильно: ведь, вознице важно, профессионально необходимо знать, в какой мере этот новый седок окажется для него плюсом или минусом и в дальнейшем.

И ему не нужно для этого, чтобы вы разговаривали. Он сам вам рассказывает. И перескакивает с предмета на предмет, лишь наблюдая при этом, чем вы заинтересуетесь больше.

Случайно так оказалось, что ехал я со станции не один. Сельский причетник, вызванный в консисторию, предложил совместно с ним нанять подводу.

— Все-таки, знаете, экономия. А то ведь они здесь жулье—сразу видят, что незнакомый, облапошат.

Молодой, вертлявый, как монастырский служка. И разбитной, говорливый, как начинающий деревенский скупщик.

И когда мы поехали, он завладел вниманием ямщика всецело. Расспрашивал о ценах на продукты, на живность, квартиры. О знакомых ему по именам мелких чиновниках, торговцах, обывателях...

— Вместе с ним учились в духовном. А теперь, вот поди ты, шишка—помощник столоначальника консистории! Увижу—непременно спрошу: а помнишь, как я тебе уроки подсказывал?..

Возница в конце концов утратил в разговоре инициативу, и только отвечал. А я поневоле остался в тени и, с признательностью к компаньону, дремал или имитировал дремлющего.

Остановился в гостинице. И едва лишь успел умыться с дороги, как местная жизнь сама полезла ко мне во все незаткнутые отверстия. Еще не успели принести заказанный самовар, в дверь уже кто-то стучит и, не дожидаясь приглашения, входит.

— Здравствуйте, с приездом!

И быстро, быстро охватывает все глазами, задерживая их чуть-чуть на мне и моих неразвязанных вещах.

— Благодарю вас. Чем могу служить?

— Позвольте спросить, вы откуда?

— А позвольте спросить, вам это зачем?

— Может, вам что-нибудь требуется — по делам или из вещей, — я комиссионер.

— К сожалению, пока ничего не требуется.

— Надолго думаете?

Меня начинает злить. И я уже готов попросту послать его к чорту. Но потом соображаю, что фиксировать свою персону в его памяти нет никакого резона.

— Я, знаете, устал с дороги. И мне нужно переодеться и отдохнуть. Говорить сейчас о каких-либо делах не хочется.

— О, да, разве я не понимаю?.. Я не сообразил, дурная голова. Прошу у пана прощения. Я зайду потом, если пан позволит.

И, не дожидаясь панского позволения, юркает в дверь и исчезает.

Через минуту приотворяется та же дверь, и просовывается голова. Уже другой. Заискивающе шмыгает глазами по углам и расплывается в счастливую улыбку, остановивши их на мне.

— Прошу прощения... может быть, пану что-нибудь требуется?

— Ничего не требуется.

— Может быть, табак самый турецкий, белье? Заграничное, без пошлины...

— Ничего не нужно.

— Может быть, пан будет шить костюм? Нужна будет материя?.. Я могу рекомендовать портного.

— Да убирайтесь вы, наконец, ко всем чертям!

— Я не хотел обидеть пана...

И бесшумно, немедленно исчезает. Через минуту-другую новый такой же визит: „не нужно ли пану месячного извозчика?“. Потом еще: „не требуется ли квартира, если пан приехал надолго?“...

И вот попробуй здесь законспирироваться, когда в городе больше комиссионеров, чем жителей, когда каждое новое лицо по необходимости становится объектом предложения всевозможных услуг, и когда все его действия, вплоть до самых интимных, непрерывно исследуются сотнею глаз с исключительной целью оказать ему какую-нибудь услугу. Это мне уже не понравилось.

Проверил явку. Может действовать. Молодой еврейский юноша Двойрец, почти мальчик. Профессии не имеет, живет при матери. Но, повидимому, достаточно самостоятельный, чтобы работать и дальше. Сестра его в организации в Киеве. Значит, достаточно осведомленный.

И от него нить к другому юноше, постарше — Козицкому. Это сын местного небольшего домовладельца, секретаря городской управы. Нигде не служит, никуда не готовится. На Волге у нас сказали бы про него: на собаках шерсть бьет. Живет у отца на положении неудачника, а для соседей является дурным примером: арестовывался за политику и у местных жандармов был на примете. Считал себя эсдэком, но приятельски связывался и с местными эсэрами. Непрочь был оказать им содействие и по их транспорту.

Ясно, что работать с ним ненадежно. Нужно искать замену, и нужно перенять от него связи, проделавши с ним весь путь через границу до Львова.

Собственную легальную базу полагал обосновать в земской статистике. А пока версия о легочной болезни, требующей перемены климата, могла служить некоторой маскировкой при отыскании квартиры, а затем и заработка.

И на другой же день, когда в дверь номера просунулась голова, готовая создать и осуществить любую маклерскую комбинацию, вступил с ней в обстоятельные переговоры.

А еще на другой день, как не вполне здоровый и небогатый человек, я имел две комнаты в мещанской семье — без шума, с отдельным ходом — во дворе губернского дворянского дома. И даже с пансионом.

Был уже март, начиналась весна. Незаметно и быстро исчезал снег. Стояли теплые солнечные с дымкой дни.

Северному человеку это поднимает настроение, тянет за город...

4

Начинается... Двойрец прислал записку и просит немедленно зайти. Значит, кто-то приехал на явку.

В маленькой комнатке Двойреца накурено до отказа. Прямо против двери окно. Сизые волны плавают вокруг силуэта приезжего. Силуэт загораживает оконный свет, и окно не позволяет разглядеть его сразу. Только заломленная набекрень дворянская фуражка выделяется красным околышем.

Она на момент озадачивает. Но из-под дворянского козыря уже расплывается знакомая застенчивая улыбка.

— Лука Семеныч!..

Только пару недель с ним расстались в Смоленске. И не было ни речи, ни мысли, что он так появится следом за мною.

— С каким делом?

— Не с делом, а за делом. Борис послал в Киев за транспортом, которого там не оказалось еще. А Дед киевский говорит: „добудь этот транспорт сам и нам привези". Дал явку сюда.

— У нас его тоже нет пока.

— Подожду, если скоро будет.

Отправились ко мне — на досуге думать, как быть, нельзя ли ускорить то, зачем приехал Лука.

Связи с контрабандистами уже восстановлены. Один из них молодой, рослый крестьянин Фома, специально был вызван в город. И мы с ним договаривались на окраине, около отложенного достройкою сруба. Шел мелкий дождь, кругом было пусто, и никакой посторонний глаз не мешал нашему интимному разговору. Фома считался приличным контрабандистом. Работал и с моим предшественником. Так что в сущности вопрос сводился к восстановлению уже действовавшего договора и установленных прецедентов.

Правда, Фома, по исконной профессиональной привычке, попытался сначала забыть и прецеденты и договор.

— Кто ж его знает, много работать приходится, иде же упоминать.

Но потом уточнили и по-хорошему согласились. Установили способ сношений и вызова. Видоизменили пароли.

И теперь нужно было только его известить, чтобы встретил. Мои квартирные условия так удачно сложились, что можно отлучиться из города на несколько дней, без особенных подозрений.

И Лука кстати подъехал. Как мой двоюродный брат, в дворянской фуражке и с настоящим дворянским паспортом, он мог остаться в моей квартире надежным заложником.

Эту первую поездку, с начала до конца, я должен был и хотел сам проделать. Потому что плохо налаживается то дело, с деталями которого незнаком ты сам. Сидеть и распоряжаться на месте всякий сумеет. А непосредственно построить и провести это несколько труднее и интереснее.

Предупредили Фому. И на другой день с Козицким, захватив на дорогу хлеба и охотничьей колбасы, окольными путями встретились на Хотинском тракте.

Нужно было этим путем добраться на перевоз через Днестр. И на другом берегу круто изменить направление для подхода к пограничной переправе.

К перевозу подошли задолго до темноты. Но остаток дня накрывался облаками, обещавшими скорее снег, чем дождь. Потянуло более чем свежим ветром. По Днестру забегали белые зайчики.

Спустившись с парома, повернули вдоль берега, между водою и кострами накатанных бревен. За ними высился крутой подъем берега и виднелись крыши построек: там было село, название которого сразу же и забылось. В одном из пролетов между бревнами уже ждала лошадь с телегой. И проводник негромко окликнул нас, как только мы с ним поравнялись.

В глубокой деревенской телеге пробирались лесом, без дороги, задевая за корни и деревья и шурша колесами и кузовом по кустам. Весенний по времени года, но угрюмый и знобкий, как осенью, наступал вечер. Свистел и пришепетывал в голых вершинах сердитый ветер, разгоняя и сталкивая друг с другом косматые клочья туч. И чахлый, как недоносок, только-что выпавший безвременный снег лежал пятнами на редких лесных полянках.

От холода ни разговариватъ, ни смотреть по сторонам не было желания. Сидели сжавшись, неподвижные, как мешки, каждый уйдя в себя.

Выехали в поле, все так же без дороги, как ехали и по лесу. Стало еще холоднее — уже теперь не спасали от ветра деревья. Но сейчас же спустились в балку, и вдруг потеплело. Теперь двигались рысью, лишь временами замедляя движение. Несколько раз переезжали речушку на дне балки. И кортали то по одному берегу, то по другому, то по середине речонки, в воде.

Выбрались на дорогу и враз остановились у плетня под ветлой.

Налево поднималось отлогим скатом изрытое поле. Направо, как безногий пес, бежал мимо плетень, прячась под ветлами. А за плетнем вдали за плывущими, вечерними тенями то прояснялись, то расплывались постройки. Кой-где на больших расстояниях друг от друга появлялись огоньки в окнах хат. Подходила черная угрюмая ночь.

Возница, не привязывая лошади, оставил нас в повозке под ветлой у изгороди. А сам подался по направлению к хатам, в серую мглу и быстро в ней растворился.

Ждали долго. Холод пронизывал. Скрючивались и молчали: говорить не хотелось, как-будто желание говорить выдуло ветром и вытрясло кочками. Всматривались туда, где скрылся возница.

Ждали долго и основательно успели продрогнуть.

— Кой чорт... Куда он провалился?

— Придет...

Долетел оборванный глухой звук — не то скрип, не то разговор со стороны прятавшихся в сумраке хат. Из сгустившейся тьмы выплыл смутный силуэт, потом разделился на два. И донесся шорох осторожных, но быстрых шагов. Четыре двигавшихся ноги выдал снег. И тогда стало возможно прощупать глазами два туловища, то сливавшихся вместе, то снова делившихся — так бывает при ходьбе в ряд, но не в ногу.

Так же осторожно, как шли, они перелезли через плетень.

— Бывайте здоровы.

Баранья шапка чуть-чуть подвинулась кверху и там осталась.

Фома подошел вплотную к телеге.

— Дурно... Треба почекаты.

— Ждать? Почему?

— Постановили секреты. Не выйдет.

Это было против расчетов. Вместо тепла и отдыха, трястись обратно тем же путем, уже продрогшим, голодным и ночью.

Поднимается невольный протест, раздражение, злость. Но громко говорить нельзя, и это уравновешивает.

— Долго простоят секреты?

— Кто же их ведает — день, два, три...

— Мы переждем у вас.

— Не можно. Заметят.

— Возвращаться — тоже заметят: лесник, паром... Кроме того, потеряем не два дня, а неделю. Устраивайте здесь.

Они, несомненно, могли это сделать, но уклонялись. Было ясно, что, преувеличивая затруднения, хотят набить цену.

Фома шептался с возницей. Тому, очевидно, тоже обратное кортанье по целине и оврагам, не говоря уже о лесе, не улыбалось. Он успокоительно убеждал Фому в правильности наших доводов.

— Ну, ин ладно,— обмяк Фома.— У него вот есть летник. Только выходить днем — ни под каким видом!

— Кормить будут?

— Без этого нельзя. Разносолов нема, а набить брюхо найдем чем. А, может, завтра и секреты снимут: чего им в такой холод скучать здесь?

— А если обладить их — дорого?

— Не выйдет. Если бы не Вьюн с ними. Дурной мужик — и сено стережет, как собака. Да завтра их снимут...

Он уже и сам начинал заражаться нашим желанием скорее избыть секреты. И о завтрашнем их уходе говорил с уверенностью, как о факте, уже совершившемся. Мы вылезли из телеги и расправляли затекшие ноги. Фома окончательно договаривался с возницей.

— На путник... возле Карпа... Через Данилин усад... Почекаем за хатой...

— Пошукай жинку. Глянет и сделает...

Возница сел в телегу и двинулся в темноту вперед по дороге. И когда уже совсем смешался с тьмою, оттуда вырвалась пьяная песня и отборные увещания непослушного коня.

А мы трое перебрались через плетень и в молчании пошагали гуськом в сторону огоньков, но мимо них. Шли торопливо, забирая немного влево и минуя огни. Пьяная песня уже где-то пропала, и даже нельзя было теперь указать, с какой стороны она слышалась.

5

Два дня уже лежим мы в летнике на широких нарах, между глухой стеной и печью.

Небо прояснилось. Весна воспрянула снова, и торжествующее солнце радостно заливало землю. Но секреты не уходили. А здесь было холодно, скучно и однообразно. Тянуло на воздух, хотелось двигаться и нечего было есть.

Заваленный прошлогодним, побуревшим картофелем, передний угол скрывался в тени: ради постояльцев на день открывали одно малюсенькое оконце из имевшихся двух. И оно

лишь сгущало темноту по углам. Другое оконце оставалось по-зимнему заткнутым снаружи кошмой и соломой. Рваная ременная сбруя свешивалась по стене у двери. И сломанный хомут, как старый нищий, хвалился распоротым потником и торчащей соломой. Тут же стояли лопаты, заступы, кирка и ухваты, валялся топор и большое полено с иссеченной горбиной. Два мешка с мукой и крупой да старый рогожный куль, вместо брезента, на них. Оставался только узкий проход между мешками и печью от двери к нарам.

Над нарами густо повисли тулупы, кафтаны, шубы мужские и женские, вышитые рушники и хустки, кацавейки и праздничные поневы. А на нарах в углу были сложены в общую кучу домашние подушки из перьев и стеганные одеяла из ситцевых треугольников.

Около нар стояли кадки с прошлогодними загнившими огурцами и обмякшей кислой капустой.

Все заставлено, забросано, завалено, как в ненужном, нежилом, тесном закуте. И над всем этим хламом навис сгущенный, тяжелый воздух, копившийся здесь целую зиму. Лишь при помощи глаз можно было выделить из него отдельные головокружительные запахи: овчинных полушубков, прелой сбруи и гнилой капусты.

И мы лежали, как часть этого хлама, примостившись в ряд на свободной половине нар. Лежали с тех пор, как вошли сюда, изредка и неохотно подползая к убогому кривому столу, прислоненному к нарам. Вставать было не к чему, так как ходить не было места, а сидеть, кроме нар, не на чем. И тоже с тех пор, как вошли, не умывались и на ночь снимали только обувь. Топить печь нельзя, чтобы не привлечь внимания дымом, а оставшийся здесь с зимы холод не выходил сквозь стены наружу. Наоборот, он как-будто загонялся сюда и снаружи, где ярко блестело солнце и остро угадывалось тепло и чистый, весенний воздух.

Лежали уже отупевшие и мрачные. Солнце манило на воздух и обещало тепло, а здесь так убийственно холодно. Говорить уже не о чем — все переговорено, непрерывно же спать невозможно.

Утешало одно — несомненное расширение опыта. Во-первых, это самый лучший в жизни учитель. А во-вторых, его положительное значение отнюдь не исчерпывается только этим. Диалектический процесс приложим здесь так же, как и к прочим явлениям жизни. Наш вынужденный голод и затерянность в промерзлом хламном летнике контрабандиста мог впослед-

ствии оказаться источником приветливого приема, обильного ужина и сочувственного внимания в какой-нибудь буржуазной квартире.

Сочувствующая буржуазная семья всегда романтична и отзывчива. Своевременно и уместно пущенный в оборот рассказ о таком вот нашем лежаньи мог вызвать не только романтический интерес, но побудить и на некоторые действия — сбор в пользу того или иного партийного предприятия.

По вечерам приходил Фома. Докладывал, что секреты еще не сняты. Хвастал своею ловкостью и удачливостью при переправах. Беспощадно наколачивая нашим табаком свою люльку, всячески портил без того уже испорченный воздух. И уходил с обещанием завтра непременно устроить дело.

Вчера ему поставили вопрос ребром: или сегодня переправить, или будем искать другого пути и другого проводника.

— Какой же к чорту проводник, если по двое-трое суток заставляет ждать переправы?

— Я плохой проводник?.. Ни разу не споткнулся — плохой проводник. Секреты — не просто солдат. Солдаты, и те их боятся! Плохой проводник... Ладно, идете на риск — завтра будете на той стороне!

— А завтра опять будет завтра?.. Та же канитель без конца! Трепать языком зря нечего — или бери, сколько стоит, и делай, или закрывай лавочку.

— Хорошо. Завтра!

И сегодня перед вечером зашел хозяин, который нас привез от парома. И заявил, чтобы собирались: переправа налажена.

Это оживило и подняло упавший дух. С аппетитом поужинали уже опротивевшей мамалыгой и сплющенными огурцами. И, ради прощального вечера, хозяйка принесла большой горшок горячей воды для чая.

Тронулись в путь, когда уже большая половина села спала и огней в хатах почти не было. Изредка стучал караульщик, и лаяла там или тут собака.

Когда вышли на воздух, он ударил в голову весенний, густой, пьяный. Переход оказался настолько резким, что должны были на момент прислониться к стене, чтобы не упасть и исподволь раздышаться.

Пошли друг за другом четверо — впереди Фома, сзади Яков. Бархатно-черная ночь просвечивала только глубокой синевой в небе. И одинаково любовно скрывала и тех, кто ищет, и тех, кто прячется. Звезд мало, они необычные будто и неизме-

римо далекие, блестели тепло и мягко. Село спало и даже как-будто дышало во сне: так было спокойно и тихо кругом.

«Знаете ли вы, что такое украинская ночь?.. Нет, вы не знаете украинской ночи»... цитирую на память из Гоголя. Но и Гоголь знал только ее поэзию, а она имеет и прозу: «когда замолчит весь мир, и завороженный воздух тихо струится над землей»... из своих щелей выползают контрабандисты и святотатственно стряпают на земле свои мелочные делишки.

Шли долго, все в том же порядке, как начали — впереди Фома, сзади Яков. Прошли много садов и огородов. Перебирались через плетни, пересекали наезженные дороги. Можно было предполагать, что это улицы. Не говорили совсем.

— Тсс...

Присели все сразу на корточки, около какого-то плетня. Необычайно тонко различаются все звуки, как-будто слуховой аппарат вышел наружу. Однако нельзя уловить вблизи ни одного подозрительного звука. И наша осторожность кажется совершенно ненужной.

— В чем дело?..

— Тсс... собака...

Лаяла она где-то далеко, обрываясь и вновь захлебываясь, и каждый раз ближе. Потом лай доносился уже с перерывами и глуше: она проводила кого-то и возвращалась. Затихла совсем. Отозвались спросонок лениво другие. И снова все стихло.

Некоторое время продолжаем сидеть в своих неудобных позах, на корточках.

— С богом...

И опять трогаемся в том же порядке и тем же способом.

Перебрались через глубокую канаву в какой-то сад: правильными рядами размещаются мелкие, значит — ягодные, кусты. И с такой же правильностью возвышаются над ними некрупные деревья — груши и яблони. За ними темной копной маячит постройка, но нельзя определить — амбар это или хата.

По знаку Фомы опять опустились на корточки. И Яков, тотчас же подтолкнутый Фомой, бесшумно потонул за кустами.

Ни курить, ни говорить нельзя. И настолько уже были заворожены тишиной, что одна мысль о том, чтобы переменить неудобные позы, как-будто входила в сознание через слух, казалась слишком громкою.

Яков вырос из кустов неожиданно, как из земли. Нельзя было сказать, с какой стороны он пришел или приполз: ни малейшего шороха перед тем не слышалось.

— Готово.

— Все?
— Все.
— Весла?
— Взял.
— Присядь.

Они говорили не шопотом, но шопот был бы громче. Звук выходил несдавленным, чистым, но оставался на губах, совершенно не посягая на тишину. Фома нагнулся ухом к земле и слушал.

— Айда!

Поднялись осторожно. И отойдя два-три шага, Фома наклоняется под куст и что-то шарит руками. Потом с легким заглушенным треском приподнимает и отваливает тонкий слой валежника.

— Бери.

Впереди Фомы наклоняется Яков. И когда они выпрямляются, в руках у них маленькая долбленая лодка. Настолько маленькая и легкая, что каждый из них держит ее только одной рукой.

Еще несколько шагов за кусты, и лодка уже легла вдоль берега. Река открылась совершенно неожиданно. О близости ее не было даже мысли: ни речной прохлады, ни сырости не чувствовалось, хотя сидели от нее в нескольких шагах. И теперь она открылась вся сразу, как широкая бархатная полоса с темносиним отливом. На другой стороне загадочно темнеет не то высокий сплошной лес, не то сливающиеся друг с другом в плотный ряд высокие здания.

Через полминуты явилась другая лодка и так же беззвучно легла вдоль берега.

— Готово.
— С богом.

Козицкий шагает в одну лодку, я в другую. Узенькая дощечка для сиденья только одна — на корме лодки, для гребца. Приходится садиться прямо на дно.

— Лечь! На спину!

Это командует Фома. Выполняю беспрекословно. Это удобнее, чем сидеть. Но зато утрачивается всякое ощущение устойчивости. Лодка — выдолбленный кругляш,— суденышко весьма легковесное и верткое. Лежишь, как в детской люльке, покачиваясь при каждом движении гребца. Голова запрокинута, и перед глазами звездное небо. Под самым ухом чуть слышно и приятно журчит струя рассыпаемым серебром. Весло опускается в воду бесшумно, и о работе его только догадываешься,

когда оно переносится через тебя на другой борт, и брызги с него падают на лицо.

Неожиданно и резко поворачивается перед глазами звездное поле и останавливается в обратном порядке. Это лодка, круто изменив положение, продолжает двигаться уже кормой вперед. За плечами Фомы поднимается темная высокая стена берега. От кормы к носу проходит легкий хруст. Лодка стала.

— Приехали.

Почти непосредственно от воды, только через узкую полосу бечевника-щебня, поднимается высокий скалистый берег Галиции.

Недалеко от места причала, приблизительно на половине подъема на кручу, оказалась природная пещера, с низким и широким выходом, как старушечий рот — верхняя губа западает внутрь, а нижняя выступает вперед и поднимается кверху. И входа в пещеру снизу не видно. А когда около воды проходят австрийские жандармы, в пещере можно укрыть от них, что угодно.

Сюда же втащены были и наши лодки. И здесь мы сделали небольшой привал, прежде чем тронуться дальше. Нужно пройти еще с версту, чтобы оказаться под дружеской крышей.

Фома соображает:

— Дома ли теперь Ян...

— Как дома ли?.. Ты гасло[1] давал?

— То-то нет — не успел. А потом поздно было...

— Чорт знает, что ты делаешь!.. Когда-нибудь с тобой сядешь...

— Ну-ну, не таковский... Да где же ему быть, как не дома? А ну, пошукай.

Яков высовывает голову и всматривается. Потом ложится ухом на горбыле.

— Кажись, можно.

— Ну, айда! Чтобы успеть вернуться.

Спустились к воде и шли сначала по самому берегу. Потом отлого начали подниматься и вышли на самый верх, на плоское, ровное поле, уже около самого Городка. Так называлась деревня, куда мы шли.

Ян оказался дома. И через полчаса он трясет нас в арбе по шоссе на станцию. Наплывают навстречу из темноты неведомые кучки спящих построек с костелами, с тополями. Расступаются и провожают безглазыми окнами к новой молчаливой такой же кучке.

---

[1] Сигнал.

И нет ощущения скрытой за ними опасности. Нет настороженности рыбы, попавшей в садок, ожидающей очереди — вот-вот выловят. Отечество позади, за бархатной темно-синей пологой.

В тот же день были в Львове.

6

Был предварительный расчет—покончить в Львове дела в пару дней. Началось новолуние и, по законам природы, должно было стать через несколько дней полнолунием: тревожная истома чувствительным барышням, безработица контрабандистам.

Мало ли чего предполагает человек по своей доверчивости к окружающему. Но его предположения в этом случае — расчеты без хозяина.

Достаточно налаженного пограничного склада не оказалось. Как не оказывалось, вероятно, и в ряде других таких пунктов. Российская эмиграция никогда не отличалась особой практичностью. Учащаяся молодежь, привлекавшаяся к этому делу, не в меньшей степени. Интеллигентская распустеха, отличавшая их у себя дома, здесь распоясывалась. Дисциплинирующий жандармский глаз отсутствовал. И настороженность, точность и ясность конспиративного дела превращалась в обывательскую небрежность.

Литература, предназначенная для импорта в Россию, хранилась на каком-то универсальном складе. Там были и издания украинских социал-демократов, и профсоюзов, и легальные книги, и просто домашние вещи частных людей.

Учреждение широчайшего использования, кроме конспиративного. Ибо когда я поставил вопрос о непосредственном участии в упаковке, чтобы ускорить, получил категорический отказ.

— Это невозможно по конспиративным условиям. Да вы не беспокойтесь — все будет сделано в лучшем виде. Но хорошо, если бы вы получили свежие посылки с почты — их тогда можно не завозить на склад.

Чужая душа — потемки. И чужой монастырь ревниво всегда относится к уставным поправкам со стороны.

Идем получить посылки. Два тючка из Женевы на почте оказываются вскрытыми. По объему и весу возникло подозрение, что пересылается масло. И Львовский магистрат вправе был считать себя дважды обманутым: масляная пошлина занимала видное место в его бюджете.

Нам предъявляют вскрытые эти тючки и предлагают составить протокол. А за несоответствие обозначения с самим содержимым мы должны уплатить штраф.

И оставив нас с разинутыми ртами, предупредительный чиновник идет за бланком и понятыми.

Мы переглядываемся. Чорт их разберет, к чему это привести может.

— Удираем, Казимир?..

— Пожалуй, лучше будет.

— Берем?..

Козицкий поднимается, берет под мышку один тючок, другой у меня. И, как стреканные воры, спокойно выходим на улицу. Садимся в наемную карету и на одной из оживленных площадей выходим, чтобы добраться до квартиры пешком.

Оказывается, протокол должен был окончиться судебным разбирательством, а, может быть, и арестом. Но зато похищение вело за собою несомненную тюрьму уголовного достоинства.

Все хорошо, говорят, что хорошо кончается — даже глупость и мальчишество, если они своевременны и удачны. В тючках оказались Эрфуртская программа и На другой день... по русским условиям—богатство, фактически таксируемое почти на золотой вес.

Широкими глазами смотришь здесь на чужую жизнь. Все ново, совсем незнакомо, и не все понятно. Хотя такие же люди кругом — ходят по улицам, разговаривают, смеются, что-то делают, где-то работают. Но они иные по языку, по навыкам, по манере обращения друг с другом. Свободно и не скрываясь, собираются в большом зале на людной улице с красной гвоздикой в петлицах и в национальных костюмах. Это украинские социал-демократы что-то празднуют и хотят танцовать. Вместо политических речей — концерт и танцы. О социал-демократии напоминают только гвоздика и конфедератки девиц...

И чувствуешь себя здесь... не чужим... не подходит такое слово. И не своим... а каким-то диким, связанным, не понимающим естественности окружающего учеником, которому еще долго надо учиться. Как-будто отошел назад на десять лет и сидишь за барским столом в качестве гувернера, впервые вооруженный ножом и вилкой.

И, должно быть, дурацкая растерянность слишком ясно отражается на твоей роже. Львовский студент Левка, наш чичероне и эсдэк, хочет поразить еще больше. И в тоне его уже слышится сознание превосходства:

— И мы часто собираемся так, почти еженедельно.

— И всегда с плясом?

— Нет... и рефераты читаем, бывают докладчики.

Только в комнате, где нас приткнули до подготовки транспорта, чувствуешь себя самого. Здесь ты опять взрослый человек, с равными равный. Временный гость, приехал за своим делом, и все другое совсем к тебе не относится. Лишь бы поскорее все сделали.

Приходит сюда же на ночевку Басок, с молодым истомленным лицом, больным позвоночником, всегда уставший и не особенно разговорчивый. Нам рекомендуют его до этого как человека, знакомство с которым не может не быть интересно. И, должно быть, он тоже предупрежден: в первый же вечер приносит нам свежую Искру, которую мы можем иметь в России почтой разве лишь к лету.

Но нет радости от этого подарка. Нет признательности за оказываемое внимание. Мы уже успели здесь прочитать предыдущие номера уже меньшивистской Искры, которых в России еще не видели.

И кажется, что Басок преподносит этот последний чистенький номер с скрытой иронией, с желанием так же покровительственно на нас посмотреть, как покровительственно шамкает по нашему, „российских практиков“, адресу Аксельрод.

И Басок добавляет при этом:

— Для вас это будет интересно: вы, вероятно, еще не читали его?..

Хочется огрызнуться и обругать. Но во-время мелькает, что ты ведь в гостях и подозревать хозяев в умышленном издевательстве у тебя нет оснований.

— Конечно, интересно... если он не похож на предыдущие.

— А разве они не интересны?.. — Он оживляется, предчувствуя спор, и, кажется, готов защищать от нас Искру.

— Мы, ведь, привыкли,— говорю примирительно,— к другой Искре: с короткими боевыми статьями, о деле, которое нужно сегодня именно. И мы делали его, как взрослые люди. А теперь Искра нас переводит в приготовительный класс, переучиваться.

Басок так не думает. Ему кажется, что я ошибаюсь, отношусь пристрастно. Он согласен с Аксельродом, что рабочей партии в России еще нет, ее нужно лишь создать. И формальный интеллигентский централизм будет этому только препятствовать, а не помогать.

Но он не утверждает категорически, а говорит в форме вопросов — „не кажется ли вам“, „не думаете ли вы“... И чем деликатнее он их ставит, тем обиднее они звучат. Как-будто мы в самом деле ребята малые...

— Знаете что... Мы создаем партию в таких политических условиях, при которых ваша партия рассыпалась бы в пару дней. И боюсь, что наши рабочие чувствуют глубже, чем думает об этом новая Искра. Если вы дадите им статью Засулич об „июльских днях,“ они, пожалуй, скажут: „Кудахчет курица, не знает, где положить яйцо“... А об Аксельроде: „Онучу старик жует“... Вы знаете, что такое русская онуча? Подвертка в лапти. Неужели мы не доросли до сапог?..

Приходится изворачиваться. Избегать, как и он, резких категорических утверждений. Общие характеристики заменять частными, персональными, предположительными от третьих лиц. Басок не один. Его поддерживает и Левка, и заведующий партийной друкарней, бывший офицер. Все они пекутся о нас, помогают нашему транспорту, заботятся о скорейшем снабжении нас теперь...

И никого из своих. По Гусаровской информации, этим путем ведал Мальцман. Но он жил в Вене. Ни адреса, ни явки к нему у Гусарова не было. Вызвать сюда Мальцмана некогда — с часу на час ждем отъезда, и близко полнолуние. Ехать к нему в Вену — опять проволочка, и денег нет.

А договориться о Львове на будущее нужно. И договориться с своими, а не с этими украинцами, которым (кажется) ближе, понятнее новая Искра, чем российская обстановка. И они помогают нашему делу лишь между прочим, и через пень-колоду: как Фома около секретов, ежедневно говорят: «завтра непременно».

Когда нет других средств, хватаешься за последнее. В старой Искре когда-то указывался для заграничной переписки адрес: Verl. J. H. W. Dietz Nachfolger. Stuttgart — с внутренним конвертом «для Зари». Заря и Искра едино суть. Но нужно, чтобы это попало Ленину. Значит, нужен третий конверт. И в нем, на всякий случай, зашифровать места и лиц и суть дела. По псковской практике помню и ключ. Двууглекислый свинец под руками.

Задумано — сделано. В трех конвертах, один в другом, листок почтовой бумаги с ничего не говорящей чернильной запиской. И между ними ключ Феклы...

Но последнее средство потому и последнее, что пригодность его сомнительна. Особенно, когда поспешишь с ним, не доду-

маешь до конца. По легальному, публикуемому адресу нелегальное шифрованное письмо. Нелепость этого была понята только потом. И как иначе, кроме как провокация, оно могло быть принято?

Об этом уже полгода спустя сказал мне Борис в Самаре.

Наконец, отбор и упаковка транспорта закончены. Нам вручают на вокзале два увесистых ящика и пару корзин. Сдаем багажом на станцию не ближайшую к переправе, от которой ехали сюда, а соседнюю. Там и должен, по условию, встретить нас Ян с лошадью.

В гостях хорошо, а дома все-таки лучше. Нужно спешить: луна подрастает, и прогулки ее удлиняются. А дома ждет Лука — загостившийся гость — и, вероятно, клянет меня на все корки, изворачиваясь перед незнакомой ему моей хозяйкой.

Только бы переправиться сразу, не задерживаясь на этой стороне Днестра!.. Остальное приложится...

7

Как-будто отвечая этим печальным размышлениям, заговорил и Ян, когда отъехали от станции:

— Вчера в реку луна гляделась. Сегодня будет раньше гулять.

— Фома был?

— В четверг приезжал. Наказывал подать гасло, когда вернетесь.

Это рождало некоторую надежду и обещало потом, при удаче, некоторое удовлетворение сделанным. Всегда так приходилось надеяться на благоприятные случайности. Хотелось согласовать их все — иначе не было уверенности, не было удовлетворения сделанным, не было отдыха. Утомляло не самое дело, а промежутки, междуделье, полное неуверенности и опасений. Утомляли мелочные заботы о согласовании случайностей. Это логически нелепое положение — согласование случайностей — на практике было обычным. Отступать всегда было некуда, и всегда приходилось изворачиваться и балансировать между логикой и провалом, но уже совсем не в логическом смысле.

Приехали в сумерки, и Ян сейчас же подал гасло. Через час явились Фома и Яков и стали торопить.

— Луна выйдет рано, — нужно управиться до нее.

— Сколько можете взять?

— А что унесем. Только удобно было бы.

5*

Передали им корзины.

— А завтра?

— Завтра вас перевезем. Остальное потом, на ущербе.

Ушли, будто растаяли. За дверью и окном оставалось так же тихо, как было, не слышалось ни малейшего шороха.

После ужина втаскиваем ящики. Надо перепаковать удобными пачками. Интересно и посмотреть, какие ценности дала нам поездка.

Литературный язык слишком ограничен и слаб, чтобы передать настроение после того, как ящики были вскрыты. Для этого был недостаточен даже лексикон моего родителя. Там оказались книги — немецкие, польские, украинские — медицинские учебники, старые журналы, никакому чорту ненужные, модель черепа, наконец...

Как издевательски далеко от того, что было нужно, на что тратили время и средства! Выдали со склада по небрежности явно чужое. Но от этого совсем не было легче.

Ужинали молча и неохотно. И когда улеглись спать вместе с хозяйской семьей в маленькой хибарке, где не было воздуха, то стало невыносимо не только от духоты. В темноте мысли особенно ярки. И особенно назойливо осаждают. Они играют на нервах, как на расстроенной балалайке. Голова разламывается. Останавливается сердце.

Единственное маленькое оконце, у которого я лежу на лавке, ярко освещено полной луной и еще более раздражает нервы и мешает забыться.

Легкий стук по стеклу.

— Неужели Фома?..

Приподнимаю голову. Неприкрытые никакой тенью и оттого, как неживые, загробные, стоят около окна двое людей. На одном из них тускло поблескивает медная каска.

— Жандарм?..

Принимаю вид спящего — тут дело хозяйское, не мое.

Стук громче, настойчивее. Завозился на постели Ян, послышались отдельные, разрозненные вздохи спящих людей. Ян подошел к окну и нащупал мое плечо.

— Жандарм.

— Видел. Придется, вероятно, впустить.

Вошли молча и остановились у двери. Ян нашел спичку и зажег лампу.

— Панове!

Трогают мою ногу. Не просыпаюсь. Трогают настойчивее.

— Панове!

— Что угодно пану?

— Прошу одеться и пойти за мною к коменданту.

— Если пан знает, он, может быть, скажет, зачем?

— К сожалению, ничего не могу сказать.

Одеваемся без суетливости. Жандарм ведь не наш российский, даже без селедки. И с ним, для пущей законности, в овчинном тулупе деревенский войт.

— С вами есть вещи, панове?

— Немного.

— Этот чемодан?

— Наш.

Жандарм чиркнул спичкой и выглянул за дверь.

— А ящики?

— Тоже наши.

— Их тоже возьмете. Сделаешь коня!

Ян отправился запрягать лошадь.

Через четверть часа тронулись по деревенскому шоссе, залитому луною: впереди жандарм с моим ручным саквояжем, сзади Ян с войтом и лошадью.

Пограничная казарма оказалась недалеко. И когда вошли в большую, светлую комнату, жандарм передал нас старшему, вышедшему навстречу. Распорядившись внести сюда и ящики, старший указал на вход в следующую комнату.

— Будьте любезны — вам придется немного ждать, пан комендант отлучился по делу.

Говорил по-русски с едва заметным польским акцентом. И несмотря на официально-корректный тон, глаза смотрели добродушно и сочувственно. И говорил с нами скорее как с гостями, чем с арестованными.

Большая комната с длинным канцелярским столом. Бревенчатые новые стены, белый изразцовый камин, добела вымытый пол и дорожка половика... тепло, светло. Не казарменная и не канцелярская обстановка.

— Пожалуйте, прошу...

Так и хочется продолжать ему в тон: „будьте, как дома“.

Двое подошедших солдат подвигают нам стулья. И один из них любезно протягивает портсигар. Совсем, как в гостях, с церемониями.

— Скажите, пожалуйста, чему мы обязаны такой честью?..

— О, не беспокойтесь, пьяный русский контрабандист сделал здесь кражу. Его арестовали. И он указал, что вы здесь скрываетесь и имеете социалистичны ксенжки для России.

— И как намерены поступить с нами?

— О, ничего, пан комендант вас простит, и если неправда, то отпустит.

— А если правда?

Он улыбнулся и пожал плечами.

— Тогда... не знаю.

К прибытию пана коменданта уже совсем освоились с положением и столковались со старшим. Он долго жил в Варшаве и „любил русских студентов". Как студентов, расценивал он и нас. Возражать против этого или восстанавливать истину не было никаких оснований.

Он сообщил, что до прошлого года на провоз книжек через границу в Россию они смотрели „сквозь пальцы". Но в прошлом году Австрия выговорила себе у России свободу действий в Македонии. И за это они обязаны строго оберегать границу „от социалистичных ксенжек".

Мой маленький саквояж, наполненный новинками из этой области, к приезду коменданта, исчез под шинелью неожиданного друга. И солдаты видели это. Они даже санкционировали молчаливой усмешкой в усы.

Короткая сухая беседа с комендантом. Вопросы, ответы, поверхностный осмотр содержания ящиков. И снова повеселевший Ян взваливает их на телегу и везет обратно. Приключение оказалось более интересным, чем можно было рассчитывать. Возбужденно и весело возвращаемся по той же дороге обратно.

На пути присоединяется старший и, возвращая саквояж, провожает до дому. Но и тут не хочет так сразу расстаться. В кармане у него уже бутылка вина, которую „непременно нужно распить для приятного знакомства".

Он ушел только перед утром. И на прощанье уже серьезно дал совет выбираться отсюда скорее.

— Контрабандист или другой русский крестьянин может что-нибудь еще проболтать,— заботливо предупреждает он.— Русский крестьянин плохой на язык: говорит всегда то, чего и не спрашивают.

Уходить нужно было уже и без этого предупреждения. У Яна большая семья и маленькая лачуга. Тесно, душно. Мы оказывались явно лишними, как бельмо на глазу. И хотя сам Ян был неглупый мужик и помогал больше из сочувствия, чем за плату, но жена смотрела на компрометирующее пребывание посторонних не так уж приветливо. С этим нельзя не считаться.

8

С утра начали готовиться к заграничному путешествию, на родину. Надеяться на Фому и Якова рисковано: луна должна выйти раньше, допустив только какой-нибудь час сумерек.

Осмотрели окрестности Городка с другой стороны, противоположной Днестру. Там протекал один из его притоков, Збруч. Речонка небольшая, вроде большого ручья. Можно было перейти ее вброд, выбрав укромное место и удобный момент. И удобнее сделать в сумерки, когда в человеческом глазу утрачивается четкость форм окружающего.

Скрываясь в кустарниках и овражках, обошли весь берег, внимательно изучая противоположную сторону. А там было все спокойно и мирно. Паслись телята, мужики выезжали на пашню, кудахтали около селения куры, бабы с подоткнутыми подолами сбегали к берегу за водой... Ни малейших намеков на вражду или настороженность — снимай сапоги и переходи, где тебе вздумается. Ни одной сторожевой будки или поста не было видно, как ни внимательно разглядывали, высматривали.

Однако от искушения итти теперь же воздерживались. Хотя и наметили место. Даже часа два около него лежали и наблюдали, не обнаружится ли вблизи каких-либо неблагоприятных признаков.

К обеду вернулись к Яну оставить ему последний наказ: в случае приезда Фомы и Якова дать ему старые запасы и саквояж. Запасы лежали у Яна запрятанными в риге четыре месяца,— двадцатые номера Искры. Ян уже утратил надежду, что они будут от него взяты. И незадолго до нашего приезда начал подтоплять ими печку. Теперь это ему было запрещено, и он должен их переправить с Фомой.

Отправляемся совсем налегке, без одной вещи в руках. Адреса, какие были с собой, уничтожены: всякие бывают случайности...

И когда прощались с Яном, он затуманился.

— А, может быть, еще подождали бы?..

— Нет, уж двинемся.

До вечера еще долго. И не один еще час приходится наблюдать под теми же кустами, под которыми лежали и утром. Солнце садится медленно. От реки по кустам ползет холодная струя ранней весны. Ни один согревающий луч проникнуть сюда не может. Остается только терпеть и ежиться да без конца курить, чтобы скоротать время и вызвать иллюзию тепла.

— Рано вышли. Обождать нужно было.

— Теперь уже недолго.

Мало-по-малу опустело противоположное поле. Только в одном месте валили в опорожненную телегу вилы и грабли. И толкались около нее подростки и дивчата. Голоса громче и отчетливее — оттого, что затихает окружающая природа, и оттого, что работа кончается и предстоит отдых.

Обласкав последними лучами только верхушки кустарников, пропало солнце. И сейчас же с другого бока стала видна анемичная, как-будто сквозная луна. И последняя телега, нагрузив всех около нее столпившихся, с гамом и хохотом направилась к деревне.

— Теперь пора!

Спустились к реке. И, оглядевшись в последний раз, сняли сапоги. Не вполне оттаявшая земля обжигает ноги.

— Наискось, по течению, к тому кусту!

Только около куста на другом берегу чувствуешь, как холодна вода: ноги синие, потеряли чувствительность. Слова треплются на губах, потому что губы прыгают и мертвецки лязгают зубы.

— Прямо, на дорогу...

И быстро зашагали по открытому месту. Сразу тепло и легко. Впереди два десятка верст — совсем пустяки: дом и отдых теперь уже более близки, чем противоположный берег.

Теперь здесь оказывается светлее, чем когда смотрели из-под кустов. Дорога идет по самому горбу поля и пропадает впереди, около оврага.

На взлобке навстречу показывается лошадь. И инстинктивно подбираемся, перебросившись взглядами. Но продолжаем путь, изменив лишь шаг на спокойный, неторопливый.

Возвращаются с дальнего поля?..

Едут рысью длинные дроги. И несколько ног болтаются сбоку между колесами. Кругом ни одного куста, никакого прикрытия. А сзади оцепленный рекой мешок с деревней и кордоном на самом дне, и мы у самого выхода из этого капкана.

Дроги поравнялись и не остановились. Но когда проехали, от них осталась на другой стороне дороги серая фигура с тесаком и кобурой.

— Вы откуда, господа?

Вопрос был полуначальнический, но неуверенный, нетвердый. Пришибеевской строгости в нем не слышалось.

— Гуляем, дядя.

— Нет, однако... откуда вы?

— Все из тех же мест... куда и ты направляешься.

Мы не останавливаемся. А он стоит, точно усиливаясь что-то придумать или дождаться ответа. Потом срывается с места за нами, в то же время оглядываясь на дроги, машет им, чтобы остановились.

— Нет, постойте... Так нельзя. Скажите, кто вы?

— Божьи, голубчик, да отца с матерью. Чего пристаешь? Паспорта что ли тебе показывать... Ну?

Мы остановились. Он тоже остановился и не знает, что ему делать — хватать, или звать на помощь, или еще что. Дроги тоже стоят и ждут.

— Пропуска надо иметь. Покажите!

— Так бы и сказывал, ближе к делу.

Козицкий вынимает из кармана золотой и вертит его между пальцами.

— Да ведь служба, господа! Ведь я разве сам... Мне что же?

— Мы шли до Жванца, да вправо прошиблись. Теперь обратно итти приходится.

— А это сейчас через овраг и будет! Немного идите, раздвоится направо — в него и упретесь.

Он успокоился и одернулся. Говорил так, как-будто бы хотел сам проводить, но не имеет времени.

Оглянулся по сторонам.

— Нет, это не пойдет, господа! У нас служба — это не полагается, чтобы взятки! Сказывайте, кто вы таковы?

От деревни, оставленной сзади на дне мешка, рассыпавшись цепью по всему полю, в карьер неслись конные солдаты.

— То-то я заметил, как вы реку переходили... А то „гуляем“! Не даром они выехали!

Переглянулись и поняли: бежать бесполезно... Кругом открыто и чисто, и всадники приближаются быстро. Подъезжают не прямо, а охватывая кольцом, замыкая его фланговыми.

Первым подъехал ефрейтор и остановился вплотную.

— Ну, что, господа?

— А вот я их задержал! Иду там, значит, смотрю — они через реку...

— И без тебя не ушли бы. Мужик прибег, чуть говорит — задохнулся! Ну, мы зараз, марш-марш!

Солдаты подъезжают по-одному. С любопытством оглядывают нас с головы до ног и оправляют стремена и гривы коней. Ни злобы, ни раздражения их лица не выражают, спокойны и безучастны. Только любопытство, и то какое-то неживое и равнодушное, появилось и скрылось.

— Назад теперь, марш-марш!

Окружили нас и направились шагом к деревне.

9

Вчера было по ту сторону Збруча: преступников трое — мы двое и Ян, плюс три места преступного груза. И конвой: почти безоружный жандарм и деревенский войт в нагольном тулупе.

Сегодня здесь: преступников только двое, без всяких вещей. И конвой: десять конных солдат в полном вооружении и еще стражник.

Мы вправе были гордиться и своей ролью, и нашим отечеством.

И когда в таком почетном окружении входили в деревню, много пар любопытных глаз протянулось из-за углов и плетней. Не то почтительный испуг в них застыл, не то боязливое ожидание. А когда ближе подходим, взгляды оказываются или равнодушными, или строгими, или смотрят в землю и в сторону.

Вводят в казарму, как и вчера. Но это другая казарма: запах кислой шерсти и деревянных опилок здесь главный хозяин. Вытоптанный деревянный пол скоркает песком, наношенным с улицы на ногах. Рядами солдатские кровати. И около одной из них, более прибранной, торопливо пристегивает портупею фельдфебель.

Вот обдернулся, выставил грудь и сделал деревянное лицо.

— Ну, что за люди?!

И переводит строгий взгляд на нас, на конвой и обратно. Ефрейтор, руку к козырьку, докладывает. Он с той же деревянной важностью кивает и вставляет, будто каркает:

— Так!.. Так!..

Около нас топится голландская печь, манит и обещает. Мы снимаем пальто, разуваемся и садимся на полу обсушиваться и греться. Доклад нас мало интересует.

— Езжай до капитана! Марш-марш!! Сипайло! Возьмешь оружие и станешь у двери! Здесь вот!

— Так точно!

Они говорят по-военному, обрубают, как положено по уставу и чину. Но какой-то домашностью тянет и от их обрубаемых разговоров, как и от голландской печи. Ведь начальство сюда наезжает лишь изредка. Хозяин — фельдфебель, который спит тут же с солдатами.

Назначенный часовой берет от стены винтовку за штык, волочит ее к двери прикладом по полу. Встает у косяка, выравнивает ноги, подтягивает корпус, устанавливает винтовку к ноге, прижимает к боку. Глядит на нас, как бы прощаясь. Еще раз подтягивается. И застывает.

Фельдфебель вышел наружу распоряжаться и опять входит. Он выполнил все, что полагалось, и уже обмяк. Сохраняет еще суровость в лице, но она у него теперь не строевая, а хозяйственная.

— А в каком месте вы перешли, господа?

— Разве ваши люди вам не сказали?..

— Не поймешь их... не могут они.

Ясно, что люди его путают, чтобы не подвести того, кто в этом месте дежурит, а фельдфебелю это нужно знать для доклада капитану.

— Этого мы не скажем.

— Скажете капитану... все равно!

— Столько же, сколько и вам,— словили и ладно. Зачем еще солдат подводить?..

— Ну, как знаете.

С нашим резоном он, повидимому, соглашается. И обмякает еще. Отстегивает и опять застегивает портупею: вспомнил, что должен быть капитан. Наводит глазами порядок в казарме. Смотрит на нас — не прикрикнуть ли, чтобы не слишком по-домашнему располагались, и раздумывает. Присаживается на скамейку и прислушивается. Мы отогреваемся и отходим, продолжая сидеть на полу, вытянув к огню ноги.

Прискакал капитан.

Распахнулась стремительно дверь. Часовой вздрогнул и вытянулся. Фельдфебель вскочил со скамейки и, как петух, приготовившийся петь, набрал в себя воздух и сделал под козырек. Размашистыми шагами проследовал капитан прямо к столу и опустился на скамейку. Поддевку с кавказским ремешком не снимает, только подбрасывает на лоб папаху — значит, не намерен задерживаться.

— Что у вас тут?

— Вот они, вашбродь!

Фельдфебель почтительно докладывает. Капитан щурится в нашу сторону. Мы продолжаем спокойно сидеть на полу и смотреть в печку.

— Оружия не было?..

— Никак нет... Только это.

Капитан перебирает положенные ему на стол два кошелька

и бумажник. Рассматривает паспортные книжки, смотрит каменец-подольские прописные визы.

— Где перешли?

— Не указывают.

— Кто такие?..

Фельдфебель молчит, потому что капитан перебросил свой взгляд в нашу сторону. Мы не отвечаем потому, что смотрим не на них, а в печку. И обращение обезличенное: голые ступни перед огнем, и авторитет капитана не вяжется с приставкою «господа», которые смотрят из паспортов и подкрепляются нашим спокойным невмешательством.

— Вас спрашивают, господа! — дергается фельдфебель.

— Нас?.. Очень извиняемся, не расслышали... Пожалуйста, господин капитан?..

У меня нет желания ссориться с капитаном. И я хочу придать нашему преступлению характер безобидной обывательской беспечности: устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями за беспредметный переход границы, — 10 дней ареста или 15 рублей штрафа.

— Вы хотели бы знать?..

— Где вы перешли?

— Самый щекотливый вопрос. И, с вашего позволения, мы уклонились бы от ответа: для мирового судьи это не имеет значения, а давать материал для дисциплинарного дела здесь, согласитесь, нет смысла.

— Вы, ведь, живете... — и остановился, прощупывая нас глазами.

— В Каменец-Подольске.

— На ту сторону переходили также без пропуска?.. Ведь его же так легко взять?..

— Это было бы не так интересно, как с контрабандистами.

Допрос принимает форму беседы. Стороны остаются подозрительно-настороженными, но без явной вражды. И достаточно воспитанными, чтобы соблюдать дистанцию между ловцом и пойманным, не впадая в преувеличения.

— И почему теперь без проводника?

— Луна.

— Да-а... Придется вам здесь переночевать! Под охраной, конечно. Чем-нибудь здесь покормят. А завтра проводят ко мне, в таможню.

Проводив капитана, фельдфебель вернулся уже только хозяином — добродушным и освободившимся от всяких формальностей.

— Сейчас прикажу сделать вам яичницу... И самовар у нас есть, только грязноватый малость, не побрезгуете?..

Снял и повесил на гвоздик над койкой оружие. И разрешил часовому ослабить подпругу.

— Ты, можешь сесть, Сипайло, на табуретку... не так строго. Да не спи у меня! Смотри!

И мы угощаемся с фельдфебелем совсем по-домашнему, как его случайные гости. Пьем чай, закусываем, спрашиваем, отвечаем.

Выходят и входят солдаты. Соблюдая чинопочитание, подсаживаются к столу, бросают реплики. Они смотрят на нас добродушно и благодушно. На вопросы отвечают по-человечески просто. Хотя все они разные: казанские татары, полтавские хохлы и ветлужские лапотники. Эти последние — мои земляки, и через них мы становимся ближе и другим, не землякам. Их так подбирает начальство, чтобы они разные были: национальность должна их предохранить от тесной дружбы и поощрять взаимное соглядатайство и доносы. Но они одинаково все довольны, что мы не указали, где перешли.

И они почти поголовно неграмотны. Живая изгородь не должна быть восприимчива к внешним влияниям. Но зато они не могут читать и «10 заповедей генералиссимуса Суворова», которые у каждого обязательно днем прикрывают соломенную подушку. Это специально заказанные интендантством солдатские носовые платки. Только не для носа — на это есть пальцы,— а на подушку накидка. Разделен платок на десять картин-квадратов, в роде лубочной картины «Цыган и мужик Епифан». И в каждом квадрате своя заповедь: устрашительный солдат — рожа к зрителю, штык в сторону утыкает кого-то, и надпись шрифтом Гутенберга: «бей, коли, руби»...

На соломенных солдатских подушках, освобожденных от заповедей, нам предлагают преклонить уставшие головы. Две койки рядом в углу, противоположном фельдфебельскому, отведены нам. Хозяева коек назначены в первое звено по несению около нас караула.

И они на это не обижаются. Гостеприимно открывают серые одеяла и аккуратно, по-положенному, как все, складывают заповеди и кладут под подушки. Так в крещенский вечер гадающие девицы кладут под подушку сувенир, чтобы приснился жених.

Солдаты смеются. Они говорят, что невесты им снятся, но не из суворовских заповедей.

В разговорах и шутках хозяева наших коек обряжаются в

полную амуницию, как на кордонный дозор, и берут из стоянки винтовки. Через два часа они разбудят на свое место соседей и сменят их на постели. Потом очередь пойдет дальше. Так до утра наш покой будет под надежной охраной.

10

Утром, по-хорошему, как дальних сватьев, отгулявших деревенский храмовой праздник, усаживал нас хозяин-фельдфебель в обывательскую подводу.

— Надо еще сена подбросить — помягче будет. Да ты что же дерюжки не захватил? Ай нет?..

Уселись, как почетные гости, в самую середину телеги. На загрядках спереди, сзади, с боков — свесив ноги, разместились трое солдат с винтовками в небо и возница.

— Трогай!.. Счастливо!

Ехали мимо тех мест, где вчера искали с того берега переправы и из-под кустов высматривали сюда. Вот он — Городок, где приставали у Яна и шли от него в другие гости к австрийским жандармам. Трудно отсюда, при ином расположении света и теней, определить, которая хата Яна и где казарма, хотя Городок стекает по скату к реке близко-близко от нашей дороги: можно было бы легко узнать между хатами знакомых, если бы они там были, и даже раскланяться, как с противоположного тротуара. Но стыдно было бы сейчас увидеть там Яна, и не хочется, чтобы увидел нас он.

Капитан встретил, как старых знакомых:

— Как ночевали?..

— Есть русская поговорка,— отвечаю ему: — жаловаться не на что, хвалить погодить.

— И другая есть,— парирует он,— тоже русская: по делом... грешнику и мука.

Любезность за любезность. Он оказался победителем — даже заменил вора грешником.

И больше мы капитана не видели. Он уехал по делам, накинув приводной ремень на канцелярское колесо. Маршрут был им предусмотрен: через уездную полицию в жандармское, в Каменец. И сам собою определился порядок: этапный.

Вопрос ясен. Нас не считают достойными достаточного внимания — иначе марш-марш, отправили бы специальным конвоем. Оснований для долгого нашего ареста нет. Никаких традиций мы в Каменце не оставили. Паспорта в порядке. Что особенного в этапной прогулке с сотскими всего каких-

то десятка два километров? Пустяки, о которых не стоит думать, а тем более разговаривать.

Чем больше человек испытает, тем умнее становится,— поучал меня когда-то старик директор.

И мы решили не препятствовать испытанию и претерпеть его, не осложняя без особой надобности. Отдать себя на волю судьбы. Так легче. А иногда и любопытнее много.

До ближайшего волостного правления (полтора километра) добрались только к вечеру. Запечатанный пакет с нашими документами бережно сопровождают двое десятских. А мы при пакете препровождаемся как ненужное дополнение, которое всем мешает.

В каждой следующей инстанции прежде всего и внимательно рассматривают только пакет. Нас игнорируют, даже когда мы о себе заявляем. До сих пор мы были центром тяжести какого-то дела. Теперь мы стали его вещественным доказательством. Пакет распечатывают и запечатывают, вписывают и выписывают. Он самая суть дела, душа его исходящая и входящая. А мы — мешающий, ненужный привесок. И когда сотский получает пакет, он его бережно завертывает в тряпицу и старательно, как ладонку, убирает за пазуху. А потом небрежный жест в нашу сторону: „ну, пошли!"

И сейчас, на этом первом волостном этапе. Писарь важно и с достоинством принимает пакет. Вскрывает и читает, какбудто нас здесь не существует совсем. И когда без приглашения мы садимся, он строго скашивает глаза, не доведя их до нас. Потом открывает книгу, записывает, приводит в порядок пакет, запирает его в шкаф.

И к сотским:

— Исполнение завтра. Можете итти!

— А их вот, кому сдать?..

На нас взглядывает безразлично и мельком, как на мешки с рухлядью.

— Сведете в арестную... Карпий, проводи!

Это бывшая баня. Выбраны полы и скамейки, и все, на чем можно сидеть и лежать. Печь выведена топкой в предбанник. Вставлена в единственное окно решетка. Получился недурной тюремный карцер, т. е. самое отвратительное место тюрьмы.

Но мы узнали об этом только, когда вошли сюда и сзади загромыхал замок. Здоровенный старичина, — с запущенной на лице грязной щетиной, — спавший в предбаннике, солидно и молча открыл дверь мышеловки, и также молча захлопнул и запер.

— А на чем же будем сидеть, дед?

— Сидеть-то?.. — длинная, по его росту, выдержка. — На чем стоишь.

— Да ведь тут же грязь, как после дождя!

— Грязь?.. — выдержка, — ну, не сиди.

— А спать как будем?

— Сп-а-ть?.. — раскуривает трубку, сплюнул, — а также вот... (трубка захлебывается).

— Прямо в грязи?!

Слышно только трубку, старик молчит: считает, что он все сказал, что полагается.

Философия наша искуса не выдерживает. Начинаем колотить в дверь. В паузе слышно, как старик выколачивает люльку. Смачно и, должно быть, широко зевает. И, судя по ерзанью скамейки под ним, укладывается спать.

Стучать надоедает: очевидно, для него это привычное дело. Опять дипломатические переговоры.

— Слушай, дед, принеси хоть соломы — мы заплатим!..

Молчание. Носовой свист. Холодище, как в погребе. Ноги едва переступают. Прислонишься в угол к стене и стоишь на одной ноге, пока отдыхает другая. Или примостишься на корточки, на носках, чтобы пятки на момент оказались сиденьем, а спина выпрямилась по стенке.

А чортов старик храпит с заливом, как лошадь на волчий запах.

Опять стучишь... Все равно ведь, как-то надо проводить время: пока стучишь, не слышишь, как кости ноют.

— Ста-ри-и-к!!

Храп оборвался. Заворочался.

— Дедка! Принеси соломы — заплатим?!

Жует, как ленивая корова, солому:

— Без соломы... дужо горно...

— Старый чертяка! Издохнешь скоро! Возами тебе под котел дрова бросать станем!!.

Но он уже опять храпит, как конь на волка.

Опять притулишься в угол плечом, голову на бок к стене, закроешь глаза — уснуть бы сразу... Ничего не выходит. Чем дальше ночь, тем холоднее — как-будто вместо платья ты обернут в ледяной крупный наждак, кожа — резиновый футляр — до боли сжимает мясо и кости...

К утру держались на ногах только нервами.

И утро пришло весеннее, солнечное. Медленно, бессильные ползли лучики по стене через радужные грязные стекла. Они

наливались воображаемой нашей силой, от внутреннего сопротивления. И грели, еще не коснувшись. Понемногу, незаметно мы отходили...

И замыкались в себе. Противно и унизительно становилось даже от мысли о разговоре с кем бы то ни было из окружающих каземат. Старик перестал существовать для нас. Мы его не замечали, не слушали, не отвечали. И ни к нему, ни к другим, ни за чем и ни о чем совершенно не обращались. Унизительное бессилие вечера к утру обернулось силой ненависти и презрения. Ненависти к машине, которая захватила и кромсает. Презрения к ее служебным зубцам и шестерням.

В деревне начинались полевые работы. И сотского, для хранения нашего пакета до города, не могли нигде отыскать. Он объявился только к обеду. И тут же устроил с нашим стариком сменку. В помощь старику снарядили молодого лодыря-парня.

За деревней в поле пришли немного в себя. Закоченевшие члены, как губка, набирают солнечное тепло. Забывается усталость. Бессонница уходит во вчерашний день. Бодрит, возбуждает наезженный большак, обсыхающая земля, работы на полях...

Незаметно прибавляется шаг — тянет конец пути. Старик, шагавший за нами сначала бодро, начинает отставать. И все чаще и чаще слышится сзади:

— Легшае!..

Но прошедшая ночь отделяет нас от него. Его голос не доходит до нас, не трогает, как не доходили и наши голоса до его ушей ночью. Это не месть, исходящая из сознания, а инстинктивная физиологическая броня, через которую не просочились бы и его слезы.

Поровнялся встречный из города пустой обоз. Мужики группами и в одиночку трясутся в телегах. Старик дергается в их сторону:

— Ратуйте, добри люды! Проклитущи москали втикають!!..

Мигом пустеют телеги. И мы в потном, кричащем, размахивающем руками кольце... Нас скручивают стариковым кушаком по руке. И другой конец вручается старику.

— Веди, не уйдуть!..

Когда оскорбляемый врагом молчит, ему легче: оскорбительность заслоняется щитом достоинства. Мы молчим и тогда, когда старик с парнем обматывают вокруг скрученных рук и другой конец кушака. Руки немеют, в плечи втыкаются иглы. Но не нужно, чтобы слышали и видели боль,— ее достаточно

и без слов. Достаточно, что они видят, как мы не идем уже, а ковыляем по грязи и лужам, непрерывно друг друга дергаем, пытаясь один к другому приладиться.

Они отстали и шепчутся. Доносится звук разрываемой бумаги.

— Разрывают пакет,— говорю Козицкому,— готовят оправдание кушаку...

И в молчании, понимая друг друга, не оглядываемся, чтобы их не видеть: утренняя абстрактная ненависть находит реальный объект — старика и парня. Но, связанная, бессильная, она может сейчас стать невыносимым унижением для нас же самих...

При входе в город развязывают кушак. И мы тут же, около дороги садимся, не обращая внимания на эту пару. Они топчутся около нас, стараясь попасть на глаза, роняют какие-то слова, которые нам не слышны.

— Будя, отдохнули...— настойчиво тянет старик.

— Брысь, старая подлюга!! — бешено кричит Козицкий, подбрасываясь к нему:— морду оплюю!!..

Старик отодвигается и разводит руками, а может быть, и говорит что-то. Мы входим в город уже своим шагом — пусть догоняет.

Начальство уездной полиции уже разошлось по домам. Дежурные могли лишь принять пакет и „приложение" к нему, конечно. Но исполнение было не в их компетенции.

„Приложение" спустили в подвал, в пустую грязную камеру — до завтра.

Мы разбиты, развинчены, голодны. Кругом в подвале ни звука. На верху никакого движения. Бросили, заперли и успокоились. Растет протест. Накопляется раздражение.

Начинаю обструкционный стук в дверь... Громовые, зловещие перекаты свидетельствуют об огромных размерах подвала. Как-будто заклепывается большой паровой котел. И в камеру просачивается жуть. Неслышно появляется в волчке свирепая морда городового. И спокойно с нажимом:

— Постучи, постучи!..

Больше никак не пытались заявлять о себе. Силы израсходованы до конца. Новых мыслей голова не может родить. И сегодняшняя ночь имеет все преимущества перед вчерашней — тепло и нары...

На другой день, через жандармов, наконец попали к городскому судье. Кончили как раз тем, с чего должны были начать, нарушив неприкосновенность границы.

— Когда вам удобнее слушать разбор дела?.. Через неделю? Хорошо — двадцатого в 10 часов. Повестки посылать не буду.

Вернул нам паспорта и отпустил на все четыре стороны. И еще говорят, что в России правосудие и законность на уровне слишком низком?.. Головоломная лестница нашего подъема от границы до судьи свидетельствует о совершенно обратном.

Наша одиссея длилась почти две недели. Квартирная хозяйка начала уже думать, не заявить ли полиции об исчезновении квартиранта. Положение Луки в моей квартире оказывалось двусмысленным. Он тоже начинал думать, не лучше ли ему заблаговременно смыться туда, откуда явился.

Теперь все узлы одновременно развязывались. Лука ожил. Обрадовалась и хозяйка: все уже минувшее объясняется всегда легче и проще.

Но хорошо лишь то, что хорошо кончается. Старые, неумные истины, к сожалению, слишком часто оправдываются в жизни. Не успели мы с Лукою до конца обменяться новостями и только-что вышли с двора до магазина, встречаем на улице Двойреца. Вопреки договоренности, он отбросил конспирацию и направляется прямо к нам.

— Вы еще живы?.. Я боялся, что опоздаю. Козицкий арестован!

Чорт его дернул, Козицкого, прямо от судьи завернуть к эсэру-приятелю. Была ли в том надобность, или соскучился о нем, или торопился впечатления поделить — неизвестно. Но вслед за ним к тому же эсэру завернула в ворота крестьянская подвода.

И Козицкий с приятелем так увлеклись своим делом около телеги, что не заметили, как их окружили переодетые стражники. Они шли за подводой от самой границы. И дурень Козицкий, едва открутившись от своего транспорта, угадал сейчас же влопаться с эсэровским.

Что нужно было делать нам с Лукой?..

Яблоко случайно упало как раз перед носом Ньютона. Но оно натолкнуло его на закон притяжения. Жандармы, конечно, не Ньютоны, и Козицкий не яблоко. Но Козицкий два дня назад арестован на границе. Сегодня он арестуется с эсэровской литературой, которая пришла от той же границы. Значит, по этому делу он там и был. И был не один, а с Мироновым. Подать сюда Тяпкина-Ляпкина!..

— Возвращаться домой, — говорю Луке, — нет оснований. Влипнуть по своему делу тоже не великая честь, а по чужому, да еще эсэровскому, совсем бесчестье.

И мы идем переулками и задворками искать пристанища на ночь.

Два дня просидели в задней полутемной каморке нищей еврейской вдовы. Пока грубо переодетые жандармы искали меня по приметам на улицах. Пока Двойрец нашел надежную подводу до Проскурова.

В каморку к нам заходила только маленькая дочь вдовы. Мать целые дни отсутствовала на поденщине. И за хозяйку отвечала эта девочка. На ее обязанности лежали заботы о нас. Не по-детски серьезными, печальными глазами осматривала каморку, начиная уборку. Заботливо и тихо, как взрослая, спрашивала, что нам на сегодня понадобится. Приносила обед, готовила чай. И когда я начинал с ней разговоры о ней же, она отвечала с такой же основательностью, как отвечала бы мать. Потом спохватывалась:

— Мне нужно быть там... А то придет кто, и никого нет — сюда заглядывать будет.

Она не знала, кто мы, и видела первый раз. Но она чутьем-разумом маленького, загнанного законом и нуждой человека понимала наше положение, пожалуй, не хуже нас.

— Сейчас вам можно выйти на воздух,— говорит она, зажигая коптилку,— а потом к вам придет ваш знакомый.

Это о Двойреце. Он днем не показывался даже вблизи нашей обители. А в один из полдней она вошла и предложила:

— Надо лечь на постель и закрыться, чтобы не видно: придет квартальный и будет спрашивать меня, нет ли кого.

И мы зарываемся под перину, а она маскирует прорехи тряпьем и подушками. Проходит час, другой... Обливаемся потом, напряженно все время прислушиваясь за двери. Наконец, она нас освобождает. И в первый раз перед нами искрятся улыбкой ее печальные большие глаза.

— Уже ушел!

— А зачем он приходил?

— Он всякую пятницу приходит. У нас ночуют, кому в гостинице дорого. А он проверяет. Мама ему дает полтинник.

Оказывается, еврейская ночлежка, куда заходят ночевать приезжие еврейские бедняки. Полиция ее знает как скромную и законопослушную. Проверяет паспорта, если постояльцы имеются. И ограничивается простым вопросом, если их нет. Бывает, что заглядывает и в каморку. И аккуратно собирает полтинники.

Маленькая хозяйка серьезно и деловито, как-будто играет в куклы, вскрывает подоплеку общественных отношений. Ста-

новится понятным, почему именно и как без конца преследуемый, угнетенный народ оказывается талантливейшим народом мира. И неловко разговаривать с этой маленькой девочкой сверху вниз, как с ребенком.

В страстную субботу, когда все заняты плащаницами, куличами, окраской яиц, мы благополучно вынырнули из Каменца. А когда в Проскурове разливался первый полуночный пасхальный звон, садились в поезд на Киев.

— Как архиреи...— шутит Лука,— выезжаем с почетом!

ВОЛГА, ВОЛГА, ВЕСНОЙ МНОГОВОДНОЙ...

1

От Проскурова до Киева и Смоленска — два дня пути. Это — когда имеешь в кармане паспорт, стержень человеческой жизни. Если же он остался в Каменце у жандармов, то и время, и содержание, и длина того же пути радикально меняется.

Паспорт, как хвост у птицы. Если она вырвалась из силка, подарив ему хвост, она сейчас же становится центром внимания. Утрачивается способность уверенного полета, устойчивость убежища в ветвях дерева.

И паспорт — имя, лицо, социальная суть человека. Без него человек, как без корня растение, теряет основу своего бытия. Становится легким, как резиновый мяч, и раздетым, как пьяный праотец Ной. И нечем оправдать свою видимость, нечем прикрыть наготу.

В гостинице нельзя остановиться, в вагоне нужно молчать, на улице итти сторонкой, чтобы избежать малейших признаков протокола и оказательства. Одним словом — человек без рук. И масса отягчающих мелочей должна быть всегда наготове для прикрытия обезличенности...

Только через неделю в Смоленске, в квартире Лебедева, получил лицо: Михаил Владимирович Садковский, коллежский асессор. Это очень маленький чин — тринадцатого класса, второй по счету с конца. Но он должен напоминать полиции о великой чиновной лестнице, ступени которой в государстве Российском спускаются непосредственно от царского трона. И бессрочная книжка, обезличенная за смертью владельца в виленской губернской больнице. Он был старше меня лет на десять. И одна капля жавелевой кислоты в две минуты уничтожает это досадное десятилетие.

Я снова полноправный гражданин своего отечества, чист, как новорожденный, свободен от всяких обязательств перед жандармами. Могу нести голову высоко, как только-что перекованный на все четыре ноги конь.

Бориса нашел тут же, у Лебедева: на большой стенной карте размещает флажками расположение русского и японского фронта.

— На ловца и зверь... Только-что думал, кого бы послать на Волгу!.. В Каменце привязки остались?..

— Туда вернулся сейчас Лука — он знает все подробности и все связи. Вывезет от границы, что переправлено, и проедет в Львов. Но нужно, чтобы там кто-нибудь был из своих, договориться.

— Сегодня же напишем, поговорим с Марком. А Волгу надо сделать рукавом из Баку. Там Ирина сейчас, но топчется на одном месте и как бы не повторила Полтавы.

Но прежде, чем попасть на Волгу, пришлось наведаться в Псков. Там арестовали Сигарыча. И одновременно послали туда накладную на груз, который двигался к Питеру. И нужно было разыскать в Пскове имевшийся запас паспортов.

Все это знал Сигарыч. А без него всякие пароли утратили силу. Даже больше — стали подозрительными. И мог найти ходы к делу только непосредственно и персонально знакомый с местной периферией.

Легко найти концы, когда чуть не каждую собаку сам знаешь. И трудно до этих концов добраться, когда каждая собака тебя знает. Я исчез отсюда из-под надзора, и полиции был хорошо известен.

Но раз нужно, так нужно. Можно туда приехать с ночным поездом, выбраться из вагона в противоположную от станции сторону. Можно найти ночлег и за полночь. А потом действовать, не выходя из норы, по системе приводных ремней. Нужда учит и колачи кушать...

Приехал, сделал. Получил в Питере груз. Доставил его в Смоленск. И на Волгу...

Дело так обстоит. Бакинская типография работает полным ходом ежемесячно десятки пудов. Отправлять такие грузы из одного и того же города, с одной и той же станции трудно и рисковано. К тому же война внесла в железнодорожный обиход свой специфический привкус: перевозку войск и военных грузов. И повседневный товарный грузооборот затрудняется, осложняется. Нужно воспользоваться навигацией и организовать водный транспорт. Волга („Волга — мать родная“) — великолепная магистраль, с оживленнейшим движением грузов и множеством пристаней: внутрь России от них во все стороны растекаются рельсовые пути...

Остальное понятно.

В Самаре застал Левушку Карпова уже на выезде в Киев. Вместо него ожидался Иннокентий Дубровинский.

— Май на носу, а мы до сих не сняли присланные в Пензу листки!

— А Ирина?

— Попробуйте с ней поговорить... В ее широченных горизонтах Пенза расплывается как-то, пропадает.

Добрейший Левушка, прекрасный товарищ и на редкость внимательный работник, имел один из недостатков: излишнюю деликатность там, где было более уместным жесткое требование.

Ирина тоже нашла, что приезд мой кстати:

— Теперь я могу проехать в Баку — установить непосредственные отношения.

— Зачем это нужно? Это дело Марка увязать их с нами.

Тяжелые черные волосы выбиваются из прически, глаза искрятся, губы складываются капризно и властно. В ней так много сдержанных сил, что близкое, под боком, простое дело ей кажется пустяком. Она его непременно должна раздуть и запутать прежде, чем выполнить.

— Но я же должна знать, как там организовано?.. И с нашей обстановкой их познакомить необходимо!

— Если каждый район будет наносить туда визиты... боюсь, что не поздоровится тогда и гостям, и хозяевам. Надо сейчас же ехать в Пензу.

— Поедете вы?

— Да.

Больше мы не говорили о деле. Стало сразу же ясно, что не сработаемся: один будет задерживать взлеты, другая игнорировать повседневные мелочи. И два хозяина в районе — это район без хозяина.

Когда я вернулся из Пензы, Ирина уже отплыла в Баку. Не подавала больше о себе вести и не вернулась совсем.

2

Пенза — эсэровская вотчина. Если не все, то многое этим сказано. Деревянные тротуары по главной улице. Кондовым мещанством и благополучным обывателем прет из всех щелей.

Когда идешь по улице, кажется, что запах свеже испеченного хлеба и кислых горячих щей — отстоявшийся пензенский избяной дух.

Интеллигенция свойская, домашняя, либерально-земского обихода.

И единственный на весь город свой человек — и явка, и квартира, и адрес — универсальный человек. Это тоже подходило к пензенской неприкрытой домашности.

А когда я явился к нему с паролем по месту службы, он сложил свои бумаги и просто сказал:

— Пойдемте ко мне, поговорим там.

Полгода назад в Москве Пашка Мокровский (теперь уже клинический ассистент-хирург) просил меня:

— Если случится быть в Пензе, найди, пожалуйста, А. И. Смирнова — это ваш человек, но он никак не может ни к чему приспособиться. А талантливый!.. Но скромен, как девушка, и нерешителен — может пропасть.

Я тогда же об этом забыл — мало ли талантливых людей пропадает. Да и память не тем была занята.

И вот теперь вспоминаю, что явочный земский заведующий образованием тоже А. И. Смирнов. Шагает сейчас рядом со мной. На вид, как девушка, жидковат, но с усами. Смотрит в землю и разговора не начинает.

— Вы не знаете Мокровского?

— Павла Павлыча? Как же, вместе кончали!

— Вы медик?

— Да, учился на медицинском.

Спрашивает о Пашке. Пашка уехал врачом в Манчжурию, но оказывается сейчас между нами сцепкой. Через Пашку каждый из нас подходит ближе друг к другу. Формальность деловых отношений смягчается. Мы подходим к его квартире уже не сегодня знакомыми.

Интересный человек. Учился медицине, а заведует в земстве школьным образованием. Свободно читает на четырех языках, и маринуется в лапотной дыре. Перевел и издал несколько книг Маркса и о Марксе, и никаких связей с партией, кроме кустарного пропагандистского кружка.

— В чем дело?.. Почему не работаете более активно?

— Не могу — абсолютно не способен.

И когда понадобилось найти квартиру для разборки транспорта, он обещал быстро устроить: есть люди, которые могут согласиться. И в результате переговоров — предложил собственную квартиру.

— Отказали?

— Нет... Так прямо я не ставил вопроса: рассчитывал, что они сами предложат.

— А они нашли более удобным не догадаться?

— Возможно... Но нельзя же наседать на человека против его собственного желания!

Договорились на том, что он сведет меня с этими людьми непосредственно. А пока приходится получать груз самому и везти в его квартиру.

И когда объемистая корзина благополучно привезена и остается только ее вскрыть и подготовить к дальнейшему следодованию по частям на места, Александр Иванович одевает пальто, шляпу и собирается выходить.

— Вы уж, пожалуйста, без меня здесь хозяйствуйте — я не могу...

— ??...

— Я все время буду слышать шорох, шаги, звон шпор... Это не трусость, а нервы: пытка ожиданием — поэтому бросил и медицину.

Он краснеет, как девушка, и конфузливо улыбается.

— И мне вот непонятно, как вы можете оставаться спокойным. Не обижайтесь, пожалуйста.

И ушел. Вернулся уже только тогда, когда все было готово и мне нужно было уезжать на вокзал с перепакованным багажом.

— Знаете?.. Вы меня устыдили — я нашел вам на будущее время прекрасную квартиру.

— По методу наседания?

— Нет, рассказал ему о нашем разговоре и о своей трусости — и он охотно сам предложил. И не только квартиру, а и самого себя.

Близилось первое мая, и нужно было поспешать.

Бакинские листки — первый опыт централизованного издания. Великолепно выполнены — папиросная бумага, крупный, четкий, художественный шрифт. Было чем похвастать. И было бы преступлением не доставить их в срок на места.

Они уже упакованы так, что их сдать только в Самаре на руки. И сейчас же пойдут курьерами во все пункты. На Пензу оставляю немного для железнодорожных мастерских. И Смирнов теперь чуть не клянется, что это будет сделано.

В Самаре поезд стоит два часа. Успеваю на явке (уже с Иннокентием) договориться о рассылке, чтобы самому, с тем же поездом, отвезти на Урал его долю. Иннокентий пытается возражать:

— Сделайте передышку. На Урал пошлем кого-нибудь завтра же. И нужно поговорить.

Но трудно уговорить человека, когда он уже свыкся с маршрутом и вдолбил в свою голову, что именно там скрыто начало знакомства с районом.

Иннокентий не настаивает. И я снова в вагоне. И уже далеко за Самарой начинаю понимать, как он был прав. Чуть не два последние месяца, только с малыми перерывами на день-два, я все еду и еду. Перехожу из вагона в вагон, обтираю одни и те же жесткие деревянные скамьи. Механически разговариваю с одними и теми же пассажирами. И, кажется, нет конца края этому однообразию: даже редкие индивидуальные особенности новых твоих спутников по вагону воспринимаются, как уже прошедшие перед тобой раньше. Притупляется взгляд, тупеет голова. Мысли, затхлые и пыльные, медленно ползут, как дождевые черви...

В Екатеринбурге явка действует плохо: или устарела, или провалена. Опять идет в ход метод наводящих вопросов и намекающих фраз. Дают адрес какого-то реалиста. Там тоже длинная, нудная канитель. До рабочей организации нужно добираться через интеллигентские путаные коридоры.

С большим трудом удается добраться до Баранского. Скорее бы только сдать, вернуться в Самару... И проспать несколько ночей не в вагоне — без тряски и без стука под ушами колес.

Но когда слушаешь Баранского о его работе, невольно заражаешься его цинизмом по отношению к себе и вещам.

— Здесь уже нельзя работать — наслежено, шпики, по пятам ходят... Но некому передать. И длинные ноги выручают пока.

Длинные ноги его едва держат, высох в щепку, как вобла, и уезжать не хочет.

— Главное — они не знают, где я живу. А на улице арестовать невыгодно — без улик. Шпики ведь наивны и недалеки... Хотят накрыть вечером на ночевке, и дают возможность днем кой-что сделать.

И он дошел с шпиками до спорта. Шпики привычно держатся улицы и фасада, а он оперирует профилями. В ворота уже не входит и не выходит — ни в свои, ни в чужие. А перемахивает через заборы и наслеживает огороды.

3

В Самаре нужно было говорить серьезно. Транспортная база в Пензе, конечно, нелепость. Борис ткнул в карту, Ирина привезла этот географический тычек в Самару как директиву.

Бюро молчаливо согласилось: раз директива — надо выполнять, затем она, Ирина, и явилась сюда. Ирина почирикала и улетела.

Теперь приходится подходить с другого конца — через бюро к Борису.

— Пойдем по методу нашего Дядька,— говорит Иннокентий:— сначала поговорим вдвоем, потом присоединится третий. Так лучше — меньше разговоров.

Под третьим он разумеет старика Арцибушева.

И мы с ним едем по Самарке на лодке. Когда люди катаются в лодке, какие против них могут быть подозрения?.. Здесь так много снует по воде рыбаков. И по воде не может подойти никакой шпик. На веслах владелец лодки Преображенский, старый знакомый Ленина и его неизменный преданный ученик. Он угрюм и неразговорчив, но у него приметливый, зоркий глаз.

— Пенза эсэровское гнездо,— говорю Иннокентию:— мелочная торговля, не продохнешь от мещанства. Это рачий садок — наша группа окажется там на виду, как блоха на лысине. И единственный выезд из города на вокзал...

— Ясно... И от бюро нельзя далеко отрываться...

— Теперь Самара... Это не город, а базар, на перекресте путей: Москва — Сибирь, Рыбинск —Астрахань. Она не стоит, а всегда движется — приезжает и уезжает. И сами самарцы на улице, как в общественной бане, не различают — кто свой, кто проезжий... И перевал грузов — с воды на рельсы и с рельс на воду. Плюс бюро.

— Жаль, не слушает Борис: он подписал бы без разговоров.

— Это не все. Группа в Самаре, накладные — сюда. Грузы — в Симбирск, Пензу, Сызрань, Саратов, Астрахань. Баку комбинирует, как им удобнее. Получать едем мы.

— А не лучше ли поговорить с комитетами?.. Они охотно пойдут, и лучше на месте ориентированы.

— Надо подумать. Но здесь могут оказаться свои неудобства, лишние хлопоты, лишние разговоры... и лишний риск.

— Хорошо, над этим подумаем. В остальном будем считать, что договорились.

А, вечером были у Арцибушева. Он действительно похож на Маркса, этот Уральский Маркс — по бороде и гриве. И, повидимому, добрейшей души человек, с которым нельзя не сработаться. Каждого нового работника встречает искренно, как родного, более близкого, чем товарищ. И с ним сразу же

начинаешь говорить, как-будто давно знаком и долго не расставался.

Он сразу же одобрил наш план. И только добавил:

— Меня, ведь, перед маевкой, опять эти черти запрут — вам надо это иметь в виду! Да и Мирону лучше на некоторое время уехать отсюда: едет царь.

Об этом как-то забылось, хотя разговоры кругом и слышались. Царь желает проводить до Сибири поезд с иконами и махоркой на манчжурский фронт. И путь его следования должен быть очищен от подозрительных элементов. Мой паспорт достаточно приличен. Но на царском пути он может не выдержать марки. Выгодней самому выметаться, чем рисковать, что тебя заметут другие.

Провожая меня из Смоленска, Марк предупредил, что от границы может быть направлен на Волгу груз. И мы условились, что его нужно пока адресовать на Саратов, а накладную — в самарское бюро.

И сейчас, когда мы решаем, куда бы мне с пользой для дела нырнуть, пришла эта накладная.

— Начало хорошее, — напутствует Иннокентий: — по теории вероятностей, оно предвещает и не плохой конец. Поговорите в Саратове о том, что мы вчера не решили.

Явка в Саратове в редакции местной газеты. Значит, организация пользуется в общественном мнении известным весом. И направили по знакомой дорожке — в губернское земство. Так же, как и в Костроме, Пскове, Твери, Смоленске... третий элемент земский сменяет деревню на фабрику. Разумом он уже отошел от деревни. А практические партийные связи с фабрикой отрывают его, отпочковывают и от земства. Остается лишь интерес заработка.

На мой вопрос, что представляет из себя здешнее земство, комитетчик Гольденберг отвечает:

— То же, что и везде, вероятно: позволяет нам у себя работать, а мы ему пока не мешаем.

Гольденберг — типичный ителлигент, даже по виду: тонкий и стройный, немного сутулит, умное лицо и черная борода. Говорит не задумываясь, свободно и гладко, как книгу читает. В земстве случайный гость, как и многие другие теперь.

Фабричные корни прочнее засели в землю чем, земские. Гуще, обильнее, стремительнее убиралось ветвями рабочее дерево. И где же сытому барскому либерализму, в конец обесплодившему деревенскую почву, взять здоровые идейные соки для лучших своих работников?.. Идейному пролетарию всегда свой-

ственно искать и наиболее идейного хозяина. И лучшая часть революционной интеллигенции естественно отходит от деревни и земства к пролетариату. Чем она революционнее, тем решительнее рвет с земством.

И когда, через полгода, Плехановская Искра затянула волынку о поддержке земской дерзости, это была уже безнадежная песня слепого Лазаря с чашкой. Рабочая улица уже не могла уместиться в земско-дворянских залах. Пролетарская дерзость была полнокровнее, действительнее и била дальше. Слепой Лазарь не видел, как революция шагала мимо него, через земство.

В Саратове оказалась широкая возможность получек без всякого предварительного предупреждения организации.

С Барамзиным, ведавшим это дело, и тоже земским статистиком, столковались в два счета. Беседовали с ним на убогом балконе пивнушки над Волгой. Степенно, как купец, он расчесывал пальцами рыжую с проседью бороду. И, под гудки пароходов и матершину ломовиков, торговался:

— Квартир здесь достаточно, извозопромышленник свой, люди есть... Почему вам нужно сюда наезжать, когда можно обосноваться здесь прочно?..

Как практик, он учитывал выгоды и гнул свою линию. И зачем его обескураживать, спорить с ним, обнаруживая свои планы и базу? Купеческая манера деловых разговоров к этому совсем не обязывает.

— Об этом надо подумать, посмотреть, как сложится практика. Нет ли у вас связей в Симбирске?

В самарском бюро этот город отсутствовал. И хоть можно было обойтись с гостиницей и без связей, спрашиваю на всякий случай и чтобы отвести разговор о базе несколько в сторону.

— Там есть двое юношей, из здешних учащихся. Но что они сейчас делают — не знаю.

Вместе с адресами симбирских юношей, он дает мне ночевку здесь у безвестного племянника небезвестного Виктора Чернова.

— Это не эсэровская ночлежка?

— Нет, он наш.

И квартиру, для перепаковки груза, у начинающего беллетриста Федорова. И мы творим с Федоровым тему для рассказа, который он будет писать после благополучного ее разрешения: покупаем четыре багажных корзины, одна другой меньше, чтобы меньшая входила в большую, и от магазина до квартиры путешествовала только одна тара. Как раскра-

шенные деревянные яички в детских игрушках. Сортируем и распределяем литературу в новые тары. Литература книжная — Заря, Тун, К деревенской бедноте — укладывается скорее, компактнее. Комитеты тоже будут довольны. Часть остается в Саратове. Одну корзину Федоров отвезет в Астрахань. С тремя другими я еду в Самару, Казань, Нижний.

Самая большая, в которой получен груз, вместе с рогожами и дровами (арифметическая пропорция: книги к дровам, как вес к объему) остается Федорову в качестве литературного образа.

4

На больших пристанях пароходы долго стоят. Можно в городе обделать любое дело. В особенности, если образцы товара уже подобраны. Их только передать с рук на руки, и езжай дальше. Одиночная каюта дает полную возможность оставлять на время отсутствия, что угодно, без всякого риска.

В Самаре застал Иннокентия на отлете, так же, как перед ним Левушку.

— Придется вам, видимо, побыть вдвоем с дедушкой,— говорит он, прощаясь.— Он редкостный, хороший старик, но очень уж здесь заметен! И якобинская психология. Приходится быть вчетверо осторожнее — и внешне, и внутренне, и за себя, и за него.

Эта осторожная и деликатная характеристика становится понятнее после, когда ближе знакомишься с Уральским Марксом. Это действительно редкостный и замечательный человек. Когда-то курский помещик, он, еще в эпоху хождения в народ, отдал свою землю крестьянам. И, обрядившись в зипун и лапти, отправился по деревням с пропагандой. Дважды был сослан в сибирские тундры. И в первую ссылку участвовал там в организации какого-то фантастического побега: пройти прямиком тысячеверстную тайгу к Великому океану и построить свой корабль. Во второй ссылке начал изучать „Капитал". И с тех пор уже не оставлял его, возобновляя каждый раз, как его сажали в тюрьму. А сажали его всякий раз, как только в месте его жительства жандармы начинали что-то вынюхивать. В последние же годы стали сажать и перед каждой маевкой.

Большой и грузный, начавший уже стареть и тяжелеть, он не оставлял тем не менее и не мог оставить революционной работы. Все его время, не исключая и службы, и все средства,

кроме самых необходимых на скромную жизнь, шли для революции. С ним всякому было по себе — и зеленому юноше, и опытному работнику. И его квартира была постоянным притоном или приютом — как кому нравится. К нему шли всегда все и по делу, и просто отдохнуть. Это, разумеется, представляет известное неудобство в конспиративной работе...

Перегон до Казани сравнительно долгий. Для художников и поэтов он с избытком заполняется жигулевскими былями поволжской вольницы, вечерними зорями многоверстных заволжских лугов, песнями-сказками слепца-гармониста в предночной тишине на корме... Под торопливый разговор пароходных колес оживают разбойные сказы, зори расцвечиваются, песни слепца изливаются грусть-печалью...

Даже люди практические и поверхностные, обреченные заполнять прорывы дня из себя и от жизни, мешают реальность с фантазией. И трудно сказать, где одна переходит в другую.

Изрезаны Жигули оврагами, заросли лесом. Не дремучим, но достаточно укромным, чтобы скрыть, скажем, хорошую типографию. Каждый баканщик может посадить на пароход на ходу. Каждого баканщика пароход может вызвать для доставки пассажира на берег. Кто он, откуда, почему и зачем — пароход не знает. Случайно принят и случайно слез, и никому до него нет дела. И так просто иметь двух своих баканщиков...

Вот Симбирск. С пристани его не видно, даже закинувши голову — узкая деревянная лестница в триста ступеней. Езда окружными дорогами в город. Лошади идут натужно и шагом. Плохая тара рискует не подняться доверху в целости.

Но на обратном пути здесь нужно будет остановиться, чтобы обследовать до конца Барамзинские указания.

Казань грузно, как торговка (на чугуне с горячей похлебкой), осела вдали от пристани. Явка там давно не пользована — может оказаться в нетях. Поэтому нет смысла тащить туда с собой корзину.

С явки попадаю непосредственно к Адоратскому. Член комитета домовладелец — это бывает не часто. Скромный молодой человек, тихий, застенчивый. В своем собственном доме выглядит постояльцем. Наскоро договариваемся с явками и адресами. Но ему уже приходится самому приехать за литературой ко мне в каюту.

Нижний. Канавино. Докторская приемная в меблированных комнатах на окраине. По обстановке — врач для бедных. Идет к нему, вероятно, тот, кому нужно бесплатно или кому уж к гузну узлом приперло: ждать нужно в коридоре, а приемный ка-

бинет — рядовая (да еще канавинская) меблирашка, где у больного не явится охоты задержаться ради лишнего вопроса врачу.

— К Сормову ближе... — поясняет доктор Владимирский свою медицинскую неорганизованность.

Насчет литературы быстро договорились.

— Чем больше, тем лучше... Но без своей типографии нам не обойтись — помогайте добывать шрифт.

Функции наращиваются сами, их не приходится изобретать. И уже первый этот летучий объезд дает достаточно ясную картину. Везде оживление, развертывание работы. Везде недостаток наличных сил, чтобы во-время ее увязать. Организации растут снизу, стихийно. И вопрос уже не в том, чтобы отыскивать отдельных рабочих и объединять их в кружки. А лишь бы успеть и суметь дать руководство готовым, самоорганизовавшимся кружкам. Ищут уже всюду в мастерских и на фабриках не столько популярных политических знаний — их в изобилии дает сейчас окружающая повседневная жизнь,— а организации этих знаний для действия.

И даже не требуется длинных разговоров с комитетами, чтобы уловить это. Достаточно спросить о количестве и характере нужной им литературы. Если радуются Заре и Туну, а мелкие брошюры и листки не отрывают с руками — значит, рабочие связи слабоваты, организация растет в сторону интеллигенции и учащихся. А там, где иначе, иной и спрос. Баранский в Екатеринбурге листков требует. Нижний тоже на них нажимает и для них свою типографию ставить хочет. В Самаре, Уфе, Челябинске — военные листки до зареза нужны, как голодному хлеб.

И любопытная вещь. Нет фракционных споров и разногласий. Не потому, что люди не интересуются теорией или не имеют определенных симпатий. Сейчас же после съезда вся Волга и Урал стали на сторону большинства. И сейчас же заграница была отгорожена небывалым разворотом местной работы. Как утренним волжским туманом, за которым совсем не видно другого берега.

Искра попадает через 2—3 месяца в одном экземпляре. В транспортах идет литература досъездовская. В Баку перепечатывается тоже досъездовская. С кем спорить, кого защищать?

И в Самаре спокойно рука об руку работают большевик Позерн и будущий меньшевик Прапор. В Саратове Гольденберг с Ляховецким. Они потом разойдутся, когда обсудят протоколы съезда, Ленинские Шаги, когда земская кампания и 9 января навалятся на них на местах... А сейчас даже Мар-

товский озлобленный вопль, случайно залетевший сюда одинокой ласточкой, не находит отзвука: в „осадном положении“ не чувствуют себя ни Прапор, ни Ляховецкий...

В Симбирске разыскиваю Барамзинских юношей — Орлова и Рябикова. За неблагонадежность они исключены из средней технической школы и беспризорно околачиваются дома, без дела. Добродушные, честные, читающие ребята. Но Симбирск — не рабочий и не торговый город. Там живы еще экскурсии к Гончаровскому Обрыву — он где-то тут близко.

Ребята охотно, без колебаний ухватываются за организацию пункта для получек. И только сомневаются, по скромности, в своем уменьи и силах. Детально, до заучиванья выясняем роль явок, паролей, квартир, снятия груза, конспиративных приемов. Накладные им привезут. И тот, кто привезет, будет и руководителем практического выполнения. На нем они проверят пригодность своего первого опыта.

Ребята прекрасно усвоили: их не пришлось поправлять в дальнейшем — работали четко сами. А через год с небольшим я уже встречусь с ними на поволжской партийной конференции, как с представителями симбирской группы...

5

С возвращением в Самару сам собою выясняется план построения своего аппарата.

Волга кишит вояжерами. На пароходах от них нет никому покоя. Они пронырливы, изворотливы, навязчивы. И всегда все знают и обо всем говорят. Вояжера кормит язык, так же, как волка ноги. И обыкновенный классный пассажир с ними неохотно знакомится: надоест и заговорит. Редкие из них — новички или скромники — не ввязываются в любой разговор. Но и они несут на себе инстинктивную пассажирскую неприязнь и отчуждение.

Вот этими-то новичками-вояжерами и должны стать наши транспортеры. Вместительный чемодан с образцами, одна-две приличного вида корзинки багажные, портплед. Одиночная каюта второго класса... Ничего подозрительного. И если сам не полезешь с разговорами, никто к тебе приставать не будет. Но всем понятно, когда на больших пристанях отлучаешься с образцами на берег.

Через Прапора приобретаю Ваню. Он не был никогда вояжером, но имеет для этого хорошие данные: горбоносый профиль юго-западной своей родины и ее практическую изворот-

ливость. И учился там в землемерной школе, что вносит в его навыки элементы учета и точности. Не суетлив, в меру самоуверен и в меру скромен. Он недурной организатор кружков и сейчас только-что выпущен из тюрьмы. Пустить его в комитетскую работу нельзя пока, а без дела сидеть не хочет.

— Каждый день от товарищей отдаляет, а время горячее. Надо хоть что-нибудь делать или уж ехать в другое место.

Сделал пробную поездку в Сызрань и Тамбов для установления постоянных связей. Выполнил больше, чем требовало задание.

— В Тамбове комитет развертывает работу. Несколько кружков учащихся и рабочих, связи с деревней. Литературе так рады, что уплатили больше, чем следует: вперед под будущую — так, говорят, надежнее, чтобы не забыли.

Прислал Борис из Киева Виктора. Этот расторопнее Вани, изворотливее, но с навыками бундовской уличной биржи. За словом в карман не лезет — ни вообще в разговоре, ни в вопросах, близких к программе. Человек живой и начитанный.

Но, после первой же поездки в Оренбург, вернулся с обличительным материалом для корреспонденции в самарскую газету. Она была напечатана от „собственного корреспондента“. Это подтолкнуло его на другую, на оживленные сношения с редакцией. Когда он поделился со мною литературными своими успехами, я должен был наложить на них вето.

— Корреспондент для администрации — хуже всякого заговорщика. А его аноним — это страус, спрятавший голову под крыло. Это не годится для нас.

Он обескуражен и не соглашается с этим. Ему кажется, что это лишние страхи. Никто о его авторстве на месте не будет знать. А редакция обязана хранить анонимы. И попутное выполнение той и другой работы даст ему возможность помогать иногда родителям.

— А, может быть, потом я могу заняться и вообще литературой,— добавляет он:— говорят, у меня выходит недурно.

— Может быть, лучше с этого начать?..

Он скоро уехал обратно в Киев.

Приобрели Заратустру, похожего больше на дятла, чем на alter ego философа Ницше.. Студент сельскохозяйственного училища, волосы с ребячьей пробелью и вихрами. Говорит хрипучим баском, немногословно, как рубит и отрывает щепу.

— Ежели нужно куда поехать — смотаюсь в два счета! Учебники осточертели во как!

Он живет в Кинеле и в Самаре может зря не мозолить любопытных глаз.

— Только точно мне рассказывайте, что надо делать!

И уже понадобился отдельный от бюро секретарь. Получки почти еженедельные. Накопляются собственные связи, адреса, явки, пароли. Создали паспортное бюро — транзит бегущих из Сибири непрерывный. Имели гравера, бланки, копии паспортов и печатей. Своя постоянная периписка, свои ключи. Приспособлена высланная из Казани фельдшерица — студентка Елена. Колесо завертелось.

И с большим сожалением пришлось отпустить из Самары подпольного типографщика Андрея Кокосова. Он был взят в армию как бывший вольноопределяющийся и служил в Симбирске. Летом его арестовывают по нижегородскому делу и отправляют в Нижний на пароходе. Как офицера, его провожает полковой штабный в каюте I класса, и жандарм стоит у дверей в коридоре.

Рано утром в Казани Кокосов, в мундире и с полотенцем, выходит в уборную. И сейчас же, сбросив там мундир и полотенце, в косоворотке проходит мимо жандарма на пристань и на берег. Извозчик... Казань... Парикмахерская... вокзал... И через Инзу — Сызрань, Самара.

И вот мы сидим с ним и думаем, нельзя ли ему остаться здесь. Надо заняться шрифтом, помочь комитетам в оборудовании своих техник. Просят об этом все. И некому этим делом специально заняться.

— Это привлекательнее, конечно, чем безвыходно в типографии замуроваться! — соглашается Кокосов. — Но симбирские офицера сюда часто наезжают. Случайно столкнешься, и дезертирство в военное время... Это уже не тюрьмой пахнет.

Пришлось отправить его в Москву.

6

Получены две накладные сразу. Посланы из Баку „чувяки кавказские“ в Саратов и Астрахань

Договариваемся с Ваней: я еду Астрахань, а он дня через три-четыре в Саратов, чтобы там встретиться.

Астрахань, как и некоторые другие пункты, совсем не предупреждена о возможности там таких получек. И опыт показал, что это не так уж страшно. И, пожалуй, менее рисковано: меньше предварительных разговоров, меньше любопытных ушей и глаз.

Но Ольга Афанасьевна (Варенцова, астраханская комитетчица) так и ахнула, когда я огорошил ее сюрпризом. Взбеленилась.

— Да вы что, с ума сошли?! В бирюльки играете?.. На улице мы ваши дела разбирать будем? Да где же у нас такие квартиры без подготовки?!

Вот, думаю, бой-баба, сейчас скажет: „выпутывайтесь сами, как знаете"... Выслушиваю смиренно, потому что крыть нечем: негодование справедливое, упрек по сути заслуженный.

— Ну, сами-то вы подумайте — как это можно так делать?

— Да ведь думали,— отвечаю скромно: — предупредить значит — вы готовились бы, искали... Успех поисков не обеспечен, а круг осведомленных ширится. И ведь, в крайнем случае, можно в гостинице.

Обмякла, подобрела.

— Ну, и народец! Когда это нужно?

— Сегодня, завтра...

И все обошлось по-хорошему. Чуть ли не в тот же день груз был уже снят. Получал его Чорт, который потом перебрался к нам работать в Самару.

Справились быстро. Половина упакована, чтобы ехать со мною до Саратова. Другую я должен был сдать в Астрахани на Томск для Сибири.

Сдаю в транспортной конторе „Надежда". Ящик компактный, набит довольно плотно. Нужно придумать наименование груза, чтобы соответствовало объему и весу. Припоминаю замеченную случайно в газете заметку об ученой экспедиции на Кавказ Томского технологического института. И пишу: „минералогические коллекции".

Берут бумажку, чтобы проставить тариф. Долго ищут в номенклатуре.

— У нас нет такого товара.

— Но это не товар вовсе. Это собрала ученая экспедиция на Кавказе.

— Что же это такое?

— Камни разные с отпечатками раковин, угли каменные, минералы... Профессора и студенты там их собирали!

— Но по какому тарифу их оценивать? В номенклатуре нет таких.

— Ну, подходящий возьмите.

Выходило совсем нелюбопытно. Если бы я знал их номенклатуру. Дернула нелегкая придумать название... И ведь могут для определения предложить вскрыть.

— Вот что... я перепишу тогда другое название. „Учебные пособия“, например: ведь это для института.

— Учебные пособия, это значит учебники, книги...

— Можно и книги. Мне ведь все равно, под каким соусом пойдет.

— Но тариф будет дороже.

Договорились наконец. Стали высчитывать, на счетах щелкать. Насчитали за провоз что-то около 20 руб. с копейками. Я не был бы менее рад и не был бы больше обеспокоен, если бы они насчитали и пятьдесят. Важно сдать, чтобы груз пошел и был получен. Деньги дело второе.

— Благоволите уплатить.

— Уплатить? Это уплатят при получении.

— Когда груз посылается на предъявителя, да еще такой, что не всякому нужен... Мы рискуем работать даром.

Новый удар. Правда, билет до Саратова уже взят заранее, но такой суммы, какую они требуют, уплатить не могу: у меня ее просто нет.

— Как это не нужен? Почти целое лето собирали 25 человек — и не нужен!

— Мы этого не знаем.

— Но ведь и мне платить из своих, когда меня попросили попутно отправить... Боюсь, что недостанет и на свою дорогу.

— Но вы хотя бы половину заплатили?

— Это могу. Чтобы и вас успокоить.

До Саратова у меня остается на все про все около трешницы. Возвращаться к Варенцовой за займом не хочется, да и далеко. Направляюсь прямо на пароход.

Между Астраханью и Царицыном влип в другую историю. Сошлись в рубке, кроме меня, три почтенных фигуры: добродушный, сытый протопоп из Черного Яра, его хороший знакомый — тоже не из голодных и нелюдимых — становой пристав и царицынский педагог, не старый и нервный, не любивший, видимо, одиночества. Он уже вплел себя в разговор попа с приставом, и они перебирали местных, им всем известных и чем-либо любопытных, персон.

И кому-то из них, кажется, становому, пришла блажная мысль „сгонять пулечку по поповской“.

— Все равно спать не придется, среди ночи слезать, а время провести нужно!

Как ни отговаривался — и неуменьем, и безденежьем — не хотят слушать: четвертого у них нехватает, а втроем, по утверждению станового, игра, как собака на трех ногах.

— Вы хоть так посидите, чтоб место занято было!

И поп убеждает:

— Вчетвером один всегда холостой — показывать будет. А по сороковой — это ребятам на подсолнухи не выиграешь.

— Уговорили! — берет меня под руки учитель и сажает к столу.

И все время приходится выдерживать марку неумеющего. Каждый из них по очереди играет моими картами, а я их только держу. И вся беда в том, что для них-то самих мои карты оказываются более интересными, чем свои. Только редкие сдачи у меня нет масти, а значит, и игры.

— Везет как утопленнику, простите за выражение.

— Может, перемениться местами?

— Нужно всем передвинуться, чтобы не мешать сдачу.

Передвинулись. Карта тоже передвинулась. Еще раз передвинулись. Потом вновь, как вначале, по карте выбирали места. Ничего не помогало. Мои партнеры, каждый по очереди, моими картами обыгрывали в мою же пользу себя. И они же производили за меня записи своих проигрышей.

К концу „пулечки" мои плюсы во много раз превышали минусы. Каждый из них внес свою долю, и передо мною лежали после расчета бумажки и даже золото.

Учитель испытывает большую охоту отыграться.

— Играй, да не отыгрывайся! — шутит поп. И тут же предлагает отыграться в банчок — ближе к делу, а то сходить скоро!

Деньги я так и не убирал со стола. И так как новая игра немудрая, то понял ее с первого же показа. Нужно только проиграть свои выигрыши, и равновесие восстановлено. Бросаю свои деньги зря, в темную и по банку. И чем больше хочешь проиграть, тем меньше это удается. Кучка растет. Партнеры входят в азарт. У попа и учителя вздрагивают руки, и появляются признаки мысленных пересчетов в кармане, прежде чем объявить ставку. Является огромное желание поставить им всю кучку сразу и проиграть, чтобы сразу же избавиться от собственного тяжелого настроения.

Поп и пристав, наконец, должны сходить с парохода, и игра кончается сама собой. Учитель оказался обобранным начисто, и на него жалко было смотреть. С убитым видом он направился в свою каюту: утром в Царицыне он должен сойти, а рассвет уже начинается.

В каюте наедине припоминаю всю эту нелепую историю. И взбудораженные нервы развивают ее возможное окончание:

обобранный учитель, повидимому, небогатый, вероятно, лежит теперь и сокрушается о собственной глупости. Вновь перебирает в памяти вечер и останавливается мыслью на главном виновнике своего несчастья. Кто он, откуда этот виновник — ему совершенно неизвестно. На пароходах нередко разъезжают шулера, обирающие таких простодушных, доверчивых людей, как он, скромный царицынский учитель.

И моя логика, уже подчиненная разгулявшимся нервам, подходит к естественному выводу: учитель, сходя в Царицыне, тут же на пристани заявляет полиции, что его обобрал шулер...

Дальше уже не могу спать. И не могу оставаться в каюте. Нужно придумывать выход. Нужно каким-нибудь путем вернуть несчастному педагогу его равновесие. Хожу по палубе и перебираю всевозможные способы выхода. Теперь уже несомненно, что учитель так именно и сделает. И, стало быть, предпринимать что-либо нужно теперь же. Может быть, подбросить ему его деньги?..

Но вот он сам, выжатый и не спавший — очевидно, тоже не может успокоиться и выполз на палубу.

Начинаем разговор о том, что совершенно зря потратили на игру время: остается скверный, тяжелый груз и физический, и моральный. К сожалению, нет около никакой благотворительной кружки, куда бы можно было, вместе с выигрышем, спустить и собственные упреки совести.

Дальше выясняется, что он организует несколько библиотечек для деревни. И я жертвую ему на эту цель половину своего выигрыша.

Утраченное равновесие к обоим возвращается быстро. А к моменту прибытия в Царицын беседуем уже дружески о вещах, совсем посторонних тому, что было.

А „в уме", как это полагается арифметикой, я прикидываю, в какой мере смогу восстановить свой гардероб. Он целиком остался тогда в Каменце, и теперь приходится всячески ухитряться, чтобы не выглядеть оборванцем.

Ваня был уже в Саратове и ориентировался. На этот раз груз получил свой извозчик, с которым комитет связал нас через своего же ветеринара. Вошли в непосредственные сношения с владельцем извоза, и с ним вместе вырабатывали и план.

Решили для распределения и упаковки вывезти груз за город, где были бахчи. Там у нашего извозопромышленника имелось хозяйство. И эта поездка была совершенно естественной.

Нагрузили наши ящики на телегу, обложили их лопатами, веревками и другими для бахчи принадлежностями. И через пару часов были уже на месте.

Все шло прекрасно, пока не захотели есть. И тут обнаружилось, что все пропитание забыли в Саратове. А достать здесь негде совсем. Арбузы, дыни и помидоры — хоть объедайся. А хлеба ни крошки. Скрепя сердце, бахчевой сторож отдает свой последний черствый кусок. Но соли и у него не оказывается.

Приходится утолять арбузами, вместо голода, жажду. И выслушивать недовольное урчание собственных животов. И, может быть, поэтому очень быстро закончили, а к ночи были уже в городе и на пристани.

Ваня едет до Нижнего. Я из Самары посылаю двоих — на Урал, в Уфу, Оренбург и в Сызрань, Пензу, Тамбов. Астрахань и Саратов получили на месте.

7

У себя на квартире застал незнакомого человека. Гладкий немецкий пробор, белокурые усы а ля Вильгельм; костюм изящной заграничной пригонки. Или только-что оттуда, или недавно там был.

Начинает первый: „товарищ Мирон?“ „К вашим услугам“...

— Битва русских с кабардинцами...

— Или прекрасная магометанка, умирающая и т. д...

— Где читали вы эту книгу?

— Там, где ловят женихов.

— Хорошо ли там жилось?

— Кормили хорошо, спать было холодно.

К концу мы оба уже смеемся. Этот неуклюжий пароль трех степеней доверия обладает одним достоинством: незнакомые до этого люди весьма согласно приходят в веселое настроение и как-то легче после него понимают друг друга.

А, может быть, подготовляла к этому и самая так называемая степень доверия. Знавший только первую реплику мог получить лишь точный ответ на вопрос, который он с собой привозил. Вторая позволяла быть в меру с ним откровенным, не затрагивая третьих лиц. И только третья вводила его в ранг, не ниже твоего собственного — значит, можно быть вполне откровенным.

Это приехал Квятковский взамен Иннокентия. И занял его место в бюро под кличкой Андрея.

И вечером особенно был обрадован его приезду старик Арцибушев: он помнил еще его народовольца-отца, повешенного Александром Вторым.

Андрей внес заметное оживление в работу бюро. Дедушка все-таки известное время дня занят был службой. У меня было свое дело (хотя и общее, но специальное) и разъезды. Андрей же не нуждался в заработке и мог отдавать работе все время.

И он не так давно из-за границы. Отзвуки острых живых настроений в нем еще достаточно свежи. А их-то здесь и недостает. Постоянная занятость практическим делом скрадывает горизонты и постепенно их заслоняет. Ощупью, по инстинкту идешь за жизнью, улавливая верхним чутьем перспективы. И нередко соскальзываешь в чистую практику. И самые перспективы незаметно перестают быть общими, окрашиваются в местный колер.

Андрей привез Протоколы и Шаги. И снова мысль отбрасывается взад, к съезду. По мелочам, отдельным моментам, из разговоров, докладов, реплик, слышанных и брошенных там и тут, он уже известен. Ничего нового, кроме цельности, суммы, он не дает и теперь.

Шаги дело другое. Это подстрочник к нему, комментарий. Они, как плугом, взрывают дернину формальных взаимоотношений и обнаруживают подпочву. Перевод настроений и голосований на статистику, в диаграммы бьет оригинальностью постановки и убедительностью доводов.

Припоминается Львов и свежее впечатление от новой Искры. Оно не исчезло, за эти четыре-пять месяцев, а лишь укрепилось. Новая Искра утратила старое острое жало, четкую, напряженную деловитость. Она лишь беззубо, академически ставит вопросы и отсылает за решением к опыту заграничных рабочих партий, к поучительности наших собственных прежних задов. Но ведь от них-то мы и бежали к досъездовской Искре. Не они выдвигали новую историю, а наоборот — история их отбрасывала. И разве опыт заграницы можно целиком перенести сюда?..

— Сытый голодного не разумеет, — говорит Арцибушев о письме Каутского по поводу наших разногласий. — Им не надо подпольных типографий, паспортных бюро... Не понимают оттого и нашей дисциплины подпольной!

Старый революционный волк, Арцибушев, огулом относит к таким же непонимающим и новую Искру. И когда он приносит ее от адресата, не может удержаться:

— Опять что-нибудь набрехали, черти полосатые!

Эта фраза у него входит в привычку недавно. И укрепил ее издевательский Плехановский фельетон об организационном нашем строительстве на Урале. Мы его читали все вместе вслух. И смеялись, и злились. Смеялись потому, что остроумно написан. Злились на то, что писан по нашему адресу. И, если бы автор представлял себе обстановку, фельетон попадал бы не в бровь...

В этом все дело. Рабочая стихия стала политической силой. Она сознает себя классом, нащупывает и классовые формы организации. Самовоспитание развертывается во всех направлениях. Кружки и группы организуются сами, без нас. И сами же они, по инстинкту, по наслышке, по традиции прошлых лет ищут нас, ищут комитет. Потому что им нужен, по зарез нужен объединяющий центр...

И в такой обстановке даже один комитетчик на целый район — организующая сила. Он больше бегает от шпиков, чем работает, больше занят профилями огородов и проходных дворов, чем непосредственным делом. Но уже одно его появление у рабочих, даже не частое, держит в напряжении их собственную работу. Самовоспитание переходит в самоорганизацию.

Дайте такому летучему комитетчику маленькую убогую типографию с парой пудов шрифта. Он приспособит к ней двух-трех ищущих юношей из учащихся или самих рабочих. И станет фактическим организующим центром.

Вот это-то наше снабжение типографиями даже слабых комитетов и вышутил весьма зло Георгий Валентиныч. Блестящий теоретик показал себя слишком оторванным от практики.

— В этом все дело! — обиженно ворчит наш старик: — тамбовский дворянин судит издалека и сверху... через монокль глядит и одним глазом!

И вот теперь, когда приехал Андрей, мы все-таки проводим осмеянную нашу практику. В Екатеринбург, на смену Баранскому, едет Аркадий и везет с собой типографию. В Казань отправляется с шрифтом Елена, а вслед за ней для организационной работы Михаил Вилонов. Он был бы более подходящ на Урале, но у него имеются незаконченные счеты с николаевскими арестантскими ротами. В Уфу тоже посылаем шрифт и работника.

Пусть посмеются еще, кому весело за границей.

— Я выехал оттуда в июне — там велись переговоры... —

докладывает Андрей в бюро, вскоре после приезда.— Но из них едва ли что может выйти: уступчивость одной стороны сейчас же вызывает новые претензии с другой стороны — это психологический закон всякого торга. И боюсь, что Борис проторгует — там публика похитрее его.

Мы сидим у Арцибушева по-семейному, за самоваром. Маленькая его квартира — трехоконный домишко на окраине города — больше походит на обиталище сибирского ссыльного. Очевидно, оттуда сохранилась у старика привычка к невзрачному жилью и неприязнь к большим зданиям. Но его большой фигуре негде здесь развернуться, и в движениях замечается связанность. Поэтому, вероятно, немногословны его реплики и походят на междометия.

— На какой чорт сдались им переговоры?!

— Ленин хочет сохранить партию от раскола и сохранить для нее Плеханова с Мартовым. Остальные, говорит, потом сами отсеются... Но беда-то в том, что остальные крепко вцепились в своих вожаков: оторвать от них можно только с руками.

— Все равно, ведь, раскольниками зовут!.. Пусть лучше за дело.

Создается, действительно, щекотливое положение. Есть партия, но нет единого центра, который руководил бы работой в полном объеме. Есть ЦО, но захвачен меньшинством и не может, не умеет руководить, потому что не знает того, что делается на местах. Рекомендовать его нельзя не потому, что он от меньшинства, а потому что потерял чутье и тон, создавший съезд и партию, тон организующегося революционного рабочего класса. Протестовать против него тоже нельзя — ЦК правильно не хочет раскола и в праве требовать от нас дисциплины. И только-что сейчас развозится на места транспорт из Баку — в нем Мартовское Красное Знамя, одновременно и так же великолепно изданное, как и Ленинская Деревенская беднота, и как Эрфуртская программа Каутского...

Вывод из Шагов ясен, а переговоры?..

И, может быть, прав старик, когда говорит, что лучше, если будут ругать раскольниками за дело. И астраханская Варенцова, может быть, тоже к истине ближе — при недавнем с нею разговоре об Искре она раздумчиво и серьезно обмолвилась:

— Пожалуй, лучше было бы обойтись на время без ЦО, чем такой, как этот.

И нужно организовать бюджет. Комитеты за литературу платят. Транспортные издержки покрываются. И кой-что остается на развитие дела. Но здесь много разъездов. Приходится нести расходы и по транзиту бегущих сибиряков.

Основной добыватель средств на нужды бюро — Уральский Маркс — все чаще и чаще кряхтит. Либеральная публика, у которой он пользуется репутацией незапятнанного революционера, уже ежится и отказывает. И нередко эти подачки приходится бедному старику пополнять займами, в счет своего небогатого жалованья.

Нужно искать посторонних источников. Андрей ставит вопрос о необходимости нелегально-платных докладов. Сам он живет насчет своих родственников и тоже, как и Арцибушев, своей кассой дополняет партийную. Но это, конечно, не выход.

Решаем произвести некоторые разведки. И я еду в Саратов и Пензу для изысканий. Старик дал мне личное письмо к твердокаменной М. П. Голубевой, у которой в Саратове большие связи.

— Если захочет, она может найти деньги и помимо комитета.

К концу лето. Бледнее небо. Просвечивают золотом зеленые берега. И они пробегают назад быстрее. Подрагивает утомившийся пароход, поскрипывают мачты и снасти. Торопливо разговаривают колеса...

И также торопливо за колесами мысли бегут... Так это близко как-будто, всего какой-нибудь год назад, был съезд. Выросла партия — сила революционного класса. Кружки и группы стали отрядами одной большой армии. И именно потому, что армия стала единою, она растет по часам ускоренным темпом: масса родит энергию из себя.

Колесо развернулось. Потянулись во все стороны приводные ремни. Согласно и в такт заработали рычаги и валы, передачи и шестерни. Кризис поисков и разброда оказался изжитым...

И вдруг в колесе что-то треснуло... Оно вихляет, дает перебои, слабеют приводы. Но машина продолжает работать, не ослабляя своего хода. По инерции развивает его, втягивает новые силы. И как-будто не замечает поломки...

В чистой механике это нелепость. В общественной жизни — закон: не отдельные люди, или герои, творят историю, а создают ее массы, своим повседневным строительством жизни,

инстинктивной тягой к сплоченности и объединению, ростом организационного сознания.

Маховик может вихлять и временно даже сломаться. Выросший в политическую силу революционный класс сумеет сам восстановить поломку.

Ездишь целое лето из края в край... И везде закипает жизнь, как вода в котле. Она нагревается внизу, на местах, незаметно. Вбирает в себя весь жар целиком, прежде чем закипеть и выплеснуться ключом. Но еще до ключа вы заметите на поверхности тонкую рваную сеть пузыристой пены: предвестник кипения и результат внутреннего накопления — жара. Эта пена лишь признак накопляемой силы, но не ее суть. Пузырьки лопаются и пропадают бесследно...

Так же, как этот вот вояжер, только-что вернувшийся с пристани в рубку... Он разговорчив на злобы дня. И за столом в рубке осторожно и дерзко пускает иронию по поводу генеральских неуспехов в Манчжурии. Сейчас держит в руках военные телеграммы, и к его узенькому трехкопеечному листку тянутся сразу несколько рук.

— Что нового?.. Где нас бьют?.. По какому месту?..

Каждый хочет ввернуть что-нибудь свое, более острое, чем сосед.

— Терпение, господа, сейчас посмотрим...

Садится, пробегает листок и читает вслух:

— В море тихо, неприятеля не видно, наших прибывает. Адмирал Макаров.

— Позвольте... ведь Макаров же с „Петропавловском“ потонул?..

— Вот он и сообщает...— спокойно ответствует чтец.

Кругом дружный хохот. Смакуют:

— ... наших прибывает, неприятеля не видно... на дне Великого океана?..

Это осмелел обыватель. Его смелость набухла пошлостью. Так же, как трусостью, пропитана его готовность к бунту.

Вечером в салоне за музыкой собралась избранная пароходная публика. Получена телеграмма о рождении наследника. Какой-то председатель окружного суда предложил встать „в честь цесаревича Алексия“. И какой-то желчный учитель городского училища категорически отказался сделать это. Председатель опешил и наивно спрашивает:

— Почему же?..

— Из принципа-с! Ибо я взрослый человек.

Встал и вышел из салона на палубу.

И с председателем почтила вставаньем наследника лишь меньшая половина, и то конфузливо оглядываясь.

Но эта мещанская пошлость и трусость, как ненужная никому накипь,— признак вскипающей снизу силы...

9

Саратовская Голубева встретила очень радушно.

— Может быть, хоть вы скажете, что за границей делается?

Видимо, просачивающиеся слухи — об окончательном расколе, о новом съезде,— в которых не был никто уверен, ее волновали. Она знала Ленина ближе, и острее воспринимала заграничную напряженность. Протоколы и Шаги у нее уже были чуть ли не раньше нас.

И что я мог ей сказать, кроме и больше того, что знал сам от Андрея?.. То-есть почти ничего: в июне были переговоры, чем кончились — неизвестно. Глебов пытался мирить, насколько успел в этом — тоже не ясно пока. Можно думать, что совсем не успел: иначе известили бы срочно.

— Ведь Искра пожелает испепелить Шаги, а Шаги не могут не затоптать новую Искру! Какое тут примирение?..

— Ну, так скорее бы уже кололись, что ли: прямо срам перед рабочими-то.

Рассказал ей, как у нас обстоят дела, почему Арцибушев решил ей написать непосредственно.

— Хотели бы поставить районную типографию, а если бог потерпит грехам, то подумать и о газете.

— Ну, хорошо... Для нашего комитета я не сделала бы, а вам постараюсь достать.

Она, как член комитета, знает его хорошо. И некоторых своих коллег не расценивает высоко. Через несколько месяцев она оказалась права.

Ночевал на даче у Гольденберга. И когда я спал в его комнате, он тут же читал привезенное мною Шаги, единственный самарский экземпляр: они должны были, вместе со мною, вернуться туда.

— Шаг вперед, два назад — это верно...— раздумчиво говорит Гольденберг утром за чаем.

Мы с ним одни. Семья уехала в город раньше, чем мы проснулись. Длинный, тонкий хозяин меряет дачный балкон, как тюремную одиночку — руки назад, глаза под ноги.

— Но этот один шаг вперед стоит десяти обратных,— продолжает он.— Статистика доказательна лишь в больших цифрах,

в малых она может оказаться смешною. И следует ли преувеличивать эти заячьи перебежки вокруг болота?...

— Их нельзя преувеличить — скорее наоборот: заяц и один напетляет столько, что сочтешь за десяток.

— И аллах с ним — пусть хоть за сотню петляет. Что важнее сейчас — облава на медведя или охота за зайцами?.. Боюсь, что заячьи следы не ведут к берлоге!

— Но для облавы как-раз и нужна принципиальная ясность. Нужна организационная дисциплина, а не заячьи скидки.

— Во всяком случае искровские причуды мне не особенно нравятся, — резюмирует Гольденберг: — ясностью они не грешат.

Голубева сдержала обещание, и из Саратова я уехал с некоторыми деньгами.

В Пензу тоже попал удачно.

Вообще Пенза, после первой поездки туда весной, оказалась очень хорошим и удобным пунктом получек. Смирнов действительно нашел прекрасную квартиру, где можно было располагаться с вещами, как у себя дома. Земский инженер Россель — молодой, энергичный, живой, общительный — был своим человеком, хотя непосредственно не работал.

По отцу англичанин, а по характеру сангвиник-американец, он не находил в Пензе приложения избытку своей энергии. В программных вопросах тонко не разбирался, как не революционер, а строитель. Но всегда сам непосредственно участвовал во всех деталях транспортной конспирации. Очень деятельный и практичный, он никак не мог оторвать себя от корзин, когда они попадали в его квартиру. Вплоть до момента их вывоза, после разделки, на места. Даже выходил провожать на улицу, когда уже все было уложено на извозчика, и громко напутствовал, как радушный хозяин близкого друга:

— Счастливой дороги! И помните, что обещали скоро опять приехать. Не забывайте!..

И действительно радовался следующему скорому возвращению. Большая квартира на барскую ногу была всегда к нашим услугам. И он, и жена принимались деятельно хлопотать, встречая как родственника. И всякая таинственность к подготовке и разделке багажей отбрасывались. Никаких запоров на замок его кабинета, никаких шопотов или оглядок — приехал свой человек, делает обычное свое дело — чего скрывать?

— Чем больше скрываешься, тем подозрительнее, — объяснял он, — излишняя настороженность заставляет предполагать что-то скрытое.

Деятельно и с искренним увлечением всегда помогала нам и его жена. Юная и наивная, как недавняя еще гимназистка, она подходила к делу с некоторой трогательной романтикой. И, в сущности, она именно этой самой романтикой удерживала и мужа и нас от излишней самоуверенности и распоясанности.

И когда, одергиваемый ею, Россель убеждал ее:

— Нужно, Мусенька, к делу подходить проще — она серьезно отвечала:

— Не понимаю я... Легкомыслие тоже имеет меру, не нужно слишком бравировать. И это не игрушки, а серьезное дело!

И в этой обстановке даже нервный Смирнов утрачивал все свои опасения и стал непременным участником наших перепаковок.

Теперешний приезд оказался случайно кстати. В этот день должна была состояться платная вечеринка с докладом. Устраивали ее эсэры, но вход был достаточно свободный. Смирнов с Росселем потащили меня туда.

Большая барская квартира набита битком почти одной молодежью. В зале, в комнатах, в коридоре — везде полно. Несколько свободнее лишь в задней комнатушке около кухни, где развернут платный буфет с ценами первоклассного ресторана.

Докладчик — только-что вернувшийся из Питера, местный поэт и земец-помещик Лодыженский. Он рассказывал о похоронах Анненского, в которых участвовал. Говорил формально, скучно, как говорят о том же самом в десятый раз. Грустные интонации, унылая мина.

— Посмотрите на молодежь,— тычет в бок Россель,— ей богу, она недовольна поминками!

Получились действительно поминки какие-то. Подробный монотонный рассказ о шествии на Волково кладбище, о громадной толпе провожающих, об участии персональном многих известных лиц и чинов, о венках от студентов, писателей и иных прочих... И ни одного ясного, громкого слова о политической физиономии покойника, о его скрытой от глаз политической роли.

И это для молодежи, которая ждет тут не только живого, а и резкого слова.

А кругом бьется жизнь, кипит, как в котле. Развертывается большая бакинская забастовка.

Кончил. Жиденько, официально похлопали. И вертят голо-

вами по сторонам — кто еще выйдет?.. Некоторая заминка и пауза.

Мы с Росселем только-что помянули покойника эсэровским коньяком. И Россель подталкивает меня сзади к столу:

— Выходите...

Никогда не умел и избегал выступать. Всегда, кажется, что смотрят на тебя все и про себя издеваются. Хочешь всегда сказать более важное и более умное, чем все говорят. И боишься, что не сумеешь, не выйдет, получится один конфуз. И конфуз приходит раньше, чем начнешь говорить.

Но наш разговор уже заметили. В нашу сторону смотрят. Ждут. И ни одного слова в голове, кроме „похорон"...

Так и начал с того, что „хоронить почтенных людей было всегда почтенным занятием"... И как-будто подхлестнуло: зал насторожился — уловил и в словах, и в тоне „полемику". Сейчас же почувствовал, что говорить в этом тоне не следует: покойный для многих здесь не „почтенный", а идеолог, символ. И даже мельком уловил вблизи грозный взгляд местного эсэровского лидера Федоровича. Он же меня сразу и успокоил, и внушил нить и тон. Заговорил просто, как в небольшой знакомой компании, или в кружке.

— Жизнь слишком суровая вещь, чтобы не дарить нас похоронами. И сейчас ползут мимо поезда на восток, чтобы дать материал для той бесконечной и бесчеловечной тризны, которая там творится. Что значит, в сравнении с этой тризной, та похоронная прогулка к Волкову кладбищу, о которой нам здесь поведали?..

— И уж если скорбеть, то нужно скорбь свою обращать не на запад, а на восток: там в войне зарождается мир, и сама смерть, тысячеликая смерть несет в себе жизнь. И кто говорит о смерти сейчас, тот умирает сам...

— Мы — живые люди, и нам свойственно (и это хорошо, что свойственно) смотреть мимо смерти и дальше нее.

Перешел на политику текущего дня. На ее противоречия с массовой жизнью, на попытки героев пробудить эту массовую жизнь единичным смертоубийством, достигающие обратных результатов. На живые, уже большие проявления могучей классовой борьбы.

И кончил бакинской забастовкой, которая была в разгаре.

— Мы — живые люди. И там наше место, а не на кладбище с мертвыми надписями на мертвых камнях. Печали нет сейчас места. И нет времени для нее. Смертным боем пробивается к солнцу новая жизнь — отвернемся ли от нее?!

Россель немедленно использовал аплодисменты: пустил шапку для бакинских рабочих, и повел агитацию за раздел сбора с вечеринки.

Выступил Федорович. Но с места в карьер начал с полемики и утратил тон и внимание. Раздражение и обида помешали ему это заметить. И к концу речи Россель шепнул, что сбора делить не придется — он уже наш.

И рисковано было, после выступления, задерживаться здесь дольше. Не дослушивая Федоровича, под шумок выбрались и проехали прямо на вокзал. По пути договорились: подумать здесь об устройстве своего доклада, и, если ничего после сегодняшнего не случится, через неделю я буду здесь, чтобы договориться о типографии.

10

Сначала его звали Маэстро. Почему Маэстро, а не иначе как, неизвестно. Люди, склонные к романтизму, вообще присваивают себе звучные клички.

К нам в Самару он явился от Варенцовой, натворивши что-то в Астрахани. И таккак в жизни прошел, очевидно, через десяток профессий, то приняться у нас за одиннадцатую ему ничего не стоило.

И он сразу влез в шкуру транспортера, как-будто этим только и занимался. В мою первую поездку в Астрахань он именно снимал тогда груз и помогал разбирать и распределять. С виду скромный молодой парень, как-будто застенчивый, без усов и бороды, как скопец. В работе не спешит, не волнуется, делает четко и быстро.

Смотрел и думал тогда: „вот найти бы такого помощника"...

И вот он явился сюда сам.

— На какую же вас работу?

— Не знаю... Я — фельдшер, в аптеке работал, — говорит с запинкой, смущаясь, — на железной дороге чернорабочим был... по электричеству работал.

— А если транспортером?..

— Отчего же, могу.

Получена была как-раз накладная на груз, вопреки налаженному порядку, на Самару. Дали Маэстро паспорт калужского мещанина Григорьева. Сейчас же он нашел комнату. А пока паспорт прописывался, он успел получить наш груз, и, как собственный багаж, водворить в новую свою квартиру. Вышло естественно: новый жилец привозит с вокзала солидную кор-

зину собственного багажа — значит, человек обстоятельный. Правда, через день корзина стояла у него запертая и пустая — груз вынесли. Но видимость солидности жильца она продолжала хранить.

Я наблюдал за Маэстро, когда он с этим делом справлялся, шаг за шагом. И, пожалуй (будь у меня хоть немного выспренности) мог бы сказать: какой великий артист погибает... В транспортной конторе это был скромный, исполнительный и не без солидности приказчик. У себя на квартире — любезный, общительный, простодушный с хозяйкой жилец, которому нечего скрывать и который готов здесь прожить целую жизнь.

И нужно было так случиться, как вообще у нас нередко случается: послали от границы багаж в Саратов, а накладную в Самару с оказией. Оказия, как всегда, оказалась много неаккуратнее почты. Она явилась через месяц после того, как багаж уже был в саратовском пакгаузе.

Получать такой подарок — верный провал. Охотников добровольно засесть в тюрьму мало.

— Вот разве Маэстро? — говорит в шутку Ваня.

— Отчего же... могу.

Сказал совершенно спокойно. Мы даже глаза выпучили, хоть и знали, что кто-нибудь из нас должен эту попытку сделать.

— А тюрьма?

— Все там будем.

Дал ему непосредственную связь к саратовскому извозопромышленнику и боенскому ветеринару Оболдуеву. У них, по моим расчетам, должна быть связь с железнодорожниками. Если нет — то надо ее найти, на то он железнодорожник сам. И наказали:

— Не получать, не разведавши точно. Рисковать при шансах не ниже тридцати из сотни. Комитета не вмешивать.

Он опаздал туда на какой-нибудь день-два: невостребованный багаж был вскрыт и передан жандармам. Следы его кончались в жандармской комнате на вокзале.

Идет туда.

— Прошу разрешить мне подать заявление... о краже у меня портсигара.

Составляется протокол. Маэстро обстоятельно рассказывает, как он только-что вынимал свой портсигар из кармана, а когда захотел его вынуть опять, его уже не оказалось.

Корзина стояла тут же. Обыкновенная плетеная корзина, при первом взгляде на которую можно сразу определить, что

в ней посылается не багаж: старая, измызганная, в пазы вылезает солома, из-под крышки торчит край рогожи.

„Рисковать при шансах не ниже тридцати“...

Извозопромышленник указал ему лихого извозчика. Ветеринар дал связь к рабочим в депо. Там указали пару-тройку расторопных ребят из железнодорожной школы.

И через два-три дня к вечеру, когда никаких поездов на вокзале не ждали, Маэстро обходил там свои посты. Рысак перебирал ногами в стороне от подъезда. На платформе болталась редкая бездельная публика. Между ними слонялись юноши в шапках, закрывающих правое ухо. Маэстро закрыл себе левое.

Назначенный срок прошел. Тягучее ползут минуты. Закрадывается тревожное беспокойство. Нервы подобраны и прислушиваются в ту сторону, откуда должен быть подан сигнал.

Три минуты, четыре, пять... Ни звука. Нервные судороги в челюстях, слабость в ногах. Вот-вот осядет, опустится все тело.

Трах!.. Трах... Тра-ра-рах!

Треск, выстрелы, шум за вагонами. Крики...

Жандарм, истуканом стоявший на платформе, срывается с места в дежурку. Публика суетится бестолково, растерянно. Из дежурки выскакивают двое жандармов и спешат за вагоны. За ними третий. Четвертый поспешно запирает дежурку — и тоже туда.

Маэстро уже у двери. Около него ребята с закрытыми шапкой ушами. Навалились на дверь — высадили.

Корзину за ручки. И через платформу, среди расступающейся публики, через вокзал, к подъезду.

В самых дверях подъезда Маэстро остановился. Лицом внутрь вокзала, спиной к выходу.

Сзади него ребята, прилаживающие корзинку в санки. Впереди, полукругом, толпа испуганных и все-таки любопытных людей. Он стоит перед ними, напряженный и настороженный — ноги расставлены, одна рука в кармане, другая с револьвером опущена вниз.

Он их не видит почти, столпившихся перед глазами людей. И четко различает то, что за спиной. Слышит, как рванулась вдруг лошадь... полозья скрипнули... разбегаются в разные стороны его помощники...

Стоит, как каменный, не ослабляя ни одного мускула. Откуда-то, уже издали, доносится:

— Готово-о!..

Резко повертывается на каблуках и сбегает с подъезда. Не убирая револьвера, вскакивает на первого извозчика. И тот с испуга бьет лошадь, она берет вскачь. Через две улицы слезает. Один-два переулка пешком. Новый извозчик. Снова пешком. Пока не осталось сомнений, что погони нет.

Через два дня он у нас в Самаре, вместе с перепакованным багажом. Рассказывает, как обычно, с запинкой, смущаясь. И трудно определить, где прикрашивает, где правда. Одно ясно: допускать такой авантюризм нельзя.

— Вы думали о последствиях, когда этот налет затевали?! Ведь это хуже эсэровщины!.. Скандал для комитета, если бы сорвалось!..

Маэстро опешил: ожидал похвалы, а тут ругают.

— Значит, лучше было бы оставить у них корзину?..

На этот прямой вопрос трудно было теперь также прямо и точно ответить: если бы не оказалось удачным, тогда легко и без запинки всякий сказал бы: да, оставить. А как скажешь теперь, когда литература уже здесь, в руках?.. И победителей не судят. Он оказался хитрее, чем можно было о нем думать вначале.

И когда стали уже спокойно его расспрашивать, оказалось проще, прозаичнее, чем по первому впечатлению. Стрельба за пустыми вагонами — перебежки двоих ребят с простыми железнодорожными петардами. Револьвер самого Маэстро — бутафория — сломан и не стреляет, без единого патрона. Весь расчет на неожиданность и трусливую обывательскую психологию.

— Если бы не было на платформе публики, пожалуй, пришлось бы труднее: не создалось бы зряшной суетни и паники... И в толпе люди трусливее — каждый прячется за чужую спину.

— Не Маэстро, а чорт!

Так за ним эта новая кличка — Чорт — и осталась в дальнейшем.

В дальнейшем Чорт уже вел себя в работе не чортом, а Маэстро: не позволял себе ни одной рискованной авантюры, хотя на спокойную его дерзость всегда можно было рассчитывать.

11

Группа сработалась хорошо. Дела по горло, и почти всегда в разъезде. Накладные приходят еженедельно, на тот или другой город. И к этому настолько привыкли, что случайная отсрочка в присылке внушает уже беспокойство.

За лето и зиму до января получили и развезли больше полутораста пудов всякой литературы — на три четверти бакинской. И ни одного провала — это марка. В одном из осенних писем, после нагрева, прочитали: ЦК постановил вынести благодарность транспортной группе восточного района за ее работу.

Получилась неловкость — как-будто распоряжение по департаменту.

— Это Борис умничает,— недовольно замечает Андрей,— лучше бы ехал сюда и рассказывал, что там делается!

С шрифтом обстоит тоже не плохо. Екатеринбург, Уфа, Самара, Казань снабжены ручными типографиями. И найден способ покупки шрифта непосредственно от Лемана из Москвы. Мы обзавелись бланками оренбургского губернатора и печатями его канцелярии, как и снимком с его подписи. От его имени и пишутся теперь разрешения тому или иному лицу (по фальшивому паспорту имя рек) на покупку типографских принадлежностей.

Паспорта и печати имеются в изобилии, и даже усилившийся транзит товарищей из Сибири не задерживается паспортной канцелярией.

И все чаще и чаще в бюро говорит кто-нибудь:

— Хорошо бы поставить свою типографию. И хорошо бы наладить свою газету...

Когда ЦО не удовлетворяет и получается через два месяца один экземпляр (много меньше, чем через час по ложке), мысль о районном органе более чем законна. Это совершенно неизбежный вывод из всей обстановки. Район нужно объединить. И районом нужно руководить, а для этого необходим повседневный быстрый обмен запросами и материалами, от периферии к центру и от центра к периферии.

В сентябре созвали летучую конференцию ближайших лишь комитетов. На один день и только по вопросу о состоянии местной работы и районном органе. Нижний и Астрахань, откуда нужно четыре дня убить на дорогу в один конец, пока выделены: с ними будет специальный разговор при ближайшей оказии.

От Казани — Михаил, Екатеринбурга — Аркадий, Уфы — Коновалов, Самары — Позерн и Прапор, Саратова — Ляховецкий.

Орган единодушно одобрили, хотя бы в виде простого бюллетеня сводок местной работы, пока не получится санкция на газету от центра. И даже оставили для первого номера мате-

риал, так как дело с типографией уже на мази, и она скоро может начать работать.

Договорились и о поддержке нас средствами от комитетов. У нас в бюро уже решено было все транспортные остатки пустить по этому руслу.

— Все равно разойдутся по мелочам,— убеждает Андрей,— или приедет и заберет Борис. А от него потом уж не вытянешь — щелкай зубами!

Моя так называемая финансовая поездка в Саратов и Пензу дала больше, чем мы рассчитывали. Она нам дала и самую типографию. Получить ее таким путем, каким получили, мы даже и не мечтали.

САМАРСКАЯ ТИПОГРАФИЯ ЦК

1

Как было условлено с Росселем после эсэровской вечеринки, через неделю я был снова в Пензе. Во-первых, доход с вечеринки. Во-вторых, необходимость организовать там доклад Арцибушева по аграрному вопросу. И в-третьих — самое главное — выяснить перспективы о типографии.

Незадолго до этого пензенское земство арендовало для себя одну из самых больших в городе типографий. Нужно было кому-то, близкому к земской управе, поручить и управление ею. Практическая деловитость и жадность на работу Росселя пленили управу. И ему, помимо его прямых обязанностей, предложили взять на себя и типографию.

И вот эта комбинация, в голове, привычной к конспиративному использованию всяких новых возможностей, привела меня сюда уже с готовым планом. В согласии на него Росселя не было ни минуты сомнения. Нужно было только детально условиться, и колесо будет пущено.

Доклад решаем устроить в той же квартире, где был и эсэровский, и Россель, с присущей ему экспансивностью, уже рисует перед нами и ту обстановку, которую нужно создать для аудитории.

— Раз будет докладчиком Уральский Маркс, водрузим над ним на стену настоящего Маркса... Картина?

У него уже готовы в голове и дифференцированные цены на билеты, и прейскурант буфета, и состав аудитории, и распорядок дня. Смирнов даже ложку с супом не доносит до рта, так он удивлен стремительностью хозяина (мы говорим у Росселя за обедом).

— Может быть, ты все-таки разрешишь Александру Ивановичу пообедать? — замечает хозяйка.

Он отшучивается:

— Ничего, Мусенька он покушает после — пусть поучится.

— И откуда это у вас берется?.. — оправляется покрасневший Смирнов.

— Ведь у вас в земстве прокисли все, травой обросли! А я не хочу.

После обеда в кабинете начинаю излагать свой план. Нужно поместить в типографию своего рабочего. И через него наладить систематическое „позаимствование“ шрифта, краски, прочих принадлежностей.

Смирнов поддерживает меня и предлагает свою квартиру, как первичную складочную базу благоприобретенного типографского инвентаря.

Россель слушает внимательно, как это все гладко и хорошо должно получиться.

— Ерунда! — заключает он, — мелкие уловки с грошевыми результатами. Мелочной риск, постоянная воровская настороженность! Что это вам даст?.. Себе дороже — игра не стоит свеч.

Мы с Смирновым обескуражены. А я и смущен к тому же: план так гладко, привычно укладывается в голове, при несомненной презумпции согласия и одобрения Росселя. И эта несомненная уже предпосылка оказывается ошибочной. Весь план рассыпается.

Пытаемся его убедить: никакой настороженности и уловок от него совершенно не требуется — будут делать другие, даже не зная, что ему это известно. Риск с его стороны поэтому не только проблематичен, а его не может и быть.

— Да я не о том совсем! А очень уж это пахнет кустарничеством и, простите, мелким жульничеством.

Он открывает ящик стола, роется в нем. Потом передает мне объемистый альбом Лемановских шрифтов и машин.

— Выберите по своему вкусу и выпишем.

Недоумеваю. Мало того, что отказывается, еще издевается.

— Получим новую машину, — поясняет он, — со всеми принадлежностями, шрифт — все, что полагается. И отправим, куда вы прикажете. Ставить, так ставить — чтобы похоже было на дело!

Начинаю понимать, соображать. План великолепный, перспективы блестящие. Это конечно стоит больших денег — где взять?.. Как, откуда добыть?.. Голова уже работает в этом направлении.

— Во что это нам обойдется?

— Пустяки — тысячи три с чем-нибудь... Да вы о деньгах не беспокойтесь: земская типография такой расход вынесет.

Вопрос разрешается в неожиданно-блестящей форме. Мой план крохоборства в течение месяцев, мелочного повседневного

внимания целой группы людей с проблематическими результатами показался действительно убогим. О нем стыдно становится вспоминать.

Мы немедленно принимаемся за детальное изучение Лемановского прейскуранта-альбома. Обсуждаем разные кегли со стороны их красоты и компактности. Выбираем бостонку, как наиболее подходящую для провинциальных условий. К этому семейно-техническому совещанию привлекается и жена Росселя, без которой не обходилось у нас ни одно такое совещание и раньше.

И тут же составляем письмо-заказ Леману о высылке намеченного реестром в Пензу большой скоростью.

— А своего человека все-таки дайте нам в типографию, — заключает Россель, — не для позаимствований, а для пропаганды. Будем под эсэров подкапываться!

И через пару недель он уже известил меня в Самару о выполнении заказа.

Опять на семейном совете обсудили все детали переотправки. Завозить тридцатипудовый груз в типографию и перепаковывать его там, разумеется, было бы нелепо: вывезти его оттуда уже гораздо труднее. Частная квартира для этого веса совсем не годится. Но в Пензе два вокзала, далеко друг от друга. Перевезти с одного на другой и сдать как машинные части по новому адресу — проще всего и скорее.

Обычная практика переадресовки подобных грузов — из Питера, скажем, в Нижний, через Одессу — причиняет много хлопот, растягивает время и увеличивает риск перевалок.

Отставить. Можно послать в Самару через Симбирск или Саратов. Но когда насмотришься на пристанях на погрузку и выгрузку да вспомнишь симбирский головоломный спуск к пристани, — всякая уверенность за целость ценнейшего приобретения пропадает.

Отправили непосредственно в Самару: там свой заведующий транспортным складом В. И. Александров. И он сумеет получить и сохранить.

Ему и вручена была накладная в Самаре. И он, получив ящики, первым делом уничтожил на них все клейма отправки и переотправки. Обезличил груз совершенно. И поставил его в надежное место до перевозки потом в оборудованное помещение для работы.

Оставалось найти людей и квартиру.

2

„Голенький — ох! а за голеньким — бог“. Так нередко говорят на пароходной корме те, у которых нечем, кроме как богом, на ночь прикрыться. А уж повезет, так повезет — расставляй только руки и успевай ловить.

Кардашеву в Воронеже по зарез нужно было ликвидировать местную технику. С работниками, доской, валиком, старым шрифтом. И он спешно все это командировал к нам в Самару.

Приехал молодой, веселый, умный украинец, с женою и двумя ребятишками. Самый подходящий хозяин для типографии — невзыскательный на удобства, практического (в поддевке) мещанского склада, преданный делу и живущий только для него.

По паспорту — Иван Павлович Коваленко. А по божьему имени...— он, вероятно, и сам уже начинал его забывать, меняя при переездах свои паспорта. Он привез с собой и наборщика, и часть шрифта. Другая наборщица, на пути из Сибири, задержалась у нас, в ожидании оборудования.

Иван Павлович взялся сам отыскать квартиру. И это было всего удобнее.

Наше предположение открыть пакетную мастерскую, которая дала бы право иметь и открыто держать бостонку, пришлось забраковать. Самара, хотя и большой город, но с заметным мещанским укладом. Таких мастерских здесь имеется достаточно. Взаимная их конкуренция и подсиживанье не обещают спокойной без риска работы. Предприятие более высокого типа нам не по средствам. Да и требовало сложной и громоздкой конспирации: в этом случае всегда является риск загромождения ею самого дела.

— Самое разлюбезное дело, — говорит Иван Павлыч, — маленький особнячок под квартиру. С парадным ходом и того лучше — можно говорить, что откроем лавочку...

Лавочка — это приемлемо. До нового года остается три месяца. Пока охлопатывается патент и заводится знакомство с будущими покупателями, можно полным ходом работать.

Днем Иван Павлыч изучает город и присматривает квартиру. Вечером я захожу в их временное помещение проведать о результатах.

Мы беседуем на одну и ту же тему о предстоящей работе и попутно изучаем друг друга. Он уже успел завязать знакомство с базарной мещанской публикой, знает цены ходовых повседневных продуктов домашнего обихода, источники их получения, обычный порядок расчетов и доставки. Знает ряд

полицейских постов и их индивидуальные особенности при несении служебных обязанностей.

В дневных своих поисках он пользуется всякой встречей, всяким случаем переброситься с каждым подходящим встречным добрым соседским словом, шуткой, прибауткой. Веселые серые очи (именно очи, а не глаза) располагают к нему каждого, и открытое без бороды лицо внушает невольное доверие. А вечером, не спуская с колен ребятишек, он неутомимо и добродушно рассказывает о своих скитаниях и знакомствах.

— Поговорить с человеком по душам — это же одно удовольствие! Смотришь ему в глаза и видишь, как человек оттаивать начинает.

Спокойно и доверчиво улыбается на его разговоры жена. И эта спокойная улыбка женщины с двумя ребятишками, завязанной вместе с мужем в рискованном предприятии, убеждает больше, чем рассказы самого Павла Иваныча.

— Он, аж налим, извернется, и не заметишь! Раз было: только что разложили все на столе, зашел полицейский. Он ему, как родному, обрадовался: „друг коханый!“.. Принялся его раздевать, стол загораживать и все тарантит, тарантит, вокруг него вертится. А тот глаза выпучил, слова не успевает сказать... Я успела стол накрыть и самовар на печатню поставила. А он все обхаживает: вот, говорит, гость редкий, и чайком погреемся.

Она говорит, а Иван Павлыч непроизвольно изображает своим лицом, как он обрадовался тогда и обхаживал.

— И погрели?

— Да самовар-то холодный был. Он ко мне: разведи, жинка, машину скорее! Вот, думаю, лихо вам. Взглянула, чтоб неповадно было, отрезала — дела у меня мало, чтоб не вовремя разводить разносолы?.. Трактиров для вас, бездельников, нет?..

— Он и всего-то приходил насчет снегу на улице, — поясняет Иван Павлыч.

С подготовкой типографии мелочной суеты по горло. Новые промежуточные квартиры и явки, переговоры и договоры с ними. Дня нехватает, некогда даже читать.

И наступает зима. Прекращается транспорт по Волге. Приходится перестраиваться только на рельсы. Летом иногда можно было обойтись без лишних квартир — сдать груз на хранение на пристани, а через день-два перебросить его в камеру хранения на вокзал... Теперь требуются квартиры.

А к зиме люди сжимаются, теснятся, чаще толкутся на глазах друг у друга. И то, что творится около них, для них самих уже заметнее. Нужно быть осторожнее, изворотливее. Более частая смена обстановки и адресов становится необходимостью. Вмешивается в распорядок много всяких мелочей канительных и надоедливых. Но без них нельзя обойтись.

Старик готовится к пензенскому докладу и начинает покрякивать. Вопрос не из легких, в особенности для него. Когда-то он отдал мужикам всю свою землю. А теперь должен говорить об отрезках. И эсэры на демагогию всегда падки, как воробьи на овес в чужой кормушке. И попробуй им доказать, что отрезки — это дверь в революцию, а социализация — путь к отрезкам и от революции, и от земли?

Старик натужно пыхтит над З а р е й, К а п и т а л о м и Авенариусом: ведь придется защищать толпу от героев и расшифровывать эсэровский модный параллелизм.

И ему, видимо, не хочется туда ехать, хотя об этом он угрюмо замалчивает. И только, когда получается телеграмма, чтобы мы указали день, он пытается оттянуть. День назначили. Но перед отъездом я настоял, чтобы Андрей непременно поехал с ним.

— Одному отгрызаться труднее, и меньше уверенности, когда отгрызаешься.

3

Квартира облюбована недалеко от центра, около Москательной. Деревянный одноэтажный домик в четыре комнаты с покривившимся парадным крыльцом.

Переехали. У Ивана Павлыча, как у рачительного хозяина, хлопот сверх головы. Ходит кругом с топором, молотком и гвоздями. Тут приколотит, там заделает щель, привесит крючок. В задней комнате, окном выходящей на двор, осматривает особенно внимательно ставни. И особенно внимательно здесь слушает вечером, не доходят ли из-за ставней на двор звуки работающей машины.

Прислушивается несколько вечеров снаружи и вносит немедленные поправки внутри. Наконец добился того, что наружу не выходит ни одного звука, даже глубокой ночью. В окно изнутри с вечера вставляется плотно пригнанная доска, обитая войлоком. Косяки окна для тепла тоже обтянуты войлоком. Дверь комнаты изнутри загораживается на время работы плотно прилаженным окошмованным деревянным щитом.

За этим щитом вся типография, со всем оборудованием. Поместить ее в подвале — только лишняя мука работникам: если придет полиция, то подвал все равно не спасет. Исправили только звонок и точно условились о внутренней и внешней сигнализации.

Место и помещение знаем лишь мы с Андреем. Из осторожности решили пока не показывать ее даже милейшему и честнейшему Арцибушеву, хотя это могло его задеть и обидеть. Знала его в городе всякая собака, а жандармы перед каждой маевкой изолировали его в тюрьму. На улице он издалека всем бросался в глаза — большой, грузный, с сивой гривой и обликом Маркса. Так и кажется, что он подведет типографию только одним своим появлением на этой улице.

Так именно и объяснили ему свою сдержанность. Но первое время положительно было неловко смотреть ему в глаза и разговаривать о типографии.

— Черти полосатые... ребенок я что ли? Буду ходить туда разве? И если на то пошло, то это может иметь как-раз обратные результаты: я не знаю теперь, в каком месте мне не нужно показываться!

Он прав, разумеется. Но боязнь за дело, так удачно налаживаемое, оказывалось сильнее доверия к старику.

Но дело налажено, заработало. Люди там живут, получают заказы, выполняют. Нужно им доставлять бумагу, освобождать их от выработки. Сами они не могут и не должны этого делать. Наборщики там живут без прописки и не могут часто выходить из квартиры, особенно днем.

Они не знают, откуда идет бумага, куда от них берется сделанное. Самый заказ получает непосредственно Иван Павлыч на особой квартире.

Нужно, чтобы это правило — полной изоляции работников от организации и организационных сношений — строго соблюдалось.

И нужно особенно неусыпное наблюдение как за самой типографией — ее распорядками, работой, конспиративностью, — так и за внешними ее отношениями и сношениями.

Мы ее ставили. Довели до момента работы. И сейчас же она должна для нас умереть: мы обязаны с ней оборвать все связи — иначе они ее могут сгубить.

Непосредственное руководство ею должно быть передано работнику, не запятнанному, не завязанному в другом деле. И особливо надежному.

Но недаром же она родилась под счастливой звездой. И

лучшего за ней наблюдателя, кроме А. А. Преображенского, найти нельзя было.

Первый раз я его видел, когда, весной еще, он возил нас с Иннокентием на своей лодке. А потом, обосновавшись в Самаре, нередко к нему заходил по вечерам после работы.

У каждого человека должно быть место, куда бы он мог пойти... Нелегальный человек не исключен из этого правила. После целого дня всяких явок, деловых разговоров, свиданий, часто хочется куда-то пойти без пароля. В Смоленске был Голубков, в Самаре такой же великий молчальник — Преображенский.

Он жил на демократической улице, в демократической обстановке, служил в управлении железной дороги. С местным комитетом не был увязан — не доверял ему, считая безнадежно меньшевистским. И у него были свои отдельные связи с рабочими, которые он крепко законспирировал в себе.

О работе своей и связях не говорил. Но это не была конспирация предумышленная. А просто человек привык все личные переживания прятать в себе.

Так бывает с людьми, которых часто зовут в общежитии нелюдимами. Они сами себе практическим опытом, иногда долго и мучительно, вырабатывают мировоззрение и мораль. И о их внутренней борьбе можно лишь косвенно догадываться и именно потому, что они не умеют и не хотят говорить о ней прямо. Молчание или недомолвка часто красноречивее речи.

Преображенский никогда не говорил о себе, и местоимение первого лица не было ходовым в его лексиконе. Но его внутреннее „я“ представлялось сложившимся и устойчивым. Он никогда не подчеркивал и даже не упоминал о своем большевизме. Но его бережно-уважительное упоминание Ленина говорило о твердокаменности. Я не знал ни его биографии, ни его ближайшего прошлого. Но, по косвенным выводам из его скупых реплик, представлялось несомненным его увлечение в прошлом народничеством, участие в интеллигентской деревенской коммуне, работа у старообрядцев.

И вместе с тем это был глубоко практический человек, учитывавший в каждом деле каждую мелочь, наравне с основным. И он ничем не выдавался из окружающей его обстановки.

Лучшего эмиссара для типографии невозможно было найти.

И когда я предложил ему это, он в упор посмотрел на меня широко расставленными глазами, как-будто проверяя.

— А Сатана знает об этом, что я стану к этому делу близко?

— Будет знать.

— На дыбы не поднимется?..

Сатаной он зовет Арцибушева. Он не доверяет ему в отношении принципиальной устойчивости. И хотя они служат в управлении вместе, встречаются часто и дружат, но он опасается, что Сатана не будет доволен его подходом к типографии.

— Старик будет считаться с фактом,— успокоиваю его,— а корректировать будет бюро, где он не один. Да он и не знает, где стоит типография.

Он сходил, обглядел все предприятие, поговорил с работниками, установил связи. Остался доволен.

И им там довольны остались.

— Свой человек, рабочий... и сам понимает дело — не нужно много рассказывать.

По его костюму, немногословию и практическим указаниям приняли его за рабочего. Тем лучше — ближе сойдутся. И нет оснований расшифровывать это.

Несколько раньше, чем ввязался в это дело сам Преображенский, в него ввязана была его жена Марья Ильинична. Она простая, рабочая женщина, никогда в принципиальные тонкости не вмешивалась. Но слушала с интересом и готова была всегда все сделать для дела. Сделать так же просто и скромно, как она топила свою печь или с корзинкой, в платочке, ходила на рынок.

И она сразу же согласилась стать для типографии „прачкой". Привозила туда на салазках выстиранное белье и обложенную им бумагу для работы. А под грязным бельем в стирку, вывозила выработку. И ни один сыщик, глядя на нее, идущую с саночками около тротуара, ни на минуту не заподозрил бы в ней конспиратора.

И она добросовестно, без единого провала за все время работы типографии, несла эту скромную и нужную функцию.

И никто из работников в типографии так до конца и не догадывался, что прачка и заведующий одна и та же семья.

4

В качестве первой, пробной работы выпустили зародыш будущей местной газеты. Под скромным названием „Хроника восточного бюро РСДРП".

Вводная небольшая статья — двойное авторство, мое и Андрея. Ряд специально присланных сообщений с мест о ходе работы — из Казани, Самары, Уфы, Саратова... Страниц на 10 — 12. Выпустили 500 экземпляров.

Радости было много — и у работников, и у нас. Чистота и аккуратность работы совсем не напоминали о нелегальности типографии.

— С такой типографией не обидно и провалиться,— радуется Иван Павлыч.— Пусть-ка жандармы в настоящей и за деньги так напечатают!

И это была затравка газеты. К ней мы не были еще достаточно готовы технически. И не было пока разрешения от ЦК. А литераторы в Поволжье в комитетах имелись. И с ними уже договорено все.

В распространение пустили не сразу, а через несколько дней.

За это время Чорт должен был разбросать сотню-полторы экземпляров по Пензе. Почему Пенза?.. Чтобы отвести след от Самары. Чтобы доставить удовольствие Росселю и Смирнову, о котором они специально просили. Чтобы подразнить пензенских эсэров, еще не расставшихся с гектографом.

Чорт справился так же блестяще, как с умыканьем корзины в Саратове. Ночью в вагоне, накрывшись пальто, он сложил каждый номер в виде конверта и разложил по карманам. Вечером был в Пензе. Ни к кому не заходил и никого не видел. Обошел по основным магистралям весь город. Подбрасывал на улицах и в подворотни. Совал в почтовые ящики и в щели парадных дверей. И в ту же ночь, с скорым поездом, уехал обратно в Самару.

На другой день Пенза только об этом и говорила. И, сверх наших ожиданий, ни Россель, ни Смирнов не были даже обысканы.

Вышел и второй номер Хроники. В комитетах встречена хорошо. Настаивают на газете. Торопят. Навязывают в типографию собственные заказы.

Жизнь, как полая вода весной, поднимается быстро и выходит из берегов. Начинаются по городам банкетные кампании. Состоялся в Питере земский съезд. Это все еще накипь, пена, пузыри перед кипеньем. И чем быстрее они исчезают и появляются вновь, тем сильнее, значит, нагрев внизу.

И у нас нет ЦО нет районного органа. Мы, как и комитеты, говорим об улице тогда, когда рабочие инстинктивно на нее уже вышли.

На днях в здешнем земстве состоялся какой-то вечер с либеральным докладом. И так как нет теперь ни одного такого вечера, куда бы не валила демократия и молодежь толпами, то комитет решил его использовать. Наскоро мобилизовал актив и ближайшую периферию.

И любопытнейшая получилась картина. Зал хорошо освещен. Рядами расставлены стулья. И все места заняты чистой публикой, привычной к люстрам, парадным речам и собраниям. Она именно хозяин этого зала. И право ее на него никем не оспаривается. Потому что никто другой на этих местах не может себя держать так свободно и независимо: повседневная практика и привычка создают право и уверенность.

Молодежь в проходах и по стенам, на подоконниках, у косяков дверей. Она учится жизни, привыкает высматривать свое будущее место исподволь, постепенно. И не претендует на стул сейчас — он под нею будет потом. Важно выявить сейчас свое отношение жестами, голосом, а не сиденьем.

А рабочие, мобилизованные сюда Прапором?... Они жмутся кучкой у задней стены. Их видно сразу. Поношенные костюмы, обтянутые широкие скулы, непокорные волосы. И они сами себя здесь видят, как в зеркале, в сотне пар оглядывающихся на них чужих, уверенных глаз. И эта чужая уверенность убивает их собственную уверенность, привычную, повседневную. Поэтому они жмутся в кучку.

И поэтому большая часть их, основное ядро, перекочевало на хоры.

— На задний стол с музыкантами...— говорю Андрею.— Нужно ли так демонстрировать?...

— Иначе здесь и не вышло бы: два лагеря — волки и козлища.

Мы стоим в зале, в стороне от своих, как люди нелегальные, право которых не выделяться из общей массы, не привлекать на себя чужого внимания. И поднимая глаза на хоры, становится обидно за это право, неловко им пользоваться.

Там живее, чем здесь, собираются тесно в кучки, разговаривают, искренно смеются. Держат себя, как в своей обстановке, не связанными.

Внимательно слушают только первые ряды в зале. Все другие пришли сюда не ради доклада. Они слышали и угадывали, что эти кучки, у задней стены и на хорах, пришли не даром. И они ждут, когда и как эти кучки себя проявят. Ожидание и нетерпение заслоняют доклад, удлиняют время, родят досаду

на многословие докладчика, округленность и витиеватость его речи.

И как-будто освободились от тяжести плечи слушателей, когда докладчик, наконец, закруглил и кончил. Вздохнули свободнее из самых глубин души. И насторожились. Сейчас будет самое интересное и самое главное. Как заключительный акт в театре.

В сущности самый доклад мало кто слушал. Еще меньше было таких, которые им интересовались. И совсем почти не оказалось желающих говорить по существу его.

И когда с бокового крыла хор, от самой стены раздался молодой, срывающийся голос, мало кого интересовала суть речи. А кто и как говорит—это для всех главное. Все глаза моментально обращаются туда, и сейчас же их заволакивает досада: плотная кучка у края хор загораживает оратора, мешает осмыслить его слова. Остается лишь слушать.

Он говорит не особенно складно. Это обескураживает публику. Его голос вибрирует, местами срывается, прорывается звонкая, несолидная нота. Но его слушают внимательнее, чем докладчика. Хотят острых слов и ждут их. И когда они у него срываются, ему прощают другие недочеты его же речи.

Прощают не все слушатели. Передние ряды, как и президиум, только недочеты и слушают. Слушают с нетерпением и гримасами: не по докладу. И они обмениваются ироническими улыбками.

И если бы были здесь, в зале, авторы земской кампании — Аксельрод или Старовер — они остались бы недовольны: не было импозантности и внушительности, не было подвешенного хорошо языка, который здесь ценится больше, чем мысль, и понимается лучше, чем чувство.

Эти железнодорожные и мельничные рабочие попали сюда впервые. Им нужно было дома перед тем, как итти сюда, внимательно осмотреть и почистить праздничный свой костюм, чтобы их пропустили. А о правилах красноречия или резонансе они даже и не подумали.

И если бы Аксельрод или Старовер, оказавшись случайно здесь, могли выступить от их имени, можно было бы опасаться, что серьезное внимание к ним передних рядов не было бы достаточно понятно для их доверителей. И уже сами-то они, наверное, из опасения паники солидной публики, не закончили бы своей речи так, как закончили теперь доверители:

— Долой самодержавие!!

И сейчас же сверху зашуршали пачки листков. Публика бросилась их расхватывать. С хор по узкой лестнице в коридор, подталкивая и мешая друг другу, уходили пришлые люди, сделавшие здесь до конца свое дело. И уходили с дружным призывом, обращенным уже не в зал, который выпирал, чтобы их разглядеть и влить в их ряды свою долю, а к улице:

Вставай поднимайся, рабочий народ!..

На улице, в зимней, уже ночной тишине, призывная песня звучала стройнее, свободнее. И кончилась только через два-три квартала.

Полиция не предусмотрела. Противодействовать пению или шествию было некому. Это шло в разрез с настроением участников. И пение, и демонстрация утрачивали в их глазах половину смысла — не для себя ведь, самих они выходят сейчас на улицу.

И демонстрация сама собою скоро закончилась.

5

Приехал Борис. Я не видел его полгода, с последней встречи в Смоленске. Похудел, осунулся, смотрит как-то серьезнее, меньше самоуверенности. Андрей виделся с ним после меня, но тоже заметил это, как только мы к нему вошли.

— Ты... здоров?

— Почему ты так спрашиваешь?

— Да как-будто тебя в щелоке постирали и забыли просушить.

— Стирали. И стирают, и еще стирать будут...

У Андрея хорошая комната, в буржуазной квартире. Как у скромного комиссионера, который не испытывает необходимости в постоянной службе. Борис садится на диван, закидывает за голову руки и вытягивает ноги. Как-будто потягивается, только-что проснувшись, или сильно устал.

— Посидели бы в моей шкуре, не стали бы тогда зубоскалить!

Дорогой мы успели с ним переброситься лишь парой фраз о самых злободневных нуждах, откладывая разговор до общей беседы.

— Ну, рассказывай...— говорит Андрей.— Или нас хочешь сначала послушать?

— Знаете что? Не пойти ли нам закусить — сейчас как-раз время. А потом и о делах говорить будем.

Это для него необычно — откладывать под каким-нибудь

предлогом деловой разговор. Он всегда спешил сначала с делами покончить, а другое потом — если останется время и сколько его останется.

— Пока не арестовали, с делом надо спешить, чтобы потом меньше жалеть. И выгоднее: когда дело кончено, остается время для недоделок.

А сейчас он не спешит, даже как-будто оттягивает. В чем дело?

Когда человек хочет выиграть время, значит — не вполне уверен в себе. Что-то, несомненно, случилось, о чем он не хочет говорить сразу, без подготовки. Июльское заявление?..

Мы получили его лишь недавно. До этого ходили всякие слухи, недомолвки, предположения. Раскол?.. Соглашение?.. Экстренный съезд?..

Но слухи не документ: на них мало что можно строить. Но они тревожили, мешали работать.

И была какая-то надежда на испытаннейшего в партии, автора Монистического взгляда на историю. Не может же он не понять свою человеческую случайную слабость к куриному гнезду. И не может, с свойственной ему решительностью, не отодвинуть от себя случайных суетливых друзей, чтобы протянуть руку Ленину. Тогда экстренный съезд не нужен: не для кучки же трепачей его собирать.

Никогда ведь до этого жизнь не дарила нас с такой щедростью революционным рабочим вниманием. Жадность на работу сейчас так понятна и так захватывает, что не хочется никому, кто непосредственно в работе завязан, оторваться от нее ни на один день.

И вот он, документ, в номере семьдесят два. Появляется неожиданно и звучит странно. В нем две неоспоримости поставлены на голову, вывернуты на изнанку и торчат вверх ногами. Незаконность состава редакции, очевидная для малых ребят, вдруг стала неоспоримой законностью. И такая же, для всех очевидная, принципиальная сниженность ЦО перевернулась в неоспоримую принципиальную высоту.

Говорят, бывает так в цирке: разбежится, играючи, клоун, ударит своего партнера в живот головой и хохочет. И партнер не может понять: смеяться ли ему также или от боли корчиться, было ли это шуткой или профессиональным сознательным издевательством.

И каждый из нас, прочитав документ, протирает глаза к заголовку, смотрит на подпись, еще раз читает. Правильно, как в аптеке. Радоваться или плакать?..

Старик Арцибушев, более непосредственный по натуре, действительно готов был заплакать, когда прочитал.

— Чорт знает что! Они же сами себя секут, как гоголевская вдова?! Срам!

— Хуже не выдумаешь, — соглашается и Андрей. — Даже разумное объяснение подобрать трудно. С одной стороны, „немедленное и энергичное вмешательство“, с другой — сдача важнейших позиций. Тут что-то не так, или что-то не ладно.

— А с третьей стороны, — подаю свой голос, — ЦК есть ЦК, выбранное и признанное руководство. Политика есть политика, и не всегда оглашается то, что говорится. Важно узнать отношение Дядька.

И мы долго сидели в боковушке (так назывался кабинет) Василия Петровича, сочиняя вызов-письмо Борису. Сначала думали отправить к нему за разъяснениями Андрея. Но куда отправить, когда неизвестно, где он находится? Искать его не менее безнадежно, чем ветра в поле. Но выслушать надо его, а не Марка или Никитича: они могут знать дело с его же слов, и он нам более знаком и понятен, чем они.

И теперь он приехал по нашему вызову, осунувшийся, оттягивающий разговоры о деле до послеобеда.

А за обедом, между прочим, бросает:

— С каким удовольствием я осел бы теперь в таком городишке, как ваш, на отлете! Спустился бы, как прежде, в низы... И никаких тебе дрязг, грызни, переговоров, улаживаний — одно удовольствие! Даже хочется иной раз, чтобы арестовали скорее, чем вертеться, как сучий хвост...

— Что же случилось все-таки?

— Случилось наше июльское заявление.

— Писанное под диктовку редакции?

Борис краснеет и сердится, но тут же призывает себя к порядку.

— Если хочешь, да! Они все-таки обнаглели. Но другого выхода у нас не было, как нет его и теперь. Ты ведь помнишь майскую ситуацию: Дядько дал тогда платформу для примирения.

— Я тебе тогда же и говорил, что из этого едва ли что выйдет.

Борис рассказывает подробно, как на самом деле ничего не выходило из этого. Рассказывает картинно, с иллюстрациями, своим окающим ивановским говором. От Ленина к Плеханову или Мартову, от них опять к Ленину. Затем к российским коллегам и на места. И опять за границу.

— Мечешься, как угорелый, из конца в конец — там вставки, здесь поправки, тут недовольство формулировкой. Одна сторона больше вперед смотрит, чем под ноги, другая бесперечь оглядывается и запинается. На местах — работники перегоняют редакцию, но не поспевают за Лениным... И хотят так за него ухватиться, чтобы не потерять и Плеханова.

— А вы вместо того, чтобы места звать вперед, решили их придержать, пока догонит редакция — так, что ли?

— Она их никогда не догонит. Надо попытаться, вместо лобовой атаки, обойти противника с тыла. В его руках печать, заграничный транспорт — самое действительное сейчас оружие. И надо этих словоплетов обезоружить!

Полгода спустя, когда я подводил итоги своей работе в одиночке Лукьяновской тюрьмы в Киеве, теперешняя политика Бориса и русского ЦК так вырисовывалась.

Объективно, теоретически — это был кризис полуторогодовой практики съездовского большинства. Она вытекала из правильных установок старой ленинской Искры, строилась преданными учениками Дядька. И строилась умело, добросовестно, с увлечением, вопреки и в противовес послесъездовской новой Искре. Она собирала партию, сплачивала вокруг нее массы, воспитывала актив.

Успех получился блестящий. Партия впервые твердо опиралась на широкие рабочие массы, располагала большой рабочей армией. Сплошной, непрерывный рекрутский набор — сплошной праздник партийной строительной практики.

Но когда армия непрерывно и обильно пополняется новобранцами и кадровый состав в ней уже тонет — это сырая армия. Она не знает воинского устава, утрачивает способность быстрых мобилизаций, быстрой перестройки в боевые колонны.

Увлечение рекрутскими наборами загораживает необходимость обучения новобранцев воинскому уставу. В этом трагедия Бориса, Никитича, всего русского ЦК — в забвении организационных принципов рабочей классовой армии.

Дядько тревожно предупреждает сейчас же после второго съезда:

— Разногласия, разделяющие революционное и оппортунистическое крыло нашей партии, в настоящее время сводятся главным образом к организационным вопросам! Изучайте протоколы съезда!

Русский ЦК беззаботно отвечает:

— С этим еще терпит. Надо скорее наладить практику организации, организующие средства — технику, транспорт!

Дядько настойчиво указывает:

— Новая система воззрений в новой *Искре* есть оппортунизм в организационных вопросах! Торопитесь с размежеванием!

Русский ЦК, увлеченный успехами практики, досадливо отмахивается:

— Не система воззрений, а заграничное умничанье! В России хозяин положения—мы, большинство. Рабочие массы распирают именно наши организации. Нет сил для их освоения, нехватает литературы... Время ли умничать? Не лучше ли перенять в свои руки и технику меньшинства: это подчинит и самое меньшинство нашей, вполне себя оправдавшей, практике!

И русский ЦК начинает переговоры с меньшинством.

Дядько исчерпал меры товарищеского воздействия на своих ближайших учеников. Они, незаметно для себя, отходят от учителя в сторону его противников. Он с боем требует и начинает добиваться экстренного съезда.

Русский ЦК ставит ему ультиматум и форсирует переговоры с меньшинством. Не для предательства большинства, а для его вящего торжества—так он думает.

Раз лобовая атака затягивается, надо обойти противника с тыла,— говорит Борис.

Но говорят не даром, что хорошими намерениями мостится ад. И если во всякой ереси скрывается зерно истины, то, по законам диалектики, это значит, что и во всякой истине скрывается зерно ереси.

Постепенно и незаметно, блестящая революционная практика русского ЦК из средства сделалась самоцелью. И сейчас же выявила зерно убогой реакционной теории — примиренчества, переросшего затем в чистый оппортунизм: ставка на количество, на массовика, на осторожного рабочего-середовика, для которого самое ценное—практика.

Путь от старой *Искры* к *Искре* новой пройден был до конца.

Так рисовалось полгода спустя уже в киевской одиночке.

Но сейчас, когда мы разговариваем с Борисом в Самаре, это будущее полгода, богатое нашей новой практикой, еще скрыто от глаз и опыта. Сейчас в нашем разговоре преобладает не объективная, а субъективная логика. Мы разговариваем с членом ЦК, с которым близко знакомы и тесно связаны по работе: вместе ее начинали, согласно и дружно ставили, одинаково радовались удачам. И одинаково сокрушались, что наше влияние ограничено: южный транспорт и техника не в наших руках!

И меня не пугает мысль о вероломном захвате меньшевистской техники и меньшевистского транспорта. Наоборот. Весь полуторагодовой опыт и уверенность в своих силах всякие сомнения отметают.

Я только спрашиваю Бориса:

— Как относится к вашему заявлению Дядько?

— Он считает нас перебежчиками и требует нового съезда.

— И ведь он прав, Борис! У него чутье, как ни у кого другого—он на три аршина в землю видит.

Борис молча наливает себе стакан пива, по лицу пробегает и смывается тень, губы кривятся. Он молча осушает стакан и броском ставит его на стол.

— Конечно, прав... Теперь и мы это видим.

Он опять берется за пиво, потом раздумывает и ставит его обратно.

— В этом-то и наша беда, что мы видим свои тиски: не можем обратно брать заявления и не можем возражать против съезда.

И становится жаль Бориса. Жаль человека, которого близко знаешь, если он попадает в скверное положение. Он хороший товарищ и настойчивый, энергичный организатор. И, конечно, не перебежчик и не изменник. Он савантюрил, глупо, помальчишески савантюрил, потому что самоуверен и закусил удила. Теперь он сам это понял.

Но понять путаницу еще не значит из нее выбраться. Вернуться назад, к аннулированию декларации—значит дискредитировать все съездовское большинство, ударить по линии старой Искры, по Ленину. Тогда предательство было бы полным и не смываемым. И у него, как и у ЦК, один единственный выход—продолжать авантюру, пока она себя не исчерпает или не придет на помощь экстренный съезд.

А у нас, так называемых агентов того же ЦК, живших той же жадностью на практическую работу?.. Какой мог быть выход для нас?

Очевидно, как делили с ЦК его работу, приходится с ним делить и его горькую участь.

6

В конце декабря получено распоряжение из ЦК: должны немедленно выехать для работы — Андрей в Москву, Мирон в Киев.

Одновременно приехал в Самару мой сменщик—приказчичь-

его вида брюнет, вояжер по профессии. Паспортная фамилия Полуян, кличку ему здесь дали Хохол, потому что он с Юга и больше похож на еврея, чем на украинца.

Бывают люди, которые сразу не располагают к себе. И не является к ним доверия, нет желания подойти к ним ближе. Даже тройной смешливый пароль звучит формально и жестко. И трудно сказать, от которого из нас двоих исходит инициатива такой беспричинной отчужденности.

И мне не хочется сдавать ему дело, пропадает желание уезжать из Самары. Нет уверенности, что он сработается с нашей спевшейся группой.

Сдача происходит медленно и так же формально. Он чувствует это, хмурит густые черные брови, но никакого протеста не выражает. Непосредственной связи с типографией не оставляю ему — если понадобится, его введет туда Преображенский, который уже знает ее достоинства, недостатки и нужды лучше меня.

Накануне нового года мы с Андреем, разными путями и в разное время, пробираемся в типографию. У одного в карманах две бутылки вина, у другого печенье и фрукты и сладости для детишек. Товарищи замурованы там и редко кого видят. И нам хочется провести с ними последний дружеский вечер.

И как же они рады стать на пару часов просто людьми! К постоянному напряжению, в ожидании опасности, человек привыкает легко. Но это утомляет больше, чем самая работа. И какая-нибудь заурядная мелочь простого человеческого обихода представляется праздником.

Они уже настроились на работу. И наборщики закупорились в мастерской. Иван Павлыч козлом метнулся к двери и постучал, условно с оттяжкой. Дверь через некоторое время открылась.

— Кончайте, ребятки, новый год встречать будем!

— Один абзац остался, я уж донаберу.

Наборщик Гриша лют на работу и неукоснительно аккуратен. Он молчалив и скромен, хотя ему только двадцать два года. И выходит из наборной не раньше, чем оказался законченным последний абзац. Безусый, с застенчивой улыбкой, он напоминает домоседку-девицу. А между тем он большой сторонник вооруженного сопротивления на случай ареста. Высказывается за это так убежденно, и так верят в серьезность его слов, что, в силу товарищеской дисциплины, ему запрещают иметь при себе револьвер.

— Надо так сделать, чтобы они боялись подходить к типографиям!

— Чудак человек,— смеется Иван Павлыч,— ведь это себе дороже будет стоить.

Выплыла утицей наборщица Надя. Она ходит, как говорят бабы, последнее время и конфузливо надергивает кофточку на живот. Ее муж работает сейчас нелегальным в Казани и просит немедленно вызвать его, когда придет ее время.

Я перевожу с нее глаза на Ивана Павлыча. Он понимает и передает это понимание взглядом своей жене. Та кивает мне головой — значит, надо вызывать Надиного мужа.

Несмотря на уговоры товарищей, она продолжает работать. Но ее заставили все-таки сидеть перед кассой в старом обшарпанном кресле.

После нашего отъезда у нее родился ребенок. И скоро заболел. Типографский свинец сказывается не только на наборщиках, но и на их детях. Мать в отчаяньи. Другие, в стороне от нее, решают вопрос: как быть, если он помрет — отец и мать нелегальные, сын не крещен и ни в какие метрики не записан. Кто будет хоронить и как хоронить?..

— Придется, пожалуй,— говорит Иван Павлыч,— завернуть в посылку и забыть где-нибудь в вагоне на верхней полке...

Но ребенок обманул эти расчеты — неожиданно стал поправляться. И нависшая было над типографией беда и хлопоты миновали.

А сейчас, перед новым годом, никто не предчувствует и не хочет думать о том, что станет с ним завтра.

Ребятишки Ивана Павлыча решили проснуться сами, без приглашения. И торопливо одеваются, помогая друг другу.

— Мамуся,— тянет капризно девочка,— мне приснились... конфекты!

— Зачем врать,— наставительно бубнит толстогубый братишка: — мы оба слышали, как дядя говорил.

— Это ты слышал, а мне приснилось. А слушать нельзя. И говорить про это нельзя. Папа...

— Нельзя с полицейскими и жандармами... вот!

Им обоим вместе не больше дюжины лет, но они достаточно самостоятельны, чтобы иметь собственные мнения. Не даром же растут под вольным печатным станком.

Без лишних церемоний, не ожидая особого приглашения, они тащат к столу табуреты и подвигают к себе коробку с конфектами.

— Что вам всем пожелать? — говорит Андрей: — Работать в этом году без провала?

— Это мы выполним непременно,— откликается Иван Павлыч.— Только Гриша вот не хочет на этом мириться.

Гриша краснеет, потом хмурится и берет свой стакан.

— Без провала — пустяки!.. Революция будет, за нее вот и выпьем.

Его поддерживает и Надя.

— Показать им, что мы удумали?

Иван Павлыч смотрит на Гришу и Надю. Оба не возражают.

Они ведут нас в мастерскую. Там у станка стоит деревянная рама с натянутым железным листом. Она прислонена лицом к стене, как недописанная картина. Иван Павлыч повертывает ее от стены — совсем готовая вывеска. По белому фону красные буквы:

ТИПОГРАФИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
РСДРП

— На случай революции,— поясняет он: — сейчас же приладим над окнами!

— А на случай провала до революции?

— Она не ускорит его и не расширит. А сидеть нам с нею будет, конечно, легче. И работа вывески стоит!

Оказывается, писал вывеску сам Иван Павлыч, в промежутки между работой. Он не маляр по профессии, но кой-что смыслит и в этом деле, как и в некоторых других.

И у нас нехватает духу возражать против этого самооказательства в случае провала. Это не будет с их стороны шарлатанством: ведь на всех выходящих отсюда работах мы так и ставим: Типография Центрального Комитета. По листкам, заказываемым комитетами, по их шрифту все равно при аресте типографии это установлено будет. И она будет квалифицироваться под этой маркой.

А такое самооказательство может оказаться полезным самим работникам, в смысле общественного внимания в тюрьме и на суде.

Только глухой ночью, когда спят даже городовые и дворники на постах, мы простились с нашими друзьями. Простились, чтобы долго, а может быть, и совсем не увидеться.

И действительно не увиделись больше. Отечество слишком обширно. И революция, которую Гриша инстинктивно учуял, разбросала всех и еще шире, чем само отечество.

Через неделю простились уже и с Самарой.

ПОПАЛ В КУЗОВ — ОСТАВАЙСЯ ГРУЗДЕМ

1

Утром 10 января подъезжаем к Тамбову. На вокзале оживленная суета, расхватывают агентские телеграммы.

В чем дело?..

Вмешиваемся в сутолоку. Глаза быстро бегают по листку. Смотрим один на другого, как-будто спрашивая: что ты скажешь?

— Это революция, Андрей!

— Надо здесь остановиться — может быть, узнаем несколько больше.

Берем из вагона вещи, компассируем билеты и в гостиницу.

Вечером созываем комитет. Более полных сведений еще нет. Но и та скупая официальная передача, которая получена утром, говорит теперь больше, чем при первом чтении. Она явно преуменьшает события, явно скрывает размеры шествия и количество жертв. Винтовки против хоругвей, залпы по иконам — значит, слишком внушительной и угрожающей была сама мирно шествовавшая к царю рабочая масса. И царский прием — это слепой ужас перед ней, логически неизбежно претворенный в безудержную слепую жестокость. Манифестация превращается в революцию. Бунт на коленях — зародыш восстания. Вооружение иконами — обратная сторона баррикад. Бог и царь, расстрелянные войсками, по закону противоречий, завтра будут расстреляны самим народом.

Это дла всех, кто хоть немного думает о движении масс, совершенно очевидно.

Тут же, на заседении комитета, набрасываю в этом смысле призыв „Всем гражданам“: На улицу! На баррикады! Долой убийц, долой самодержавие!

Она одобрена комитетом. И член комитета Васильева непосредственно едет в Самару с письмом к Арцибушеву, чтобы отпечатать в нашей типографии.

В Орле делаем остановку, чтобы договориться с Иннокентием.

Он только-что из Питера. Участвовал на заводских собраниях в выработке петиции. Шел вместе с рабочими к дворцу. И подробно, по-деловому рассказывает и о собраниях, и о шествии. Массы выдвигали и готовили петицию как последнее законное средство, за которым уже все становится дозволенным. Они упорно не хотели, активно отказывались предусматривать возможность неприема ее царем. Это признак глубочайшего отчаяния и внутренней скрытой решимости итти до конца. И они шли на улицы, как на подвиг, уже убежденные в тайниках своего сознания, что получится то, что получилось. И теперь инстинкт стал сознанием бесповоротного выхода на дорогу новой истории.

— Это уже бесспорно, товарищи, революция! Массы опережают нас. Они уже требуют сейчас оружия, а мы к этому совсем не готовы. Только Дядько (и никто другой!) ставит этот вопрос теоретически и практически правильно!

Мы разговариваем в квартире родственников Иннокентия. Разговариваем не официально, по-домашнему. В такой обстановке всегда раздвигаются формальные рамки, человек становится искреннее, откровеннее.

И нам нужно установить правила своего поведения в новой установке, на новых местах.

— Борис слишком самоуверен на практике и недостаточно подкован теоретически,— говорит Иннокентий.— Я не верю в его захватнические планы и считаю ошибкой его расхождение с Дядьком. И он сам уже готов теперь бить отбой... Но это было бы уже не его личным скандалом, а политическим крахом ЦК. Надо испить чашу до дна и готовиться к экстренному съезду.

— И если бы хоть чаша-то была с приличным питьем...— с насмешкой над своей долей добавляет Андрей,— а то, ведь, уксус и иссоп!

Его открытое издевательство над собою — это скрытая тревога за всех нас, связанных между собою. Так же связывал меня с Козицким кушаком своим старик хохол около границы. После только-что развернувшихся питерских событий это особенно ясно. И особенно тяжело.

Съезд сегодня-завтра, несмотря ни на какие соглашения, и даже помимо и вопреки им, должен будет собраться. Его требует история, даже если бы не требовал Ленин. Голос Дядька это ее тревожный сигнал, предупредительный выстрел ее верного часового.

А мы?.. С Борисом, Иннокентием, Андреем, с ЦК? Связанные между собою и связавшие себя с теми, кто против нас и с кем бы должны вести борьбу?..

Мы в положении добровольного партизанского отряда, в тылу неприятеля. Отряда, не санкционированного партией, анархического. Мало того: отряда, не уверенного в том, что он нужен. Но и эта неуверенность в нужности — соломинка, за которую хватается утопающий. Потому что родилась в глубине сознания уже уверенность в ненужности, в преступности подобного партизанства.

Говорят, особенно настойчив и упрям человек в своих заблуждениях, а не в истине. Потому что заблуждения это его собственность, это он сам, а истина всегда приходит со стороны. И он тем упорнее себя отстаивает, чем больше у него уверенности в себе и в своих силах.

На другой день мы простились с Андреем на вокзале. Поезда наши были встречными и отходили почти одновременно в противоположные стороны, один на север, другой на юг.

— Я не уверен,— обмолвился он, вскакивая в вагон,— совсем неуверен, что мы поступаем правильно.

— Много хуже, дружище: мы поступаем совсем неправильно!

2

Первая встреча с „союзниками" уже не понравилась.

На явке, кроме Владимира, с которым мы должны были изображать дышло, оказался и Петр, в пару с которым поехал в Москву Андрей.

Они меня в первый раз видят. Но встречают настолько необычно любезно, что подозрение не могло не явиться, даже если его раньше и не было. Сразу же становится ясным: они только, что говорили о тебе или о твоем и опасаются, что ты их последние, не предназначенные для тебя, слова слышал. И нарочито шумная, радостная встреча должна в твоих глазах прикрыть их заговорщицкую о тебе беседу.

— Мы вас очень ждем,— изображает на лице радушие Петр,— у нас только-что развертывается работа, и вы такой опытный работник! Мне уже нужно быть в Москве, но задержался, чтобы лично переговорить с вами.

Высокий и верткий, как угорь, он придвигает мне стул и сразу же приступает к делу.

Они уже что-то установили между собою: Петр говорит уверенно за обоих потому, что Владимир согласно молчит.

И это что-то, о чем Петр не упоминает, отдается в моих ушах, как инструкционные указания какого-то центра. Но не того центра, который меня сюда послал.

— У меня уже есть инструкция,— отвечаю,— и сейчас я считал бы нужным только ознакомиться с положением в районе. Увязка будет производиться на практике.

Петр понял. И, как человек достаточно хитрый и изворотливый, не настаивает на взятом им курсе.

— Конечно же так. И поскольку нам с вами придется увязывать практику в общероссийском масштабе, постольку я считал бы полезным сейчас выявить основные моменты.

Опять общероссийский масштаб! Это дело ЦК, Бориса, Марка, а не Петра. Чего он с этим масштабом лезет?

Он незаметно перебрасывается взглядом с Владимиром, который продолжает молчать. И я начинаю улавливать: он будет говорить об общероссийском масштабе не для меня, а для него. И Владимир будет понимать это, как директиву. А потом, когда возникнут по этому поводу недоразумения, они вплетут и меня: вместе решали.

— Я так понимаю,— говорю Петру:— мы с Владимиром будем здесь работать в масштабе южного района. Вы же, поскольку мне известно, в пределах северного. Общероссийский же — компетенция ЦК.

И в дальнейшей беседе упорно и сознательно держусь на этой узкой, местной позиции. Он еще несколько раз пытается завуалированно подходить к обобщениям. И каждый раз встречает упрямое указание на свой северный район.

— Районы слишком не одинаковы, чтобы обобщать. Надо посмотреть, что здесь имеется, и тогда будем с Владимиром говорить. Я мог бы многое рассказать вам о Севере, но думаю, что это сделает на месте Андрей.

Было уже ясно, что добрыми наши отношения ни с Петром, ни даже с Владимиром, который пока не вмешивается, не станут. Я слишком привык ориентироваться в работе самостоятельно и без указаний. И ехал сюда не за тем, чтобы приспособлять себя к каким-то чужим, неизвестным мне, планам. Здесь Петр прошибся немного, перехватил.

Владимир солиднее и сдержаннее Петра, больше наблюдает, чем высказывается. И его серые выпуклые глаза одинаково внимательно останавливаются и на Петре, и на мне. Иногда он как-будто хмурится, когда Петр в своих претензиях перехватывает.

И когда разговор был окончен и Петр простился с нами

совсем, чтобы ехать в Москву, Владимир делает без него попытку исправить оставленное им дурное впечатление:

— И чего он такое болтает, этот Петр? Какое ему дело до всего этого? Какая-то мания величия у человека!

Ссылкой на личный недостаток Петра он хочет замазать наличность их сговора. И его добродушно-товарищеская откровенность сейчас со мной изобличает уже и его самого. Попал товарищ Мирон в кашу, которую, по праву, должен бы хлебать Борис.

И, вместо работы, приходится прежде всего искать своих людей, на которых можно было бы положиться. Искать заручку и поддержку, чтобы не чувствовать себя заложником в лагере неприятеля.

Толкнулся в южное оргбюро — Дубровинская и Феня с Карповой. Так по горло заняты уловлением связей, что им не до нашей техники. Они не доверяют Владимиру и обещают все технические дела вести только через меня. А в остальном прочем предоставляют мне полный простор и самостоятельность.

В транспортном аппарате оказался большевиком только Борис Леонтьев. Но и он был в загоне и у Владимира на плохом счету.

И волей-неволей приходится искать штат на стороне. И искать, не откладывая, прежде, чем навалится на тебя работа. Потому что тогда уже поздно бывает думать о своей, какой-то особой линии: логика вещей может смять, завалить твои планы, и всякие твои замыслы могут полететь к чорту.

И естественное сожаление о Самаре наталкивает на естественный вывод. Не раздумывая долго, вызываю оттуда Елену и Чорта.

Теперь собственный тыл как-будто уже обеспечен, хотя они еще не приехали и не завтра приедут. Но становится спокойнее. Можно знакомиться с работой и устанавливать нормальные деловые отношения.

3

И нужно отдать справедливость Владимиру. Он не пытается втирать мне очки относительно состояния дел. Достаточно умный, чтобы правильно их оценивать, он предпочитает сразу же показать товар лицом, не замазывая.

— Вы думаете, мы что-нибудь имеем? Мы ничего не имеем. Петр бессовестно врал, когда говорил вам о типографии. Вы увидите, что это такое.

Это тоже политика своего рода: что нельзя скрыть, о том выгоднее говорить откровенно, даже с некоторой долей цинизма и издевательства над собой.

— И наш аппарат... О, советую очень посмотреть наш аппарат. Кузнечики, а не работники — вот что такое наш аппарат!

И сначала кажется, что он преувеличивает недостатки, чтобы польстить тебе и поселить доверие к себе. Но, по мере ознакомления, оказывается, что он не все договаривает: многое даже хуже, чем он хочет представить.

Кстати приехали Абрам и Зоя, на попечении которых находится районная типография. И Владимир делает попытку свалить это сокровище на меня.

— Пожалуйста, вы с ними поговорите. И пожалуйста, проберите их — они меня не послушают.

— Почему они меня послушают? И за что я должен их пробирать?

— Да не работают же они, сучьи дети. Деньги только сосут!

— До сего времени они их брали у вас,— отшучиваюсь ему в тон,— вы с ними и разговаривайте. А я уж сегодня послушаю.

И послушать, оказывается, было что.

Эту типографию ставили уже несколько месяцев где-то в Могилеве или около. Была и машина, и шрифт, и все прочее. А она все-таки не работала. Ежемесячно приезжали оттуда, уславливались подробно о характере и порядке работы. Получали материал для печатания, брали деньги и уезжали. В следующий приезд оказывалась там какая-нибудь неудача, вполне допустимая и возможная, стало быть, и вероятная. Но работы не было, люди жили и расходы шли, значит — деньги все-таки опять нужны. Через месяц та же история — новые объяснения, снова деньги, и так далее — сказка про белого бычка.

— Когда же у вас, наконец, будет работа?— спрашивает Владимир.

— О, за работой дело не станет — все готово уже... если бы не эта шайба! Шлессер нужен. И вот увидите, что это за работа будет!

— Еще не работали, а уже слесарь нужен?

— Потому и не работали. Шайба — пустяковое дело, а без нее хлябать на ходу будет, звенеть... Слышно. Разве это возможно, чтобы слышали в таком деле? Большое, великое дело — его нельзя такими пустяками проваливать!

Абрам — рыжий, вихрастый — так и сыплет словами, словно

горохом. Как-будто на базаре торгует и распинается перед покупателями, пытаясь им всучить заведомо негодную вещь.

Но главною в этом предприятии считается Зоя — Абрам подручный. А она сидит и слушает равнодушно и даже тупо. У нее такие же тяжелые волосы, как у Ирины. И пустые коровьи глаза. Иногда смотрит на Абрама по-хозяйски, как мельник на батрака, и как-будто направляя его разговор. Но что она в это время думает, этого угадать невозможно.

Мне хочется ее вызвать на разговор.

— Скажите, как она законспирирована, ваша типография?

Она удивленно поднимает брови, немного думает и искренно, густым голосом отвечает:

— Я не понимаю, что вы спрашиваете.

— Ну, где стоит ваша машина — в подвале, в комнате? Кто там живет?

— Мы живем... моя кузина, ее семья, много всех. Квартира большая.

— А когда вы будете работать — это не будет на улицу слышно?

Но отвечает уже Абрам, а она ему не мешает, принимая прежнее апатичное положение.

— Слышно? Почему слышно? Там же чулочные машины! Шум такой — лучшее место трудно найти.

Мне хочется напомнить ему его опасение за хлябанье шайбы. Но становится слишком уж скучно. Пусть продолжает это дело Владимир.

Заключение разговора обычное:

— Деньги 125 рублей на дело и 25 на слесаря.

Даже Владимир выпучил глаза.

— Это за шайбу-то двадцать пять!

— Если бы свой шлессер был, тогда ничего не стоило бы. А этот рискует.

— Чем рискует?!

— Могут замести, когда обнаружится.

Владимир обернулся ко мне, все еще с выпученными глазами.

— Как вы думаете?

— Думаю, что эту типографию выгоднее подарить им совсем в полную собственность.

На мой взгляд, это был самый неприкрытый шантаж. И виноваты, конечно, не столько Зоя с Абрамом, сколько организаторы и руководители. На типографию и обстановку затрачено уже много сотен рублей. И никто там ни разу не побы-

вал «из конспирации», никто всей обстановки не видел. И мещанская семейственность этим пользовалась и распоясывалась.

Чтобы не брать на себя ответственности за дальнейшее, соглашаюсь дать им еще последний раз 50 рублей. С тем, однако, что без выполнения поручаемой им сейчас работы они могут не затруднять себя приездом сюда: машину и принадлежности мы возьмем от них сами.

4

Познакомился с Сидоровой Козой. Кто ему привязал такую кличку — неизвестно. И почему именно Сидорова Коза, когда он больше походит на захудалого часового мастера?

Это инженер-технолог Я. П. Пономарев. Не тот Пономарев, который был у нас в Смоленске и арестован в Киеве. А совсем другой, занятый здесь опытами по цинкографии. Большие на выкате глаза, щетинистые усы, и на голове котелок.

У него idée fixe — найти способ разгрузки границы от транспорта литературы в корзинах, чемоданах, посылках. Это громоздко и канительно. Много требует времени, дорого стоит, и частые провалы. Правда, пересылают оттуда иногда матрицы и с них здесь отливают стереотип. Но это требует здесь тоже много приспособлений и не менее сложно, чем постановка приличной подпольной типографии.

Если же усовершенствовать способ перевода печатного экземпляра за границей на цинковую пластинку, то с нее непосредственно можно в России уже печатать без всяких стереотипов.

— Вы подумайте, какая колоссальная выгода! И от скольких провалов мы избавимся!

Он живет по-студенчески, неуютно, заброшенно. На единственном большом столе сосредоточена вся его лаборатория. И тут же его столовая, или, вернее, закусочная: чайник, бензинка, корки хлеба, обрезки колбасы.

Единственное удобство — большая изолированная комната-квартира, с отдельным ходом прямо с площадки лестницы. Она сдается непосредственно домохозяином и имеет водопроводный кран. Но у Якова Петровича она приняла характер сарая или логова — безалаберно, пыльно, метется не каждый день.

И сам он какой-то нездешний: в комнате, как на улице, в сюртуке и котелке — всегда копошится у стола, что-то варит, переставляет, подмазывает. И любит говорить о своих достижениях. И всегда недовольно ворчит на Владимира.

— Нужно вот теперь всего 15—20 рублей каких-нибудь, чтобы проверить, кой-какие препараты приобрести. Не дает, сквалыга этакий!

Он постоянно клянчит у Владимира грошами, а тот постоянно оттягивает.

— Какой чорт у него может получиться? Ничего не выйдет: зайцы у него в голове!

И Яков Петрович постоянно куда-то бегает, что-то по мелочам в аптеках и магазинах приобретает, что-то усовершенствует на своей цинковой дощечке.

И у него хорошо иногда отдохнуть вечером. Можно не разговаривать — он не претендует на это. И сам за работой не особенно разговорчив. Но когда говорит, то всегда с хитрецой и добродушной издевкой. Это часто бывает, что добрейший и бесхитростный человек напускает на себя хитрецу, чтобы не видели его доброты.

С Яковом Петровичем видимся чаще, чем нужно. Дело в том, что у меня нет квартиры. В промежутках, между делом, ищу, и не попадается: хочется найти такую же, как у него, чтобы не шлындать через хозяев.

И на каждую ночь приходится искать ночлег. Через пензенского Росселя нашел здесь его приятелей, профессоров политехникума. Один из них, строитель Нагорский, живет около самого института, почти за городом. Другой, химик Чижевский — на Безаковской.

Приставал первое время поочередно у них. Люди добродушные, разговорчивые, без претензий. И — приятное с полезным — Нагорский взялся сконструировать дешевый печатный станок. Чижевский предлагает услуги в области химии. Надо попытаться помочь Сидоровой Козе.

И дал еще одну ночевку Владимир — в народном доме у студента Воинственного.

Так и болтаешься — туда или сюда, смотря по тому, где ближе застанет ночь. Чаще у профессоров, реже у студента и совсем редко у Сидоровой Козы.

Владимир не спрашивает, где я живу. Думает: молчит — значит, устроился. Говорить ему значит намекать на содействие, рекомендации, значит обязываться. У меня нет желания у него одолжаться. Еще менее желания близкой увязки, хотя бы и через квартиру. Первая беседа с Петром отдаляет нас друг от друга. Мы мирно, согласно решаем наши практические дела, не спорим, не ссоримся, не дуемся один на другого. Но так же согласно, без всякого сговора, не обсуждаем прин-

ципиальных вопросов. И у меня нет желания, как и у него, вероятно, узнать его ближе, как он и чем живет вне работы, с кем знаком, видится, разговаривает. Мы остаемся чужими, хотя всякий на явке со стороны сказал бы, что мы друзья.

Побывал у загнанного большевика Леонтьева. Он деятельный работник, но чем-то напоминает Сидорову Козу. Тоже хитрецу напускает, хотя и не так прост.

Повел меня в чулан показать устроенное им там хранилище литературы. И когда туда вошли, осторожно и тщательно запер дверь, хотя поблизости никого не было. И уже до самого конца осмотра говорил шопотом и даже в самое ухо.

В хранилище, оказывается, давно лежит без движения литература.

— Почему в засолке?

— А вот спросите их,— шипит он в мое ухо.— Слишком, очевидно, деятельны!

Это по адресу Владимира.

Владимир тоже отзывается о Леонтьеве с раздражением. Фракционная ли это обоюдная грызня или персональное недовольство?... Приходится разбираться и в этом.

И так завидуешь теперь тем, кто непосредственно работает с массами. Нет постоянной настороженности, взаимных подсиживаний, интеллигентской грызни. Жизнь дает непосредственный, сырой материал. Он сам комбинируется по свойственной ему логике. И ясные, жесткие, без выкрутас выводы.

Неожиданно сегодня встретил на улице Стернина Гришу. Он только посмотрел на меня, сделал знакомые глаза и прошел мимо. Этот умный, талантливый юноша-рабочий жил у меня некоторое время в Смоленске, пока ему готовили паспорт. Потом я обрядил его в свой костюм и проводил на работу. Слышал затем, что где-то он провалился. И теперь его оригинальное поведение при встрече указывало ясно: бежал.

Увиделись на явке. Здесь уже можно не конспирировать. Оказывается, только-что из Елизаветграда, сидел в тюрьме. Тюрьма древняя, обросла мохом, как турецкая крепость в Каменце. Камера глядела прямо на поле. Передали ему пилу, сломал решетку, ушел.

Рассказал коротко, ясно, по-деловому.

— Как с расколом?— спрашиваю.

— Я сейчас в Питер поеду, с рабочими побалакаю... Тогда и раскол не страшен.

5

Приехала из Самары Елена. Ввел ее в курс дел, познакомил с Владимиром. И предупредил:

— Нужно смотреть в оба — здесь не Самара.

Она человек наблюдательный и настойчивый. Поняла сразу и в пару дней сосредоточила у себя канцелярию.

Теперь уже можно и отлучиться, знакомиться с районом. Когда явится Чорт, будет совсем хорошо.

Решил выгрузить Леонтьевское хранилище и ехать по району. Сначала в Екатеринослав и Одессу, тем более, что их запасы не так велики. Разделили пополам.

Проснулся перед Екатеринославом, взглянул на полку: мой маленький кожаный саквояж для Екатеринослава исчез. Заглянул в углы, наверх, под скамейку — чисто.

— Али чего нехватает?

— Да, саквояжа.

— Ну, в Пятихатке это. Там завсегда так — вор народ! А что было-то?

— Пустяки — пара белья да полотенце с мылом.

— Заявить надо. Да, ведь, не найдут, поди ж.

Пришлось выделить из одесской доли. Было не по себе и досадно.

А через пару недель приехали в южное бюро из кременчугской организации и потешаются:

— Если бы не воры, от вас еще полгода ничего не видели бы. Чемодан они себе оставили, а литературу до листочка нам сдали.

В Екатеринославе проехал прямо в гостиницу. И когда сдал уже паспорт и выходил из номера по делам, натолкнулся в коридоре на околоточного.

— ... в случае чего, немедленно докладывать!

Это он разговаривает с коридорным. Вспоминаю, что завтра 19 февраля — беспокойство полиции вполне естественное. Значит, я должен был бы привезти с собой листки, а мысль о них приходит в голову только сейчас.

На явке заминка. Она кажется случайной, недисциплинированной, со мной не знают, что делать. Вместе с адресатом явки, в переднюю вышли две девочки и с любопытством разглядывают и прислушиваются. Как-то по-домашнему получается, слишком уж неорганизованно. Плохой признак, плохая рекомендация местному комитету.

— Я не знаю, где он теперь, — говорит адресат явки. И обра-

щается к вышедшей на разговор жене:— кто теперь у них там, ты не знаешь?

— Раньше он жил...— следует название улицы,— может быть, и теперь еще там?

После некоторых размышлений дали адрес.

— Если не он сам, так во всяком случае укажут.

По данному адресу попал в рабочую квартиру, в стороне от центра. Направили за перегородку к черноусому человеку. Полутемная боковушка, простой стол, два табурета, кровать.

Говорю пароль, он отвечает — значит, правильно. Но и здесь такое же впечатление, как-будто не знают, что со мной делать, как-будто это слишком необычно для них.

Говорили шопотом. Излагаю, зачем приехал, говорю о необходимости дальнейших подобных сношений. Спрашиваю, как им передать то, что привез.

— Да... это очень хорошо. Вы принесите сюда.

И, заметив недоуменный мой взгляд, конфузливо добавляет:

— Это ничего. Сейчас у нас нет другого места. Потом мы условимся.

Назначили послеобеденный час. И когда я принес все на себе, аккуратно разложенное вокруг тела, под жилетом и по карманам, он оказался уже не один. Человек пять молодых рабочих сидели и стояли вокруг стола, сблизившись головами. И говорили шопотом, так же, как говорил он раньше со мною. Какое-то совещание.

Тут же на людях, отвернувшись, пришлось разгружаться и складывать на постель под одеяло.

Судя по обстановке приема, слабо организованной и мало дисциплинированной, попал к меньшевикам. Но по тому, что уделивает ухо со стороны сгрудившейся у стола кучки, можно сделать, пожалуй, и другой вывод. Потом объяснилось, что последние аресты совсем обезъинтеллигентили организацию. И малоопытные в конспирации рабочие должны были взять все на себя.

В Одессе явка направила к помощнику присяжного поверенного Андроникову.

Маленький, бедноватый не кабинет, а кабинетик начинающего. Но в нем все-таки приходится ожидать, как это принято и у адвокатов уже солидных. Должно быть, это профессиональный прием — заставить клиента немного ждать: поднимает авторитет, а за одно и цену. Странная только небрежность: в корзине для бросовых бумаг, под столом, смятая в

раздражении Искра. И свежая на вид, не зачитана, не затерта.

Входит совсем молодой человек — рыжеватая небольшая бородка — быстрый, сосредоточенный.

Обмениваемся паролями. Излагаю свою миссию и цель приезда. Он даже не находит нужным сдерживать раздражения.

— Плехановские благоглупости? Благодарим покорно. Вот! — и показывает на Искру в корзине: — посвежее чего-нибудь, милости просим.

Приходится, значит, договариваться определенно и ясно, без недомолвок.

— Распространяете ли вы свою характеристику и на предсъездовскую литературу определенных авторов?

— Этого, положим, не требуется. Но вот это... — опять жест под стол, — это, чорт знает, что такое! Мы совсем не желаем развращать рабочих.

Договорились, что Одесса будет получать через нас Искру в минимальном количестве — для информации.

И на обратном пути у меня уже есть материал для размышлений.

До сего времени так остро вопрос о характере литературы перед нами места не ставили.

Север и Поволжье получали и распространяли все, что присылалось, в одинаковой мере и пропорционально запросам. Присылали же из Баку и с германской границы. И там, и тут послесъездовское, явно меньшевистское корректировалось.

И не было противоречий с запросами массового движения. Оно знало, с чего начать и что делать. Оно развертывалось и вливалось в русло старой Искры. Массовая тяга к коллективной активности, без споров и разговоров, претворялась в практическую классовую политику. Для фракционной грызни не было почвы. И фракционная борьба доносилась туда лишь издали, отголосками. Она временами даже казалась ненужною, лишнею.

Здесь, на Юге, обстановка иная и иная картина. Теперешние меньшевики сильны были здесь и до съезда. Но сила их была не в них самих, а в их подчинении принципам старой Искры.

Теперь они стряхнули с себя эти принципы. И рабочие массы, твердокаменные по природе своей, не могли не обнаружить подлога. Они не могли примириться с академическим шамканьем новой Искры, когда усложнившаяся жизнь требовала отчеканенной, твердой классовой политики.

И фракционная борьба здесь не отголосок заграницы, а

продукт собственного рабочего творчества. Если в Одессе говорят: „или вы дайте нам то, а не это, или вы нам не нужны совсем“, то это не адвокат Андроников говорит, а те кружки и организации, в которых он черпает свое раздражение. И Одесса не одна: в таком же положении Ростов, а завтра окажется Екатеринослав.

И здесь уже поздно мирить, когда фактически раскололись. Да и нужно ли мирить вообще?..

Но одно сейчас ясно бесспорно: путь захвата, о котором, может быть, думал Борис,— нелепость и авантюра. Ничего, кроме стыда и конфуза, не даст. И окончательно поссорит с рабочими.

Да и что, собственно, захватывать?.. Пограничные пункты, которыми ведает Рыбак? Они же пропускают лишь послесъездовскую принципиальную путаницу. Кому она нужна?.. Или захватывать транспортный аппарат, о котором пренебрежительно отзывается даже Владимир,— „кузнечики, а не работники“!.. Никакого захватного переворота с ними произвести невозможно.

Остается одно: использовать свое нахождение здесь для обоснования собственного большевистского транспорта, провести сюда отвод от Баку и с германской границы.

И нужно немедленно ехать в Москву, выяснять положение.

6

Мысль стройнее и легче укладывается в схему, чем конкретная действительность. И если бы думать приходилось только пост-фактум, куда меньше было бы всяких разочарований.

Поездку в Москву пришлось отложить сейчас же по возвращении в Киев. Только-что приехал оттуда Михаил Мироныч (младший Лядов) и сообщил об аресте ЦК у Леонида Андреева. Вместе с ЦК сел и Андрей...

Все непосредственные связи с центром оборвались разом. Оторвало тебя, как неоснащенную шлюпку от парохода — без весел и парусов. Выплывай, как знаешь.

Остался Никитич, которого я совсем не знаю. Да его уже, конечно, сейчас в Москве не найдешь. И остался Марк, уже севший в тюрьму до этого.

Не с Петром же, в самом деле, там разговаривать!..

И новый удар: беда, говорят, не приходит одна — арестовали Бориса Леонтьева. Здесь вина Владимира: по лени или еще

почему, в мое отсутствие не подготовил нейтральной квартиры для транспорта. Леонтьев получил его и привез к себе. И в ту же ночь его замели вместе с корзинами.

А с ним и последняя местная заручка своя исчезла. Один. Все еще без квартиры. Значит — на улице. Естественная мысль: пойти на вокзал, взять билет до Смоленска или Самары — на розыски старых связей и нового дела...

Но в некоторых случаях — у осла, например — ум заменяется с успехом упрямством.

Уезжать? Не значит ли это бежать от трудностей? Спрятаться в кусты, не попытавшись обороняться? Въехал сюда чуть ли не на коне, а ускакал зайчиком!.. Владимир ничего не потеряет, а только выиграет.

— Это, брат, не модель! — сказал бы Буянов: — раз попал в кузов, оставайся груздем, а не напрашивайся в поганки.

И ведь нужно же было так случиться: в самую черную минуту, сегодня приехал Чорт. Обрадовал, можно сказать, сверх головы.

— Ну, друг, если бы сегодня ты не приехал, пожалуй, сегодня же я бы уехал. А теперь давай выплывать вместе.

— А в чем дело? Я могу хоть сейчас снова в вагон.

Он выглядит совсем вояжером. Андрей, перед выездом из Самары, подарил ему свое заграничное пальто. А в пути Чорт запасся и вояжерским чемоданом. И теперь готов ехать куда угодно, с места в карьер.

— Сегодня ты отдохни, а завтра с утра говорить будем... на свежую голову.

Утром сошлись втроем — с Еленой и Чортом.

Изложил им все, чему здесь научился и что увидел. Указал на щекотливость и двусмысленность нашего положения. На трудность из него вывернуться, когда оборваны связи и нет в центре заручки. И поставил вопрос ребром:

— Остаемся и изворачиваемся или уезжаем отсюда?

— Надо пытаться, — говорит Елена: — уехать и дурак сможет. Да и время для этого не упущено — уехать всегда успеем!

Она упряма и настойчива. И к делу подходит всегда тихой сапой. А Чорт всегда быка за рога берет, с налета.

— В чем разговор? Разве не изворачивались часто в Самаре? Почему здесь надо отступать?..

Решаем пытаться. Ставим ставку на тихую сапу. Чорт немедленно едет в Псков, по моим старым связям. Там Сигарыч уже выпущен из тюрьмы. И там рыжий, большой почтовик Пчела. Через них надо устанавливать связь с германской гра-

ницей — Пятница, Папаша, Сюртук. Может быть, привезти оттуда транспорт. И попытаться узнать о Никитиче...

— Когда вернешься, нужно будет поехать в Баку. Но об этом тогда и говорить будем.

— Есть! — говорит Чорт по-матросски и щелкает каблуками.

Он вернулся через неделю. Нашел все, что должен был найти. Даже больше. Он нашел Никитича в Питере, говорил с ним. Никитич одобрил наше решение. Обещал ускорить посылку с немецкой границы. Дал ему накладную на получку в Пскове. И дал связи в Баку.

Умный и осторожный Чорт не повез с собой полученный в Пскове груз, а просил переотправить его в Елисаветград большой скоростью. И квитанцию отправил в Киев почтой.

Теперь мы можем быть спокойны — относительно, разумеется. И чувствовать себя равной стороной. С Владимиром живем пока дружно, т. е. дипломатически дружно, потому что доверия к его лойяльности у нас уже нет. И, наверное, он отвечает нам той же монетой: неглупый и достаточно хитрый, он не может не уловить сути взаимоотношений, по отдельным непроизвольным фразам, жестам, брошенным вскользь взглядам другого.

7

Накладная, посланная Чортом из Пскова, получена. Едем с ним в Елисаветград снимать груз.

Оттуда он направится в Ростов, Екатеринодар, Владикавказ. И проедет в Баку. Я возвращусь в Киев, чтобы направить отсюда кузнечиков с второй половиной груза по ближайшим организациям.

Чорт, как заправский вояжер, останавливается в гостинице. Я пытаюсь обладить дело с квартирой — для себя и для получки.

Местная организация — примиренческая. И, может быть, поэтому слишком бедна и средствами, и квартирами. Но в организации есть ветеринар — чуть не единственный работник, располагающий буржуазными связями. Если захочет, то может найти и квартиры, и деньги.

— Но он едва ли захочет...— сомневается девица, с которой мы разговариваем.

— Почему?

— Он отрицательно относится к примиренчеству. Но я вас могу с ним познакомить.

Она ведет меня к ветеринару. И вспоминается по дороге

кабинет одесского адвоката и смятая в мусорной корзине новая Искра.

Благообразный человек, молодой сравнительно, солидного вида. Встречает сухо, но вежливо. Очевидно, напрасно пошел с девицей, а не один. И она, как добросовестный посредник, не считает возможным оставить нас вдвоем. И ведь она же все-таки член группы...

Излагаю в двух словах свои надобности.

Лицо замкнуто. Слушает для проформы, даже, можно сказать, полуслушает. И как-будто думает про себя: „напрасно изволите трудиться“.

И когда кончаю, сразу же отрубает:

— Не могу. Эти затеи Петра мне не нравятся.

Петр перед этим работал здесь. И у него с ветеринаром были постоянные, обостренные стычки. Может быть, и на принципиальной почве.

— Ни сантима!

— Даже, если транспорт провалится из-за этого?

— Ничего не могу поделать.

— А квартиру?

— Вы лично можете располагать моею — других у меня в распоряжении нет.

Если бы не девица!.. (Она смотрит на меня, как-будто хочет сказать: „я ведь говорила?“) Я мог бы ему рассказать о своей первой встрече с Петром и о нашем к нему отношении. Мог бы раскрыть свои карты. И, может быть, мы столковались бы, как столковались с одесским адвокатом.

Но не все можно говорить открыто, даже с товарищами, близкими по работе.

Пришлось получать прямо в гостиницу. И, может быть, потому именно и сошло благополучно, что делали это открыто и самоуверенно. В Пскове не перепаковали, а переотправили так, как пришло туда. Упаковка оказалась громоздкой и плохой. Переотправка не улучшила ее качества. И зная это заранее, пожалуй, не рискнули бы и получать.

Перепаковали, уложили, разъехались. Из Киева кузнечики повезли в Полтаву, Харьков, Чернигов.

Все тайное и скрываемое со временем становится достаточно явным и обнаруживающимся.

Мы начинаем плести интригу против Петра и Владимира. Они давно уже, повидимому, плетут ее против нас.

Я коротко рассказываю Владимиру о маршруте Чорта, умалчивая о Баку и разговоре с ветеринаром.

Он соглашается с правильностью, но, видимо, его задевает отсутствие подробностей и накладная, полученная из Пскова, без согласования с ним.

И переходя к очередным делам, он, как-будто вскользь, не придавая значения, бросает:

— Этот сукин сын Петр взводит на вас какую-то чепуху. Вам нужно к нему поехать и выругать.

— В чем дело?

— О каком-то письме в Самару идет речь.

— Какая речь?

— Чушь какую-то болтает, я и не разобрал — зашифровано скверно.

Говорит не все, чего-то не договаривает. Из дополнительных вопросов начинаю понимать. Речь идет, очевидно, о письме с прокламацией из Тамбова в Самару. Оно не было зашифровано и передано непосредственно Арцибушеву. Передавал надежный человек, член комитета. В чем дело?.. В несоблюдении конспирации?..

Из рассказов Елены и Чорта я уже знаю, что письмо и прокламация были получены. Но Хохол, которому она была передана для типографии, забраковал ее и сдал в нелегальную типографию вырезки из легальных газет. Ахнул Преображенский, ахнул и Арцибушев. Очевидно, полетели жалобы в Москву на Хохла. И, очевидно, Петр, не желая выдать Хохла, отводит претензии в мою сторону. А, может быть, даже желает и избавить южное бюро от моей особы.

Во всяком случае, раз поползли какие-то разговоры, их необходимо выяснять немедленно. Подпольное распространение имеет свою отличительную особенность: ему больше верят. Для идей и литературы это хорошо. Для персональных репутаций гораздо хуже.

— По вашему, ехать? — спрашиваю Владимира.

— Я бы поступил так.

Значит, ему желательно, чтобы я выехал. Зачем это ему нужно? Что он намерен без меня предпринять?...

Договариваюсь с Еленой, чтобы смотрела в оба — явки и адреса из рук не выпускала.

И через день в Москве.

Встретил Петра около явки. И не узнал сначала: в Киеве тогда он был бритый брюнет, а теперь — рыжая борода.

На явку вместе вошли. Чрезвычайно любезен, выражает большое удовольствие моему приезду — верный признак, что имеет какую-то пакость.

— Хотел вас вызывать телеграммой, так было нужно!

— О каком письме в Самару вы сообщили Владимиру?

Смутился от неожиданности, даже покраснел.

— Зачем он вам сказал? Я потому и написал ему лично, что не придаю значения. Но просили расследовать.

— Разве клевета перестает быть клеветой, если о ней пишут в личных письмах? И расследовать заглазно?

Длинно и путанно, в несвойственном ему тоне, рассказывает о письме из Самары к нему.

— От Хохла?

— Н-нет, из бюро.

И разве можно доказать, что это не так, раз письма, немедленно по прочтении, уничтожаются?

Излагаю дело, как оно было. И предлагаю запросить от Арцибушева подтверждение, а до тех пор от кривотолков, хотя бы в личных письмах, воздержаться.

— Да вы сами продиктуйте ему письмо, и немедленно же отправим.

Тут же сидит и слушает секретарь Петра — Рауль, или иное, вроде этого, рыцарское имя. И мы вместе с ним запрашиваем старого Сатану. Было ли потом отправлено это письмо, не знаю. Впечатление о рыцарстве секретаря исчерпывается в моей памяти его именем. О том, что этот рыцарь стал потом Кибриком и членом меньшевистского ЦК — узнаю только впоследствии.

О деле, по которому Петр хотел меня вызывать телеграммой, он промолчал, я не напомнил.

И уехал обратно без никаких разговоров, почти не простившись.

8

Новая присылка в Киев из-за границы. Удивительно нелепая постановка: получать там, где база самой организации. Это и значит — рисковать провалом целого вместо части. И посылки на Киев, старое бунтарское гнездо, да еще от границы, из маленьких городков и местечек... Немудрено, что в Киеве не проваливается редкий транспорт.

С этим поднял борьбу с самого начала, и уже даны были адреса на Полтаву, Харьков, Елисаветград. И вот опять сюда! И опять „домашние вещи", — значит, скверная корзина, скверно упакованная, чуть не торчат сквозь щели уголки книжек. Перед этим уже провалились два транспорта, сел Леон-

тьев. Очевидно, нужно принимать при приемке какие-то необычные меры.

Иду к Деду — киевскому старожилу, лидеру местного комитета. Он меньшевик и знает, что я не разделяю его точки зрения. Но мы с ним знакомы с прошлогоднего моего проезда через Киев из Каменца. И в помощи мне он никогда не отказывает.

Придумываем с ним план: Икс получает груз, а Игрек смотрит, насколько это получение проходит благополучно. Квартира известна заранее. Если обнаружится слежка, то Игрек — наблюдающий, обусловленным способом, предупреждает Икса — получателя. И этот последний везет груз мимо намеченной квартиры, к намеченному проходному двору, где будут ждать двое людей. Груз переносится через двор на другую улицу, и там на другого извозчика и на другую квартиру.

Получать идет приятель Леонтьева, Вася — шустрый, порывистый юноша, служивший в Обществе международных вагонов. Проверку беру на себя и неотступно слежу за всей процедурой получки.

Корзина (довольно объемистая) вручена получателю. Носильщик взваливает ее на спину, выносит на площадку перед вокзалом. Вася берет извозчика, старательно устанавливает груз, расплачивается с носильщиком и уезжает.

Наблюдаю все эти манипуляции, толкаясь в публике около вокзала. Слежу за тем, как он отъезжает, отделяется от сутолоки. Расстояние между ним и вокзалом увеличивается, и никаких признаков слежки или погони нет. Значит, благополучно. Вот уже он смешивается с общим движением, пропадает из виду, и если теперь даже гнаться за ним, то едва ли можно рассчитывать на успех. Скрылся.

Да никто и не гонится. Никакого интереса кругом к этому случаю нет, ни одного любопытного взгляда не заметно. Пристанционная жизнь уже заполнила пустоту, которая образовалась в моем представлении с отъездом от станции извозчика с нашей корзиной.

Облегченно вздыхаю и отправляюсь в буфет выпить стакан чаю: от скрытого, напряженного ожидания сухо в горле. И так приятно сознание хорошо выполненного дела.

А затем направляюсь пешком к квартире, куда должна быть доставлена корзина. Дубликат ключа дан Васе заранее, так как хозяева предполагали отлучиться на это время. И квартира оказалась случайно в том дворе, где жил Чижевский. У

него я не ночую теперь, потому что с неделю уже имею свою квартиру недалеко от этого места, на Караваевской. Но его двор уже знаю.

Двор по-обычному спокоен. Захожу к нужной квартире, трогаю дверь, — заперта, никто не отвечает, никаких признаков жизни. Такая тишина и спокойствие, как-будто здесь уже, по крайней мере, несколько часов не было ни одной живой души, никакого движения. В тишине всегда скрыто что-то тревожное. И вот уже является мысль, не ошибся ли он адресом, не уехал ли в другое место.

Это сразу выбивает из равновесия и наполняет беспокойством. Выхожу во двор, под ворота. Уже темно. В воротах прямо на меня с улицы натыкается человек и торопливо спрашивает:

— Ну, как? Виноват, ошибся...

И бежит дальше.

Шпик.

Повидимому, что-то стряслось. Это уже подхлестывает. Иду разыскивать Васю. В одном месте, в другом — нет. Посылают в третье. Там его действительно обретаю.

Возвращает ключ и говорит, что дело пропало.

— А корзина?

— Там, в квартире.

— Но я там был, — спокойно. Может быть, вам показалось?

— Ничего подобного — за мной гнались! Когда мы с извозчиком втолкнули в квартиру корзину, я запер дверь. Вышли на улицу. К воротам с другой стороны подъехали двое. Один спрыгнул: «Стой!» Я своему извозчику: «Пошел!» Они за нами. Но им пришлось повернуть лошадь, они отстали. К еврейскому базару, оглядываюсь — гонят! На базаре, на ходу, сунул извозчику деньги и выпрыгнул. Сразу в толпу, за трамвай... Один-два поворота, и потерял их из виду.

Домой возвращаюсь разбитым на все четыре ноги. Так позорно оказаться в дураках, проворонить под самым носом.

9

На другой день заходил к Чижевскому, и долго наблюдал из его окна вход в злополучную квартиру. Никакого подозрительного движения, ничего, что бы намекало на осаду или засаду. Дважды в разное время гулял по улице, внимательно высматривая прохожих и встречных, в особенности около углов улиц. Повидимому, чисто.

Может быть, Вася обманулся?.. Это бывает, когда нервы напряжены, и когда человек сосредоточивает все внимание на ожидании чего-либо. Ведь все-таки около вокзала ничего подозрительного я не заметил, и никто вслед за ним не отъехал.

Елена встретила на улице Рудановскую, хозяйку этой квартиры. И та сообщила, что корзина у них, и они с нетерпением ждут, когда ее можно открыть. Ее муж, офицер Рудановский, сегодня должен выписаться из госпиталя. И он просит разрешить ему кой-что из литературы послать приятелям в Уральское казачье войско.

— Есть подозрение, что корзину с вокзала выследили.

Эта офицерская пара была почти своя, поэтому у Елены не было оснований скрывать беспокойство.

— Но почему же до сих пор не забирают? Значит, пустяки...

Договорились на том, что сделают попытку вынести по частям в другое место. А корзину оставить тут же, куда она была привезена. Пустая она уже не была опасна,— наоборот: в дураках оказался бы тот, кто за ней гнался.

И в сумерках, когда накрапывал небольшой дождик, Елена с тремя студентками-фельдшерицами проникли в квартиру. Навешали на себя свертков литературы и благополучно ушли.

Складывалось удачно вплоть до случайностей. При повороте с Крещатика в один из переулков, Елена обнаружила вдруг, что спрятанные под платьем книжки начинают спускаться книзу. Прибавила шагу и юркнула в первый подъезд, чтобы привести это дело в порядок. И только-что начала это делать, как в тот же подъезд вслед за ней вбегает, запыхавшись, женщина:

— Барышня! Книжечки-то растеряли... Вот, подняла я.

И протягивает поднятую потерю.

Осмелели, сделали и второй переход. И добрая половина корзины была перенесена в другое место.

Продолжать дальше за поздним временем не решились и договорились на утро. Рудановский им деятельно помогал и отобрал для себя на пару почтовых посылок приятелям.

Утром у меня было несколько дел. И так как операция с опустошением корзины сильно интересовала, то условились с Еленой встретиться в обеденное время в одной из столовых. Она направилась к Рудановским.

Управился раньше, чем предполагал. Зашел в Общество международных вагонов посмотреть Васю. Он здоров и весел. Никакой за ним слежки, ничего подозрительного. Вручил мне

только-что полученный по адресу его службы свежий номер Вперед.

В столовой ждать долго и скучно. Киевские улицы вначале марта заливает солнцем. Воздух, как перед маем. Люди распахиваются, отогреваются. Оживленное движение, улыбающиеся навстречу солнцу лица.

Прошел на Безаковскую, мимо квартиры Чижевского. Улица выглядит спокойно, обычное движение у ворот, ничего подозрительного. Поднялся к Чижевскому, чтобы посмотреть в окно на ту квартиру, где теперь, по моим расчетам, должны выноситься остатки. Никаких намеков на суетню или беспокойство.

В чем дело, почему не пройти к Рудановскому?..

С ним не был знаком и не видел ни разу. Но знал, что этот безусый молодой офицер—почти совсем товарищ, хотя и неопределенного пока направления. Тем более оснований с ним познакомиться и закрепить здесь свое влияние. Ведь с Владимиром не сегодня, так завтра придется прекращать дружбу.

Самый решающий довод. Не додумывая его до конца, спускаюсь вниз под ворота и направляюсь через двор к Рудановскому.

После яркого солнца на улице, коридор кажется полутемным. В него выходит несколько дверей. Около одной из них молодой безусый офицер разговаривает с каким-то штатским.

Встречает радушно.

— Вам сюда?

— Совершенно верно.

— Пожалуйста!

Он щелкает каблуками и отворяет передо мною ту самую дверь, за скобу которой я держался два дня назад.

Мне оставалось лишь протянуть любезному хозяину руку и также галантно отрекомендоваться.

И когда останавливаю глаза на его лице, чтобы церемонию эту проделать, он насмешливо улыбается. Свет из комнаты освещает синий жандармский мундир и белый аксельбант. В комнате выступают рослые спины жандармов, пристав, другие люди...

— Прошу вас пройти.

— Но зачем же?

— Будьте любезны!

Пожав плечами, переступаю порог. Офицер входит за мною.

— Это он?

Вопрос относится к человеку, который стоит впереди меня.

Он обертывается, оглядывает меня быстро, пугливо.

— Никак нет, не он.

Это извозчик. Значит, ищут Васю и приняли меня за него. В кармане у меня старый бессрочный паспорт, по которому жил в Пензе, Самаре, прописывался во всех приволжских городах. Паспорт сына коллежского асессора Михаила Владимировича Садковского. В Киеве на Караваевской прописан другой паспорт — кандидата юридических наук Николая Николаевича Шишова — который всегда остается дома. В отношении дальнейшего провала собственной квартиры можно быть совершенно спокойным. Маленький список содержимого корзины, набросанный собственноручно, лежит в жилетном кармане. Его легко выбросить...

Все это вертится в голове быстро, не останавливаясь, не задерживаясь, без активного с моей стороны участия. Успеваю заметить бледную молодую женщину — повидимому, хозяйка. Другого офицера, мужа ее, нет. Нет и Елены и других девиц, которые должны были с нею довынести. Городовой, два жандарма, извозчик и двое штатских. Пристав за столом пишет протокол.

— Ваш документ?

— Пожалуйста.

— Киевской прописки у вас нет?

— Я только-что приехал.

— С этим багажом? — ядовито показывает на корзину.

— Без всякого багажа.

— По какому делу?

— Для переговоров о работе.

— Какой?

— Литературной.

— Гм... Почему вы оказались именно здесь?

— В воротах наклейка о комнате — зашел посмотреть.

И после некоторого шопота с приставом:

— Мы должны вас все-таки задержать... на некоторое время.

— Если вам это представляется необходимым. Но очень просил бы не затягивать для меня эту неприятность.

— Мы скоро кончим. Я попрошу вас пройти пока в участок... с проводником.

Трудно было определить, издевается он или старается быть любезным. Но вдумываться некогда, приходится соглашаться.

Снаряжают со мной одного городового, и мой паспорт задерживают.

— Вы его потом, там получите.

При выходе — новое беспокойство: как бы не встретить дворника — раза два он заставал меня у Чижевского. Но его нет ни во дворе, ни под воротами.

Бульварный участок сейчас же за углом. Городовой вежлив, потому что я прилично одет и считаюсь только полуарестованным „до выяснения". Поэтому меня оставляют ожидать в канцелярии, под неотступным наблюдением дежурного околотка, который ни на шаг от меня не отлучается. А когда нужно отлучаться мне, он неукоснительно сопровождает и просит не затворять дверь. Любезен, но настойчив.

Сижу час, другой, третий... Там все еще не кончают. Сколько еще человек может туда зайти и оказаться в таком же положении? Где Елена и другие с ней? Отправлены уже в тюрьму до моего прихода или же ушли из квартиры со свертками до их прихода?.. А если так, несомненно, возвратятся снова, чтобы забрать остатки. На хорошие остатки наткнутся...

И этот идиотский собственноручный список в жилетном кармане, — никак не могу его сбыть: околоток, при малейшем движении поднимает ко мне глаза и смотрит, пока я снова не перестаю двигаться. Тем не менее, вымыл, не вынимая, целлулоидную книжку в кармане с зашифрованными карандашом адресами. Но этот список (чорт бы его побрал!), единственная улика, все еще лежит в кармане. И кажется, что он даже выпирает оттуда, что околоток его тоже усматривает.

Снял пальто и сел на кожаную кушетку, привалившись к ее подушке. Там, где кончается сиденье и начинается изголовье, есть глубокая складка. Улучив момент, в ней можно похоронить этот список, который лежит вместе с часами. Он уже свернут в узкую трубочку по пути, когда вынимал и обратно убирал часы.

Разговаривая с околотком, недоумеваю по поводу долгой задержки, двигаюсь на кушетке... Готово! Бумажка водворена. Глазом проверил операцию — никаких следов.

Теперь чист, как новорожденный, придраться не к чему. Становится легче, и появляется голод.

— Однако... я с утра не ел. Не будете ли так добры послать туда справиться?

— Скоро вернутся.

— Но это скоро продолжается уже три часа.

Так любезен, что посылает за разрешением принести мне из ресторана обед. Это косвенное напоминание туда обо мне, подразумеваемый вопрос, что со мной надо делать. Запросить

об этом прямо он не решается, потому что его дело лишь ждать распоряжений, а не вмешиваться.

— Такая наша служба!

В ожидании результатов начинаю ходить по комнате и даже пускать сквозь зубы тот или иной мотив.

Входит человек, повидимому, свой здесь — развязный, шмыгающий глазами. Садится на мое место на кушетке и начинает разговор с околоточным. Они оказываются сидящими почти рядом, и пришедший часто наклоняется к околоточному, говорит тихо, так что до меня их разговор почти не доходит. Я занят своими мыслями, и до их разговора мне нет никакого дела.

Вот опять наклоняется к околоточному, опять откидывается. Снова наклоняется, но уже к полу, поднимает какую-то бумажку читает и кладет околотку под самый нос.

Мой список!..

Шпик сидел и шарил по кушетке руками. И вытолкнул несчастную бумажонку. Может быть, он откуда-нибудь наблюдал?

Околоточный взглянул в мою сторону, ничего не сказал, и они продолжают свой разговор.

Оказывается, можно маленькой дрянной бумаженкой оглушить человека не хуже, чем хорошей дубиной.

От Рудановских вернулись в сумерки. С собой никого не привезли — очевидно, отправили прямо в тюрьму.

Околоток сейчас же прошел вместе с ними в кабинет, и моей записки после него на столе не осталось. Через минуту меня позвали.

— Разрешите вас обыскать.

Выложили из кармана все. И к моему удивлению там оказался свежий номер Вперед, полученный сегодня у Васи. До этого момента он как-то выпал из памяти.

— Теперь вы видите, что мы вас отпустить не можем.

Оставалось только молчать.

Оставили ночевать в участке, поместив в пустую камеру одного. Ночь почти не спал, не столько от клопов, сколько от запоздалых размышлений и тревог за то, что могло за этот день произойти и чего я совершенно не знаю. Так неожиданно все произошло, и такая резкая перемена в положении. В памяти ярко встает солнечный день, так, что ощущается аромат весны, свежий весенний ветер, свобода движений. И острая тоска, знакомая всем, за кем закрывалась тюремная дверь, заставляет стискивать зубы, выдавливает непроизвольный стон...

Тоска насела сильнее утром, когда, едва забывшись, проснулся. Солнечный луч, скользнувший по стенке, разбудил действительность.

Она была там, за стенами, на воле. И хлынула сюда в камеру яркими образами, влекущими своею отрезанностью, недоступностью. Тоска по воле — это тоска по невозможности ею пользоваться. И она тем острее, чем меньше возможность осуществления свободы. Вчера человек по своему усмотрению распоряжался своими желаниями, временем, движениями. Шел, куда надо, делал, что хотел, говорил, видел и воспринимал то, что влекло и было приятно. Был частью большой непрерывно движущейся, полнозвучной и полнокровной жизни.

И сегодня там, на его месте, пустота. И боль — и там, и тут. Там не знают, недоумевают, ищут. Тут — невозможность отозваться, успокоить, помочь. Чорт не приехал еще. Елена одна. Одна и в деле, которое требует напряжения и борьбы, и у себя дома, в нашей семейной квартире, через неделю после того, как мы в ней поселились. Когда люди пытаются свою маленькую человеческую любовь совместить с революцией, это всегда удваивает — и риск в работе, и боль при авариях в жизни. И если они, по той же человеческой слабости, забывают об этом, тем хуже для них.

Окно камеры против двери, над нарами. Стоя на них, можно наблюдать узкий участковый дворик, высокий деревянный забор, а за ним обывательский двор. Там свободно ходят люди, играют ребятишки, бегают собаки по закоулкам двора. Слышны веселые молодые голоса из окон, выходящих на этот вольный двор, перебранивается прислуга.

Своим чередом идет обычная жизнь вольных людей. И они настолько мало думают о других, запертых, что их не смущает близость каземата, из окон которого им завидуют. Они к этому привыкли, и это их не касается.

Около забора, на полицейском дворике навалена куча бревен. Если на нее встать, то, подпрыгнув, можно ухватиться за край забора. Он с той стороны, очевидно, значительно выше. Интересно, где вход на этот двор?.. Вероятно, там, откуда слышатся голоса и выглядывает край большого дома, примыкающего тесно к другому. В противоположной стороне, должно быть, службы.

Припоминаю расположение участка по отношению к Безаковской и Бибиковскому бульвару. Комнату, где несколько часов

ждал, направление, по которому спускался сюда с лестницы, в камеру... Вероятно, этот большой дом слева выходит на Безаковскую.

Длинный день печальных размышлений только-что начинается. Откуда-то, нето справа, нето слева, доносится звон трамвая. Небольшой промежуток глухого, едва уловимого гула, и опять звон.

— Чай пить будете?

Вот она действительность, врывающаяся в размышления, помимо твоей собственной воли.

Спрыгиваю с нар и сговариваюсь с городовым о чае и завтраке. Даю деньги.

— Долго меня здесь держать будут?

— Это нам неизвестно. Если домашним что сказать нужно — это можно будет.

И осторожно оглядывается.

— Спасибо, у меня здесь никого нет.

И опять к окну. Когда смотришь на небо, вдыхаешь чистый воздух, слушаешь попрыгунчиков-воробьев и видишь появляющихся за забором людей — лучше думается.

Появился под моим окном на дворике какой-то субъект, испитой, мятые воротнички, котелок. С ним городовой. Очевидно, арестованный. На прогулке. Городовой садится на бревно, субъект прохаживается около. Почему не было слышно, что кого-либо выводили? Городаш затягивается цыгаркой и сплевывает. Потом смотрит некоторое время на меня. Добродушно смотрит.

— В окно глядеть, господин, нельзя.

— Пока не запретили, можно.

— Этак-то разве...

И оставляет меня в покое.

Время тянется медленно, нудно. Никаких ожиданий, никаких проектов: нельзя ничего узнать, некого спросить о том, что интересует в данный момент больше всего. Невозможно даже передать кому-либо весть о себе. Двери захлопнулись, возможные уличающие связи с другими людьми порваны. Пытаться их восстановить сейчас, в данный момент, нельзя. Это может подвести других, обнаружить то, что необходимо скрывать. Кончено. Был и нет. Чем меньше попыток ауканья, тем лучше. Если они целы, то вчера еще должны были сообразить сами. Если захвачены, тем паче не следует к ним протягивать нити.

На дворике новый субъект, с тем же городовым. Значит,

это место прогулок для арестованных. Вероятно, и мне придется гулять здесь же.

„Бревна, забор, двор... ворота в той стороне“...

Решение формулировалось само собою. Терять нечего. Моего имени здесь не знают. Можно начать работу сначала. Прошлое, вместе с паспортом, останется здесь. Риск? Никакого: все равно — так и так сидеть. Выгодней попытаться.

Теперь время пошло быстрее. Явилась цель, к которой хотелось приблизиться. И явились опасения, что не пустят гулять, увезут в тюрьму или дадут прогулку где-нибудь в другом месте.

Принесли обеденный чай. Побрызгал маленький дождик. День пошел к вечеру. И все еще не зовут.

— Гулять пойдете?

— Да... да!

Надеваю пальто и выхожу. На дворе ждут двое городовых. Прогулка под самым моим окном, десять шагов конец, десять обратно. Городовые становятся у барьеров, как в старину секунданты.

Присаживаюсь на узеньком выступе стены между ними, лицом к забору. Нужно себя подобрать.

Проскочить между ними к забору — один момент. Им требуется больше, чтобы мой прыжок дошел до их сознания и вызвал реакцию. В неожиданности для них — вся моя выгода.

Еще раз прошелся и опять прислонился к стене на том же месте. Затягивать некогда. С минуту на минуту могут сказать: Кончай!

Срываюсь с места... Прыжок на бревна... На мокрой округлости поскользнулась нога... Оправился... Ухватился за край забора и подтянулся, по-солдатски перемахнул ноги за забор. И повис на другой его стороне, над вольным двором, не доставая ногами земли: полы пальто пойманы городовым, и пальто держит меня рукавами.

— Батюшки, убег!..

Это голосит он, городовой, растерявшийся. Голосит, как баба. Но слышу это смутно...

Отчаянно встряхиваюсь и падаю на землю. Шляпа свалилась раньше, не до нее теперь. Городовой на заборе.

Через двор... в ворота, на улицу... Ноги становятся ветром.

Прохожих после дождя мало. Регулировать собственные движения невозможно. Городовой несется сзади и вопит, как недорезанный:

— Подержите-е! Арестованный убе-ег!..

Сбиваю какого-то мальчишку — не успел во-время отвернуться. Быстрота бега не позволила сделать поворот в переулок. Лечу в прямом направлении по Безаковской к вокзалу. Один квартал, другой...

С противоположного тротуара, впереди спешат люди на перерез. Ныряю в переулок... Свистки сзади, сбоку, впереди... Бегут уже навстречу с растопыренными руками...

Во двор... в глубину... в угол. В какие-нибудь темные места, в щель... Ноги уже подламываются, в легких острая боль.

Какой-то подвал... Пекарня... пробегаю до самого конца, когда уже некуда податься. И прижимаюсь в темном углу за чаном.

Крики: «Где он?» — «Кого вам нужно?» — «Никого нет!»

Но погоня уже около. И толстый человек, бывший здесь и с удивленим наблюдавший, как я тискался в угол, подходит ко мне.

— Выходите!

Сесть в пролетке не дали, а вытянули во весь рост в лежачем положении. Двое сидели по сторонам и держали. Третий стал на запятки, свернул мне голову на бок, так что ни говорить, ни кричать не мог. Только вырывается короткий хрип. Я задыхался.

И со стороны казалось только одно: везут пьяного, который не только ни тяти, ни мамы не вяжет, но и вообще не в силах уже связать двух звуков.

— Ну, и налакался же.

Ночевал в той же камере, но уже раздетый до белья, без единой мысли, пришибленный, отупевший. Не было ни холода, ни клопов. И даже не знаю, мог ли спать.

Рано утром увезли в Лукьяновку.

11

Этим закончилась пока моя активная киевская работа на целых пять месяцев.

В тюрьме встретил Рудановского и его жену. И от него узнал, что на их квартире больше никто арестован не был. Утром, когда была Елена, Рудановский был занят зашиванием посылок и отправился с ними на почту. Был в восхищении от подвернувшейся возможности удружить приятелям.

— Пусть почитают казакови!

Условились они с Еленой докончить после обеда. Рудановский вернулся с почты уже прямо в капкан. И с почтовыми

квитанциями. Тут же, при нем, отправили на почту шпика за посылками.

Елена пришла туда уже после меня. Но для нее этот приход не оказался таким печальным.

— Что вам угодно, сударыня?

— Ничего, я хотела посмотреть квартиру.

— В другое время посмотрите.

Очевидно, им надоела и утомила вся эта канитель, так что не давали себе труда вдумываться.

Она не возражала и затворила за собой дверь. Но уже выходя из ворот, услышала за собой погоню. Замешалась в толпу, добралась до первого извозчика, оказавшегося здесь единственным, и скрылась. А через неделю привезли в Лукьяновку с вокзала какую-то девицу, только-что приехавшую из Харькова: она оказалась точь-в-точь в такой же накидке, в какой заходила в квартиру Елена.

Через два-три дня после моего водворения в тюрьму, привезли и Владимира, попавшего на какой-то засаде. От него узнал о том, что делается на воле. Обо мне они совершенно не знали: как в воду канул. Но квартиру немедленно подчистили.

Когда говорили с Владимиром, грешным делом я про себя немножко рад был его несчастью: во-первых, не так обидна становилась собственная оплошность, во-вторых, и само предприятие, с Владимиром во главе, из объединенного становилось уже совсем меньшевистским. Но он через две недели выкрутился.

А в дальнейшем он доказал, что мои опасения подвоха с его стороны имели основания. В одну из поездок Елены по делам, он переменил без нее адреса и квартиры, так что она и Чорт должны были заводить все вновь. И понадобилось специально приезжать Клещу и Марку, чтобы помочь им заложить здесь новую, уже исключительно свою, большевистскую базу.

В тюрьме узнал о III съезде и параллельной конференции меньшевистской. Из большевиков я был здесь один, так как Леонтьев тоже вышел на волю. О съезде слышал лишь отрывки из десятых рук. И мог уловить только основную тенденцию и больше чутьем и догадками, чем информацией о действительных фактах и резолюциях.

Но практика недолгой работы с меньшевиками заставляла приветствовать разделение с ними на съезде. Даже в обыденной, повседневной нашей работе и постоянных разговорах

о тех или иных принципах и построениях два характера отношений всегда были налицо: простота, ясность и определенность большевиков, крючкотворство, запутанность меньшевиков. И это не только в нашей среде, рядовых работников подполья, но и в руководящих кругах. Отсюда, из этих чисто человеческих предпосылок, неизбежный логический вывод и в сфере политики: действенная революционность — с одной стороны, политиканство и фраза — с другой.

Даже рад был услышать о проделке Владимира с Еленой и Чортом: чем меньше заблуждений, тем лучше. Что же касается организационных убытков, причиненных этой проделкой, то ошибки всегда должны быть оплачены. И когда узнал от Елены, ходившей ко мне на свидание, о приезде Марка и о начале уже самостоятельной здесь работы, это примирило меня даже с Владимиром: довольный человек становится более снисходительным и охотнее прощает своим врагам. Да в сущности ведь и я для него подготовлял то же самое: ему удалось и повезло больше — это не его вина, а моя беда.

Дошли вести о „Потемкине". Начали поступать отрывочные сведения о солдатских движениях то в одном, то в другом месте, правда, слабых, чаще всего неоформленных, но суммированные они уже давали нечто необыденное. Почти не прекращались забастовки то там, то тут. И все это вместе взятое невольно связывалось с питерским 9 января, внушало надежды, поднимало настроение.

Тюрьма чутко ко всему прислушивалась и по-своему реагировала. В ней установилась уже некоторая неписанная конституция. В день моего прихода туда была последняя попытка старого режима — отстоять свои прерогативы. Во время поголовного обыска начальник тюрьмы, Малицкий, получил от заключенного Пайкина пощечину и рубнул его шашкой. Раненого отправили в больницу, а начальнику заключенные объявили бойкот. С ним перестали разговаривать и перестали вообще обращать на него внимание. И начальство не решилось, должно быть, его защищать, так как он смиренно подчинился бойкоту и не показывался на политическом отделении. Там его функции выполнял помощник Ботвиновский, хитрый, изворотливый старик, никогда не доводивший никакого дела до обострения.

— Вы не хотите подчиняться? Дело ваше, доложу Малицкому — пусть, как хочет.

И со всеми ладил, не желая портить своей служебной карьеры.

К нам на коридор открыто приносилась обильная общая

передача от Красного креста. Для расчетов с поставщиками продуктов для нашей кухни вызывался в контору наш староста. Отчеты его так же легально в конторе передавались краснокрестовскому представителю.

Потребовали непосредственного наблюдения за кухней и постоянных дежурств в ней. И, кажется, чего-то еще, чуть ли не удаления Малицкого. Потому что нелепо было из-за одной только кухни объявлять голодовку, на которую мы пошли. Присоединился женский корпус.

Голодали с водой, иногда обманывая вкусовые нервы солью. Два-три дня мучительного голода сменились успокоеньем. Появилась вялость в движениях, полное отсутствие интереса к окружающему. Большинство, не вставая, лежало на койках. Кругом все затихло — ни щелканья замков, ни открывания волчков, ни разговоров друг с другом через окна. Коридорные жандармы на посту спали, не отвлекаемые от этого совершенно ничем.

Изредка заходил в коридор помощник Ботвиновский и подходил к тому или иному волчку.

— Ну, как живем? Не надоело еще? Чудаки... Ведь Малицкий все равно к вам не ходит!

— А кухня?

— А кухню вы и без того получите.

Это был, конечно, его особый прием срыва голодовки.

Но по существу он был безусловно прав: чудаки. Голодовка лишь освобождала администрацию от лишних беспокойств. Жандармы и надзиратели отсыпались во время дежурства и были благодарны за то, что их не тревожат. На прогулку каждый день выходило все меньше и меньше. Выйдут, сядут на солнышке и не трогаются с места, не разговаривают. На женском крыле начались обмороки и истерики. Разговаривать с кем-нибудь близко стало невозможно: обдавал скверный запах и приходилось отворачиваться друг от друга.

На шестой день мы ходили на свидание и прогулку только вдвоем с меньшевиком Верховским. И даже пытались играть в чехарду, но, вероятно, для того больше, чтобы перед самими собой замаскировать удручающую обстановку пустоты, тишины и... унизительности для всех нас создавшегося положения.

— Не ломаем ли дурака, разлагаясь заживо и освобождая администрацию от всяких хлопот?

— Возможно, что так. Но с другой стороны: не вытекают ли эти размышления из желудочных предпосылок?

На восьмой день устроен был референдум, и подавляющее большинство решило голодовку прикончить. Формальных гарантий удовлетворения наших требований не получили. Но кухня нам была обещана. И скоро это обещание было выполнено.

12

Попадая в тюрьму, революционер обрубает след своей жизни. Он оказывается человеком без прошлого, кометой, лишенной хвоста. Его жизненные следы тщательно обнюхивают тогда и восстанавливают жандармы и сыщики. Ему же самому бывает нужно и важно забыть свое прошлое, отказаться от того, что было.

Его жизнь отныне идет иначе. Впереди, высоко над полом, маленькое окно в мир, заплетенное железной решеткой. Чем оно меньше и выше, тем ярче представляется за ним мир, тем притягательнее живая свободная жизнь. Там его желанные перспективы, там будущее, ставшее для него настоящим сейчас же, как только он вошел в эту клетку.

За спиной окованная дубовая дверь, за нею железо и камень, запоры, вооруженная стража, грубые окрики.

И человек раздваивается. Интенсивно, активно и ярко живет за окном, откуда издалека и глухо доносится гул уличной жизни. И нехотя, по необходимости, вынужденно прислушивается к тому, что за дверью. Здесь, в камере, его оболочка, форма, необходимость. Там, за окном, его содержание, целеустремленность, свобода.

И книга становится ближайшим, интимнейшим другом. Потому что она выводит за стены, потому что приносит оттуда аромат живой жизни. Поэтому именно революционер в тюрьме учится: инстинктивно он ищет единства в противоречиях и бессознательно стремится перековать необходимость в свободу.

И особенно понятен и увлекателен в тюрьме Маркс.

Неоднократно на воле принимался за него в Пскове, в Смоленске. Он требует много свободного времени, требует упорного внимания и напряжения мысли, обдумывания каждого слова. Текущие дела часто отрывали, нарушали цельность логических построений, загромождали глубину содержания. Каждый раз нужно было восстанавливать, возвращаться назад. И когда повез „Капитал“ с собою в Каменец, едва дошел до половины первого тома. С трудом закончил его в Самаре.

И вот теперь, в Лукьяновке, начинаешь сначала. И как-будто совершенно новую книгу, никогда не бывшую в твоих руках.

И кажется даже, что это не книга совсем, а гениально сконструированный сгусток мировой жизни — прошлой, настоящей и будущей — в непрерывном движении противоречий. Каждое сухое, ученое слово облечено величавой мудростью владетеля мира. И каждое из них звучит дьявольским остроумием Мефистофеля.

„Если бы владелец железа столкнулся с владельцем какого-нибудь веселого товара и указал последнему, что цена железа есть уже денежная форма, то встретившийся ему весельчак, конечно, ответил бы то же самое, что сказал на небесах св. Петр Данте, прочитавшему перед ним символ веры: „Вес и состав этой монеты хорошо известен, но скажи, есть ли она у тебя в кошельке?“[1]

И „подобно тому, как в золоте стираются все качественные различия товаров, оно в свою очередь, как радикальный левеллер (уравнитель), стирает всяческие различия“[2]... А в примечании Шекспир бессмертный:

Золото! Металл!
Сверкающий, красивый, драгоценный...
Тут золота довольно для того,
Чтоб сделать все чернейшее белейшим,
Все гнусное — прекрасным, всякий грех —
Правдивостью, все низкое — высоким,
Трусливого — отважным храбрецом,
Все старое — и молодым и свежим!
К чему же мне, о боги, это все?
Бессмертные! К чему? Скажите. Это
От алтарей отгонит ваших слуг,
Из-под голов больных подушки вырвет...
Да, этот плут сверкающий начнет
И связывать, и расторгать обеты,
Благословлять проклятое, людей
Ниц повергать пред застарелой язвой,
Разбойников почетом окружать,
Отличьями, коленопреклоненьем,
Сажая их высоко, на скамьи
Сенаторов. Вдове, давно отжившей,
Даст женихов...

Строго ученый термин „золото“, в товарной своей оболочке, попутно и стремительно раскрывает перед вами свою историческую, социальную душу.

---

[1] Маркс. Капитал, т. I.
[2] Там же.

Словам тесно в этой объемистой, густо насыщенной книге, хотя они математически точно сжаты и пригнаны. И они бросаются в примечания, комментарии, ссылки... И просторно мыслям в каждом до блеска отшлифованном слове. И каждое из них заставляет искать скрытого блестящего содержания.

Это не книга, а диалектическая транскрипция десятка, сотни, тысячи книг по всем отраслям знания и обществоведения. В ней нет формул и положений застывших — они в непрерывном движении и развитии, как и сама живая жизнь, в непрерывном историческом преломлении. Гениальное открытие единой, математической формулы движения человеческого общества, формулы, кратной всей его истории, науке, искусству, литературе, религии... И формула так же проста, как Ньютоново яблоко. И так же решительно и бесповоротно бросает яркий свет изнутри на социальную историю мира, как икс-лучи на строение данного живого организма.

Это художественно оформленная математическая социология или социологическая математика, математическое предвидение и доказательство неизбежной социальной революции.

По старой кружковой привычке хочется конспектировать. И, как только принимаешься за это, чувствуешь полное свое бессилие: получаются мертвые формулы, куцие мысли, как лопнувшие, засохшие стручья гороха, когда созревшее полновесное зерно из них уже высыпалось на землю. И хочется положить перед собою Пушкина, Байрона, Гейне, чтобы в них искать комментарий к словам, которые не успел комментировать сам Маркс.

И теперь только понимаешь, почему старик Арцибушев уходил в тюрьму с «Капиталом». Маркс слишком глубок и разносторонен, слишком скуп на слова, чтобы его можно было сразу понять до конца. И он требует слишком большого напряжения и внимания, чтобы можно было на воле их выкроить, когда революционная работа не ждет.

И недаром же всего лишь десяток лет назад Виктор Адлер готовился «потеть» над «Капиталом», собираясь в тюрьму. И сам старик Энгельс тогда пишет ему на этот случай инструкцию, как именно следует «потеть» над Марксом [1].

Но Маркс понятнее не тем (так кажется), кто потеет над книгами, а кто уже выпотел до конца в тяжелом непосильном труде. Ибо этот именно рабочий пот был чернилами Маркса.

[1] Письмо Ф. Энгельса к В. Адлеру от 16/III 1895 г.

И не книжной логикой, а рабочим возмущением пропитаны у него сарказмы над ученым сословием. Он доступнее техникам и механикам, потому что пунктуален и точен, как сложнейший, проверённейший механизм. Но понятнее, роднее и ближе именно тем, кто в социальной механике уже отработан и сведен на последнее место, хотя по праву ему и принадлежит первое...

И если бы Маркс явился в мир, когда еще безраздельно властвовал над ним Саваоф и пророки, научный социализм стал бы религией. Теперь же его схема — гигантский механизм революционной перестройки общества.

Маркса должны ненавидеть ученые, потому что он их ставит на голову, и «глубочайшие» доселе умы умещаются в их собственных пятках. Его должны преследовать власти, ибо он обнаруживает простой, несложный разбойничий захват там, где до этого библейскими перстами начертано было «несть власть, аще не от бога». Остервенелым воем его должно встречать «культурное» общество — он срывает с него все покровы благочестия, культурности, семейных добродетелей, любви к ближнему...

«Вес и состав этой монеты (каждой) хорошо известен, но скажи, есть ли она у тебя в кошельке?»...

И кошелек оказывается пустым, а «культурное» общество сбродом ханжей, дикарей, растлителей и рабовладельцев...

13

Но оставаться в тюрьме было все более и более тяжело: слишком стремительно, даже на тюремный аршин, развертывалось колесо жизни на воле. Чтение газет не удовлетворяло. Нужна была сама жизнь, соприкосновение с товарищами, то деловое оживление, в разгар которого оторвали от воли.

Елена на свиданиях рассказывала о приезде в Киев того или иного товарища, передавала от них приветы. Однажды передала, по поручению Марка, что ЦК мог бы гарантировать известную сумму, если бы меня отпустили под залог.

Все это и волновало, и радовало, и усугубляло тоску по воле.

Под залог не пускали, потому что, кроме киевского дела обнаружилось еще псковское. Киевский жандарм ничего не имел отпустить и без залога. Этот старый подполковник, обиженный, вероятно, начальством в чинопроизводстве, на каждом допросе жаловался на свое горькое положении. А так как я от всяких показаний отказался с самого же начала, а

вызывать ему меня все-таки приходилось по поручению псковского управления, с которым я тоже говорить не хотел, то все наши с подполковником разговоры и носили совершенно частный характер.

— Все же завидую я, знаете, вам: свободный человек (это ничего, что сейчас в тюрьме), освободитесь — на все четыре стороны, куда захотите.

— Я не так завистлив.

— Мне, батенька, не позавидуешь: семья, дочери учатся, сын... Нет, знаете, внешней этой свободы, а ведь она родит и внутреннюю.

Должно быть, не перед кем было старику немножко излиться, а маленькая обиженная душа его требовала внимания.

— Освободить я вас могу, знаете, и без залога. А вот, как Псков?

И он тут же написал бумажку об освобождении меня из-под стражи, под особый надзор. И одновременно дал подписать и другую бумажку о заключении под стражу по псковскому делу. Так что я вышел из тюрьмы и опять сел в тюрьму, не вставая со стула, за целых три километра.

А Псков отказал. А воля тянула все больше, сильнее, настойчивее.

И кто же в тюрьме не думает о побеге?

Приходилось думать. Это иногда скрашивает и скрадывает время. Когда приходилось ожидать в жандармской вызова в кабинет, то из окна, выходящего во двор, усмотрел крышу соседнего дома, сажени на полторы ниже окна. Эта крыша, на такую же приблизительно высоту, поднималась над крышей пристройки, которая совсем не была высока.

Так что из четвертого этажа в три прыжка можно было оказаться на земле. И пока бежали бы за мною с лестницы (едва ли кто стал бы прыгать следом в окно), легко можно было выйти на другую улицу и замешаться в толпе. И лучше, если выходя из двора, оставить там свою шляпу и надеть фуражку.

Самый примитивный план, рассчитанный исключительно на собственную дерзость. Иногда это может удаться лучше, чем тщательно разработанный сложный план.

И, при первом же вызове в жандармское, прячу за спину под жилет свою жокейскую фуражку, на голову надеваю шляпу.

По обыкновению ввели в ту же комнату, в которой ожидал не раз. Придвигаюсь к окну. Сверх обыкновения, сегодня раз-

говорчив жандарм. Предлагает какие-то вопро . Отвечаю нехотя и, может быть, невпопад, скашивая глаза в окно. Предлагает стул.

— Благодарю вас, сижу уже пять месяцев.

Каламбур ему нравится. Он становится разговорчивее. Когда подхожу к окну, он подходит вместе со мною. Облакачиваюсь на подоконник, он на него садится.

— Не рекомендуете ли вы мне какого студента, из своих? Репетитора для сынишки.

— Чтобы вы его в тюрьму упрятали?

— Ну, зачем же? У нас тоже совесть есть.

— Маленькая.

— Теперь ведь время такое — может, и не понадобится вас в тюрьме держать?

— Что же вы тогда будете делать?

Отворяется дверь. Входит мой подполковник.

— Ну, знаете, поздравляю вас. Псков согласился. Вы свободны.

— Сейчас? Совсем?

— Сейчас, сейчас. Не совсем, конечно, а под особый. В Киеве думаете жить?

— Конечно.

— И великолепно. Вот распишитесь, пожалуйста, и он проводит вас в полицейское управление. А там отпустят. Всего лучшего.

За это ему можно было бы пожать десять рук, а не только одну, которую он протянул.

Через полчаса шел уже по улице совершенно один. Как-будто снова родился и никогда не видел оживленных широких улиц. Все было ново, любопытно, красочно. И где-то, далеко-далеко сзади, осталась маленькая тюрьма. Вернуться в нее теперь было бы равносильно спуску в могилу.

Выпустили в тот самый „исторический“ день, когда было опубликовано положение о булыгинской думе. Но она шла мимо сознания, эта дума. Никто, кажется, ей не придавал никакого значения. Даже надзиратели в тюрьме, когда пришел за вещами, кисло кривили губы.

А через два дня уже должен был ехать в Одессу, по установлению связей с новой типографией ЦК, которая там только-что ставилась.

Машину и шрифт для нее покупала Елена в Москве, когда я сидел. И теперь нужно было проверить техническую целесообразность и конспиративность ее постановки.

В Одессе на явке в какой-то квасной лавочке принимал Гусев. А типографией заведывала моя старая смоленская сотрудница Марфа.

Типография ставилась в ящичной мастерской. Подвальное помещение с выходом на улицу, как бывает в винных погребках. Подвал — это значит — значительная часть кирпичной стены спускается ниже земной поверхности. Если снять подоконник, то под ним всю кирпичную кладку, кроме первого ряда, выходящего в комнату, можно выбрать совсем. И если углубиться наискось в землю, получится достаточное хранилище для машины и шрифта. Подоконник является и покрышкой.

Машина работает днем, когда делают ящики. На ночь, обычное время прихода жандармов, она хранится под подоконником...

В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ

1

Орел. И кто, по какой причине, когда догадался дать этому городу такое гордое имя?..

Может быть, в эпоху феодализма русского, или в период удельных передряг на теперешней Орловской горке, где тюрьма, и сидел какой-нибудь удельный князек. Был он единственным здесь господарем на горке, с челядью и доезжачими. И на притулившиеся под горкой курные верноподданные деревнюшки взирал заправским орлом.

Теперь это город-яма, хотя часть его и расположена как-будто бы на горе. Самый красивый вид от вокзала — вид на тюрьму, прославленную зверскими жестокостями после 1905 года. Глухой провинциальный город, хотя и близок к Москве. Без собственной индивидуальности, без живой общественности.

Так же, как Псков, высосанный Питером, Орел высасывается Москвой. И остается от Орла только чучело, без никакой гордости.

И здесь обосновался центральный технический штаб ЦК, после провала его в Смоленске. Обосновался, можно сказать, без всяких обоснований, кроме смоленских традиций. Так же, как Орел, присвоил себе гордое имя, не считаясь с местом и временем.

А время оказывалось совершенно иным, чем полтора-два года назад, когда мы создавали смоленскую базу. Партия только-что собиралась тогда, концентрировала связи, намечала пути. На местах формировались рабочие батальоны и полки. Проходили подготовительную выучку боевого строя. Армия строилась, но ее еще не было, как боевой силы: маневры — не война, и штаб для маневров — далеко не военный штаб.

Маневрами можно было руководить и из Смоленска, и из Орла.

А теперь, через полтора года, картина резко уже изменилась. Рабочее движение из кружкового и фабрично-заводского

(по масштабу) развернулось в массовое и вылилось на улицу. И, как сказочный богатырь, оно росло не днями, а часами. Отдельные пункты-даты его (Ростов, Баку, Златоуст, Одесса, Лодзь, Иваново, Питер...) увязались в сплошную единую схему. И хотел кто этого или не хотел, видел или не видел, но оно уже стало всероссийским.

В боях, не маневренных, а настоящих, с оружием и кровопролитиями, рабочие полки формировались в дивизии и корпуса. Рабочая армия была готова как боевая часть и готовилась к бою. Ждала идейного призыва, технической подготовки, снабжения амуницией и фуражом.

А интендантство отсиживалось в Орле, отодвинутом даже от рельсовой магистрали.

Армия переросла технический штаб.

Это бросалось сразу в глаза, когда я приехал туда в августе, после Лукьяновки. И не даром сообразительный Марк почувствовал тягу к местной работе, оставляя нас в дышле с доктором Голубковым во главе умирающего уже штаба.

И вот мы ежедневно собираемся с Голубковым на прекрасно организованных явках (особая на каждый день). Сидим два-три часа, приспособленные к расписанию поездов. И дружески беседуем глаз на глаз. Нам никто почти не мешает, кроме местных работников или случайных проезжих, еще не догадавшихся, что Орел уже совсем не орел, а только набитое, молью побитое чучело.

Шифровальное отделение почти бездействует. Паспорта расходуются слабо. Накладные на литературу приходят реже. Требования на шрифт прекратились. Как-будто уже все всем насытились, и никому ничего больше не нужно...

— Нужно, кажется, закрывать лавочку,— говорю Голубкову:— вам не кажется, что мы валяем здесь дурака?

— Похоже,— соглашается он,— какой-то момент был нами упущен, когда надо было перестраиваться.

И оказывается, что он давно начал здесь заниматься с кружками. Это и было, очевидно, доказательством, что перестройка назрела уже тогда.

А теперь жизнь идет мимо нас уже полным ходом. Места выросли, сами становятся центрами. И их естественное стремление к централизации действия также естественно притягивает их к Питеру и Москве. Питер и Москва решают уже общие вопросы политики и снабжения, а не Киев или Смоленск, как могло еще быть полтора года назад. И ЦК уже организовал московское областное бюро. А московский комитет требует

от нас такого снабжения паспортами, какого только год назад не требовала вся периферия, включая самую Москву. Значит, независимо от собственной воли, она уже централизует у себя эту нашу функцию и должна будет централизовать и другую: типографское дело.

— При чем же тогда останемся мы?.. И кому мы нужны такие?

— Ну-у...— не сомневается Голубков,— транспорт литературы, во всяком случае, за нами останется! Но его придется значительно расширить. Может быть, сосредоточить у себя постановку больших типографий.

Но скоро обнаруживаем недостаточную устойчивость и этой позиции.

Как ни слабы теперь сношения с местами, они приносят с собою жизнь, дают реальную обстановку. Везде обзавелись типографиями, агитационные нужды своего дела сами обслуживают. Начинают даже обзаводиться своими газетами — худосочными и маленькими, как рахитические младенцы, но ближе и острее задевающими местную злобу дня, чем наши технически безукоризненные, идейно полнокровные издания.

И на местах, повсюду, ежедневно: забастовки, выступления, демонстрации. И повсюду непременно: вмешательство полиции и казаков, разгоны и побоища, рукопашная, нагайка, стрельба...

И все настойчивее и требовательнее местные голоса к штабу: давайте оружие!..

Голубков сидел в смоленской тюрьме, когда происходил III съезд, я — в киевской. Эти голоса к нам не доходили тогда. И только теперь мы начинаем с ним понимать всю реальность установки съезда на вооруженное восстание.

И мы решаем проблему нашего штаба: переменить резиденцию и включить в номенклатуру снабжение оружием.

2

И жизнь идет нам в этом случае навстречу.

Адвокат Переверзев, выполнявший функцию явки и адреса, получил телеграмму:

„Дело Миронова слушается на-днях необходим выезд в Москву Зимин“.

Никакого дела Миронова Переверзев не ведет. А Мирон — моя кличка, Зимин — подпись Никитича. Значит, вызов кого-нибудь из нас в Москву.

И если бы Переверзев знал смысл телеграммы и ее повод, когда был министром юстиции у Керенского, любопытно было бы его отношение к ней...

Явка в Москве на Долгоруковской, около Селезневки. Московские улицы бестрамвайные, длинные и кривоколенные. Извозчики не всегда удобны и не всегда желательны. Но ходить по Москве всегда интересно — что-то от курной избы и овчины в ней чувствуется, от предков.

Уже на Долгоруковской обгоняет по пути человек на извозчике, как уголь, черный и узловатый. Сидит в экипаже так, что сразу видно: мало ездит, ходит порывисто, на ходу горбится и сильно размахивает руками. В позе его нетерпенье, и внимательно всматривается в номера домов. Он едет в мою же сторону, и не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы вывести вероятное заключение: торопится на явку.

Длительные скитания по явкам, приучая к конспирации и угадыванью людей профессионально близких, одновременно вырабатывают и нюх сыщика. Тезис и антитезис. Синтез их в человеке с недоразвитой совестью нередко дает провокатора.

На явке проводят к Марату, обгонявшему меня на извозчике. Но он сейчас уже в синеватых очках — становится понятным его слишком внимательное разглядывание домов.

Говорит с хрипотой, как-будто не успел прокашляться:

— Вы должны нам помочь обставить типографию. Она размещена под магазином. Приказчика мы нашли, вы с ним увидитесь. Нужен еще наборщик. А самое главное — дадите нам организатора для внешних сношений.

Вопрос шел о типографии ЦК на Лесной улице. Она была уже готова к работе, и нужны лишь некоторые отдельные звенья, чтобы дело пошло полным ходом.

Договариваемся с Маратом, что я буду у них через два-три дня, на обратном пути от Никитича. Тогда он сведет меня с найденным ими приказчиком, и мы наметим других нужных людей, которые им необходимы.

К Никитичу в Питере можно попасть лишь через две явки. Одна обычная — в редакции либеральной газеты литератор Ашешов. И от него явка — фильтр, инженер Герман Красин, который, в зависимости от посетителя и от дела, дает ему тот или иной час и адрес свидания с своим братом. Никитич прекрасный конспиратор и человек точного расчета и четких действий.

Когда входишь в его служебный кабинет на Морской, он только главный инженер большой фирмы, обложенный чертежами

и планами. И здесь разговоры, посторонние этим планам, как-то не вяжутся. Стиль обстановки, как электрический ток, пронизывающий здесь все распоряжения и проекты, невольно подчиняет себе и тебя. И всякий другой разговор, кроме токов и ампер, становится неживым, незначительным. И сам Никитич здесь — пружинистый, изящный и строгий — представляется подобранным и точно пригнанным аппаратом Румкорфа.

И мы беседуем с ним в хорошем ресторане, за хорошим обедом. Заправский шпик сюда не вхож: он не умеет себя здесь держать. Шпик незаправский сюда не пойдет сам: тут кушают между делом очень деловые люди и не в одиночку, а также по делу и беседуют тихо — таков стиль ресторана.

Мы с Никитичем знакомимся здесь впервые, хотя знаем друг друга по делу давно. И разговариваем, как старые знакомые.

— Мы имеем возможность, — говорит он, — изготовлять из пикринки пироксилин. И можем иметь пикринку в большом количестве. Мастерская сейчас налаживается. Но нужно теперь же найти в Москве промежуточный склад.

Это как-раз то новое русло нашей работы, к которому эмпирическим путем, ощупью подходили мы с Голубковым.

Набрасываю Никитичу план нашей переброски в Москву. Он уже отложился у нас в головах по частям, незаметно, на наших пустующих явках в Орле. Разговоры с Маратом о типографии и сейчас с Никитичем о пироксилине и складе дают увязку продуманным нашим частям. Встает, оживает в новом виде, в новых комбинациях большое привычное, свое дело.

— И давно пора, — говорю Никитичу, — перейти к снабжению, вместе с шрифтом и литературой, оружием.

— В принципе не возразишь против этого, и Ленин давно на этом настаивает! Надо только подумать, как добыть деньги.

Он смотрит на часы:

— Сейчас я еду на явку ПК, вы меня проводите — договорим на извозчике.

И мы едем на лихаче с Морской на Васильевский.

У всякого извозчика уши всегда на затылке. Он не может не слушать того, что говорят седоки. Но деляческий стиль ресторана и найденное там взаимное понимание в основном позволяют уже не называть вещи прямыми их именами.

— Вы, конечно, правы, — говорит Никитич: — большое комиссионное дело не может развертываться в глухой провинции. Нужен большой торговый центр, нужны торговые склады. И необходимы новые образцы товаров... Если провернуть это быстро, клиентура останется с вами.

Он прямо восхищает своей четкостью не только в действиях, но и в словах.

— Вам нужно сейчас спешить на вокзал. На следующем углу я сойду — мне близко, а вы не задерживайтесь.

На вокзал мне еще рано. Но ему нужно, чтобы у лихача не осталось полного представления о его седоках: один слез на углу людного проспекта, другой скроется в сутолоке вокзала.

— Увидимся скоро на новом месте,— прощается Никитич,— с переездом затягивать не советую.

— И вы непременно приезжайте на новоселье!

Лихач поворачивает, натягивает постромки и мчит по тому же пути к Невскому. Экипаж мягко пружинит по мостовой. Покойно сидеть и оглядывать тротуары. Покойно думать.

Мы живем в трех измерениях. Не в философском или математическом смысле,— т. е. в пространстве и времени. А, кроме них, в трех измерениях, точнее разрезах, самой жизни. Личная жизнь, индивидуальная, твоя собственная, которой никто не интересуется даже из близких друзей по делу. Она в сторонке как-будто, отодвинута от общего твоего русла, открыта и понятна только тебе. И только ты, и никто другой знаешь ее до конца, до дна, до самой сокровенной точки, о которой не всегда знает и может знать даже самый интимный друг.

И жизнь общественная, точнее революционная. О ней знают только друзья по делу, товарищи по работе, единомышленники по целям. Она дает смысл, основной смысл существованию человека, оправдывает его бытие. С ней согласуется и по ней строится и личная жизнь.

Если в этих двух измерениях нет кричащих противоречий, если они могут итти параллельно и даже слиться в одно (что бывает нередко и что должно быть всегда), то нет у человека раздумий, нет колебаний, нет мешающей, лишней боли.

И измерение третье: жизнь, которая показывается другим. Она сознательно фиксируется, подчеркивается вниманию окружающих. Она им навязывается — чтобы загородить от их внимания две первых жизни. Она однобока, утомительна и скучна, как серый, осенний, дождливый день. Но она необходима, и с ней, как с хиной или касторкой, нельзя не мириться.

И только в тюремной камере, в одиночке, человек утрачивает свою троичность в лицах и оказывается сам по себе или сам в себе, как и кому это свойственно по измерению первому...

3

В Москве, на обратном пути, договорились с Маратом и Дядей Мишей.

Они оба адвокаты и слишком хорошо знают принцип юридического оформления личности, слишком хорошо осведомлены в законах гражданского состояния российского обывателя.

— Короче говоря,— поясняет Марат вступительную адвокатскую предпосылку Дяди Миши,— нам, дорогой товарищ, до зарезу нужны паспорта! И много паспортов!

Дядя Миша — плотный и гладкий не в пример коряжистому Марату — мягко продолжает втолковывать мне, до какого именно зарезу они им нужны.

Я понял. Дядя Миша клонит к тому, чтобы передать им всю нашу паспортную часть. Но так как это, в его представлении, большая, сложная и важная прерогатива, за которую мы будем биться, то и подходит к вопросу мягко, витиевато, по-адвокатски — чтобы нас не обидеть и не задеть. Он еще не знает, что это дело уже решено в их пользу.

— Когда вы будете готовы принять, мы передадим вам все сразу.

У них уже есть место, люди... надо лишь показать им необходимые приемы практического применения.

Затем меня сводят с приказчиком для типографии.

Скромный молодой человек, с белокурой бородкой и лысоватый. И как-то не идет к нему, когда он без фартука и не за прилавком. Эта именно прикидка заставляет меня спросить:

— Давно вы торгуете?

— Порядочно, с 13 лет, теперь мне тридцать! Служил все время у Чичкина.

Основное достоинство Василия Егорыча, конечно, не в том, что он почти 20 лет служил в молочных Чичкина и умеет торговать. Не в этом уменьи его ценность для типографии. Ее магазин не для торговли, а для конспирации. Он — ширма, оболочка, защитная ее броня. И Василий Егорыч, в приказчичьем белом фартуке, часть этой брони. Чем больше он соответствует обстановке по своему наружному виду, тем лучше. Остальное приложится.

С типографией надо спешить. В ней будет печататься популярная газета „Рабочий". В Ивановском районе и на московских фабриках большое брожение. Сегодня, когда шагал сюда на явку, по Тверскому бульвару на рысях прогарцевали казаки.

— Типографщики бунтуют,— слышится на тротуаре,— на Тверском демонстрация!

А здесь на явке Дядя Миша поясняет:

— Бастуют все типографии. Уже две недели держатся стойко, доходит до стычек. Забастовали булочники.

Эти известия уже никого кругом не волнуют. Они повседневны, обычны. Забастовка стала явлением бытовым. Демонстрации родятся стихийно — и там, и тут, и в третьем, четвертом месте. Как беляки при большом ветре, когда река давно уже неспокойна.

. . . .

И снова тихая заводь с гордой кличкой — Орел.

Но теперь наши разговоры с Голубковым — не похоронные разговоры. Надо переводить всю работу на новые рельсы. А это не так уж просто, и не так быстро. И надо перемещать штаб. Это тоже далеко не равнозначно пересадке с одной клумбы на другую садового растения. Трудность и хлопотливость не в переводе штаба, а в сохранении и переносе без перебоев его связей с периферией.

И надо искать деньги на новый продукт снабжения — оружие.

Приехал из Самары Сандро — наборщик комитетской типографии. Ему там нельзя больше оставаться. И его приезд как нельзя более кстати. Он выдержанный, дисциплинированный работник, всегда спокойно-решительный. И он грузин. Для московской типографии ЦК под магазином кавказских товаров — это находка.

— Идете туда, Сандро?

— О чем спрашивать? Я и приехал сюда за работой.

Направляем его к Марату. И по пути он увозит с собой в Москву и весь наш паспортный инвентарь.

И для той же типографии вызываем из Киева Чорта. Он должен организовать для нее внешнюю экспедицию. И оборудовать склад для пикринки.

Голубков сделал вылазку в Москву. Это его родина, и у него много там личных связей. Надо подготовить базу — явки, адреса и квартиры. И надо попытаться добыть деньги помимо ЦК.

Вернулся через неделю, привез 20 тысяч рублей. С этим капиталом можно уже развертывать дело.

Это очень большие деньги для нас. Таких денег не мог дать ЦК, потому что никогда не был таким богатым. Частные крупные, крупные жертвователи для нашей партии были более редки, чем для либералов или эсэров. И нужно много ходить, говорить, убеждать, клянчить, чтобы вытянуть у какого-нибудь

мецената какую-нибудь тысячу. А тут — двадцать в недельный промежуток с дорогами!

— Где это вам привалило такое счастье?

Голубков всегда не велеречив. Отвечает всегда коротко, просто, точно, ровно столько, чтобы сразу было понятно. Теперь же на мой вопрос он несколько медлит... Потом сквозь зубы пускает, выводя на бумаге виньетку карандашом:

— Это?.. Так... одна удачная комбинация.

И сейчас же переходит на дело:

— Нужно немедленно кому-нибудь ехать, наладить дело с оружием!

Я знаю его прямоту и искренность, и не повторяю вопроса: скромность всегда имеет право на уважение.

И он едет в Киев и на границу, для установки нового вида транспорта. А если по ходу дела понадобится, проедет в Женеву. Письменные сношения через ЦК слишком, по нашему времени, медленны. И непосредственный договор всегда гарантирует лучше.

4

В Самаре ведают транспортом Вениамин Свердлов и Гершанович. Между ними и волжскими комитетами возникли какие-то мелочные невязки. И комитеты, подготовляя свою районную конференцию, по-хозяйски лишили техническую районную организацию права голоса и даже участия.

Старое, неумное, доискровское и неискровское деление на организаторов и техников: первый и второй разряд революционных работников.

Это прокидываются прежние кустарнические навыки, отношения комитетчика к гимназисту с гектографом, хозяйчика к батраку. Это новая Искра — барское пренебрежение революционного „сознания“ к плебейской революционной „практике“. Оно теперь сказывается в нашей неподготовленности.

С этими навыками нельзя не бороться. И нельзя позволять принижать свое дело.

Приходится ехать в Самару.

Город тот же. Те же почти и люди. Но как-будто ты его видел только-что вчера вечером, а сегодня он встает в твоем представлении в ином, утреннем освещении. Иные контуры, иначе воспринимаются. Прорыв впечатлений, и иначе все выглядит.

И нет того, что особенно хотелось увидеть,— Ивана Павлыча и типографии.

— А ты за коим чортом тогда уезжал? — пробирает меня Преображенский. — Вот теперь и грызи пальцы!

— В чем же дело то?

— А все в том же!..

Он повел на меня умным лошадиным глазом: сам, дескать, понимать должен. Я знаю его привычку говорить обрывками и жду.

— Приедет, повертит хвостом, и в центр!... А дело оставайся, как хочет.

— О ком это?

— Об агентах разных, да цекистах. Хохол-то ведь меньшевиком оказался!

Хитрый мужик: насчет вертихвостых агентов это он в мой огород. Но тут же отводит, как-будто бы на Хохла — понимай, мол, как знаешь. И я не переспрашиваю, не уточняю, потому что он тогда будет браниться уже без отвода, открыто. И мне придется оправдываться: в данном случае он прав — оставлять здесь Хохла не следовало. И Преображенский поясняет:

— Они, ведь, что тогда сделали? По поводу 9 января напечатали прокламацию против попа Гапона. Это, когда в Питере расстреливали рабочих! А потом вырезки из легальных газет стали печатать. Сатана-то образумился скоро, да уже поздно: типографщики бунт подняли. Иван Павлыч собрал монатки: больше, — говорит, — пользы, если на заводе опять буду работать. Пришлось все дело свернуть, и на склад!

И сейчас Свердлов с Гершановичем приспособляют какой-то закомуристый письменный стол, для ручного станка и шрифта.

Хохла тоже давно здесь нет, и неизвестно, куда он смылся.

Старик Арцибушев в бюро один, и конференция не чувствует твердого руководства. И, если бы не казанский делегат Измаил Саммер, дело ограничилось бы лишь подтверждением резолюцией III съезда.

А кругом, на улицах, уже идут разговоры о всеобщей забастовке железнодорожников...

Я застал лишь конец конференции. И наш вопрос пришлось решать уже на частном совещании делегатов.

Когда уезжал из Самары, предупреждали, что до места едва ли доеду.

В Пензе поезд окончательно отказался двигаться дальше. Как остановились около станции, так и остались стоять на неопределенное время.

Нудно тянутся дни, наползают медленно ночи. В мягком купе четыре души постоянно мешают друг другу и постоянно же извиняются. С утра становятся в очередь к кассе за суточными. Потом бродят, как сонные мухи, по платформе, или по городу. Вечером сползаются снова в вагоны около сальных огарков.

В депо, недалеко от вокзала, непрерывные эсэровские митинги. Но туда никого постороннего не пускают.

И в Пензе нет теперь старых знакомых — Росселя и Смирнова...

В вагоне люди сходятся быстро. Особенно, если приходится застрять в дороге на несколько суток.

Мой сосед, молодой военный врач, едет с Дальнего Востока на побывку домой. Он дорожит каждым днем, и с каждым днем накопляет нетерпеливость и нервничает. Но ругает за забастовщиков, а правительство.

— До чего довели?!. Там дуют и в хвост, и в гриву, и здесь... Ведь это революция! Как вы полагаете?

— Несомненно.

— Ну, вот!.. Это хорошо, конечно. Только скорее бы уж, что ли?..

Через шесть дней мы с ним приспособились к воинскому эшелону. И 17 октября вечером были в Москве.

С утра уже продают на улицах манифест. Открываются магазины. По улицам толпы оживленно стремятся к центру, к университету.

Там непрерывный митинг вокруг Ломоносова. Непрерывные митинги в каждой аудитории.

На верхних скамейках одного из амфитеатров, открыто, на толкущейся публике, заседает московский комитет. Здесь же распоряжается и Марат. Заслушивается доклад делегации, ходившей с рабочими к генерал-губернатору, с требованием освобождения политических.

— Он, видимо, перетрусил, — кончает докладчик: — был очень взволнован и обещал немедленно ходатайствовать!

В актовом зале самый многолюдный митинг. У дверей за столиком Землячка. Перед ней блюдо, куда бросают деньги, кольца, серьги... для московского комитета. На трибуне рыжебородый бас требует „вооружения рабочей руки".

Вечером митинги в Инженерном училище. И туда привозят, прямо из тюрьмы, засевший в феврале ЦК. Их приветствуют. Они приветствуют. Нет сегодня частных дружеских разговоров и излияний. Каждый живет, чувствует, думает за всех и для всех...

И сегодня вечер случайных совпадений и неожиданных встреч.

С утра забыл думать о ночлеге. И только сейчас, при выходе из Инженерного, обнаружил этот прорыв. И то потому лишь, что столкнулся с старым псковским знакомым, бывшим студентом Савиным. Это брат врача Савина, с которым мы вместе работали и который был сейчас в ссылке. Высланный из Питера, студент жил у меня некоторое время в Пскове. И теперь служит в одном из московских банков.

Практика нелегальной жизни всегда вырабатывает особый подход к людям, достаточно близко знакомым: нельзя ли использовать их для дела.

И когда он сразу же, столкнувшись нос к носу, познакомил с своей женой и предложил пойти к нему ночевать, об отказе от этой любезности не явилось даже и мысли.

Идем на Палиху, к Бутырской тюрьме. И Савины знакомят по-пути с своей жизнью. У них отдельная недурная квартира, для двоих слишком большая. Поэтому, пока не обзавелись мебелью, они сдают одну комнату.

— Какие-то два приказчика, — поясняет Савина, — очень скромные и тихие молодые люди, нетребовательные, не пьющие...

Это она успокаивает меня, доказывая, что моя ночевка не может никого стеснить, даже и меня самого.

— Вы увидите, какие они славные!

Я их увидел, когда мы уже ужинали, а они только-что вернулись с митингов.

Входят в столовую, действительно, славные молодые люди: Сандро и Василий Егорыч. На момент они смущены, увидев меня, и я опускаю глаза, чтобы дать им понять, что мы не знакомы.

— Знакомьтесь, — говорит хозяин: — Александр Иваныч, Николай Константиныч...

И хозяева, и постояльцы шумно обмениваются сегодняшними впечатлениями. Все были в разных местах, и у всех есть, что сообщить другим. День через край полон переживаниями.

— Удивительный день! — восхищается Савин. — Теперь люди выберутся из подполья на вольный воздух. Довольно задыхаться!..

Это он намеками хочет меня поздравить.

— Да, с подпольем, пожалуй, кончено, — раздумчиво соглашается Василий Егорыч.

И бросает осторожный взгляд в мою сторону, как-будто

спрашивает подтверждения. Сандро скрытно по-кавказски, молчит. Из него вытягивает ответ хозяйка:

— А вы, Александр Иваныч, как думаете?

— По моему, рано об этом говорить! Ко... люди очень радуются, они многого не замечают.

И разговор повертывается в сторону того, что радующиеся люди сегодня могли просмотреть, не заметить.

— В Лефортове сегодня уже убили освобожденного из тюрьмы члена эсдэковского Центрального Комитета...— выбрасывает Сандро,— вот вам манифест!

И это сообщение нависло не только над нами, но и над хозяевами. В бочку меда влилась ложка дегтя. И лучезарный день сразу начал сереть, постепенно заволакиваться облаками, как рентгеновский снимок. Завтрашний день уже наполняется ожиданием и сомнениями. Чувствуется та же борьба, которая шла до сегодня...

5

Примитивно-заостренные формы этой борьбы уже через день увидел в Орле.

Наша квартирная хозяйка в ужасе и смятении. Потому что две наши с Еленой комнаты до отказа наполнены еврейскими семьями с детьми.

Сидят и ползают по полу — ходить уже негде. Пришибленные, подавленные люди уже утратили даже и способность двигаться, способность желать, думать, чувствовать. И то скорбное отчаянье, которое источалось из десятков глаз при моем возвращении домой, вызывает в памяти библейские сказания о неизбывных страданиях и исходе в пустыню затравленной нации.

Погром развернулся непосредственно после разгона демонстрации по поводу манифеста. Голубков и Елена шли в голове демонстрации. Голубкову палкой сломали нос, Елене крючьями изорвали на полосы платье. Потом хулиганье и казаки грабили еврейские магазины, а еврейские женщины и дети метались по улицам, отыскивая пристанище и защиту.

Сейчас погром спал, но выпускать эти семьи на улицу небезопасно. И необходимо их устроить в более сносные условия, чем здесь, в куче в повалку.

Пришлось использовать наши организационные связи — обратить явочные и другие квартиры в временные бесты детей и женщин. И вечером, под покровом темноты, разместили всех в более безопасные места.

Погромный барометр переместил стрелку на интеллигенцию. И прежде всего на либералов и либеральных земцев. И только теперь либералы начали понимать историческую трагедию еврейского положения.

Они заговорили об обороне. И там, где до этого были наши приемные квартиры и явки, теперь с вечера до утра дежурят дружинники с револьверами. Днем ходят за город пристреливать бульдоги и смиты, а ночью на дежурстве, в либеральной квартире, читают нелегальную литературу. От времени до времени сменяют дозор... А после полуночи, сменившиеся с дозора засыпают во всей амуниции в креслах, на диванах, просто на полу.

Подпольная литература сразу, явочным порядком, стала легальною. Ее уже не считают нужным и прятать, если она у кого имеется

Через нас проехал, возвращаясь из Питера, бакинский Авель. Заехал, по поручению ЦК, сообщить, что его типография перебрасывается в Питер и будет работать в легальной обстановке. Рассказал об организации в Питере и Москве легальных партийных издательств.

И, однако, сразу же почувствовалась кругом острая необходимость в оружии. И не для отпоры и обороны, а для нападения. Необходимость, неизбежность вооруженного восстания — в широких рабочих массах встала ярко на другой же день после манифеста. И, вероятнее всего, она накоплялась и укреплялась повседневным опытом, начиная с январского питерского расстрела гапоновского шествия.

Мы торопились привести в порядок и подготовить к переброске в Москву весь наш организационный скарб. Здесь нельзя больше оставаться ни одного лишнего дня, если не желаешь безнадежно отстать от жизни, от ее решающих боевых схваток. Армия всегда предпочитает рвущихся в бой отстающим. Революционная армия в особенности, ибо здесь не всегда решает оружие. Баррикады не часто приносят победу своим борцам, но они всегда и неукоснительно видоизменяют лицо истории, взаимоотношения классов.

Но лицо истории — самое капризное и самое вероломное лицо в мире. Оно привыкло менять свои выражения (действительно менять, а не притворяться) только тогда, когда его принудят это сделать силой оружия. Поэтому мы не сторонники вооружения только жгучей потребностью самовооружиться, ибо не хотим быть обманутыми.

Оружие прежде всего, возможно скорее и возможно больше оружия.

6

Начало ноября — начало свежих, ядреных утренников, когда пристывает дорожная грязь, застекляются осенние водоемы. Освобожденные от листьев деревья освобождают пространство. И обнажают то, что было за ними летом скрыто от глаз. В лесу и в поле человек становится дальнозорким, и его тянет тогда к движению, к непоседливости, к непрерывному переходу с места на место.

В вагоне хуже. Манят дали, которые пробегают и убегают. И нет перед глазами того, что впереди. В вагоне действительность всегда сбоку, всегда по касательной, а не прямо. Поэтому всегда мимолетная, чужая, ненужная. И о ней в вагоне не говорят совсем.

Здесь разговоры теперь тоже уводят к далям. Выпала как-то война, позабыли о ней, кроме тех, кто носит траур или боится траура. Прошли погромы, как черная туча. И те, кто не задет ими, тянется мыслью в завтрашний день.

— Теперьча, ежели эти самые социалисты, как говорите, в гору пойдут — не дай господи! Когда, значит, человек горбом, можно сказать, всю жизнь добывал—и на всех?.. пожалуйте вам, люди добрые, к готовенькому! Это, барынька, не порядок. Так, ведь, я говорю, правильно?

Этот купец попал не в свою компанию и вынужден обороняться против всех его окружающих. Он еще в длинном мужицком пиджаке и сапогах с набором. Ездил до сих пор в третьем классе, где себя держал первым в деревне. А сейчас ему там несподручно стало: обасурманел народ, нет ему удержу — ты ему слово, он тебе десять, на ласку руганью отвечает. Не стерпел купец, внес доплату, классом выше поднялся.

А здесь на него насела стриженая жена инженера. Муж ее забастовщик — в союзе союзов. В руках у нее меньшевистская газета Начало. И купец выбивает ее из равновесия своей тучной фигурой и прямым мужицким пробором на голове. И когда он, в расчете на мягкое женское сердце, попытался с ней поделиться своим огорчением, она отпалила ему:

— Это классовый антагонизм проявляется: они видят в вас эксплоататора!

— Чего-с?— Купец явно не понял и подозрительно насторожился: не продолжение ли это того, от чего он сюда спасался.

— Они чувствуют, что вы на их счет живете!

От неожиданности и явной для него несуразицы такого предположения купец глаза выпучил:

— Это как же так на их счет, когда мы свой достаток имеем! Слава богу, за чужим в люди не ходим!

С скрытой издевкой, она подводит под него научную базу прибавочной стоимости и сталкивает его с социалистами.

— Но социализма вы можете пока не бояться: революция буржуазная! А вот насчет рабочего дня и прибавочной прибыли — это уж придется вам поступиться.

Но он также не улавливает ее иронии, как и извилистой тактики каких-то социалистов. На лбу его собираются складки — он напряженно, всерьез пытается ее понять. О социалистах он уже слышал — это против царя и всем поровну. И с этим он никак согласиться не может.

— Оно, конечно, если всякие там беззакония, либо взятки... Так, ведь, немало их, беззаконников-то, и постреляли, и бомбами порвали! А только порядок всякому нужен, без царя не обойтиться — должон быть хозяин.

Наш переезд в Москву совпал с экстренным вызывом туда от Никитича. Поэтому прямо с вокзала направляюсь на явку, где дают нужный адрес.

Дверь открывает высокий угловатый человек, сразу же показавшийся страшно знакомым. Долгая и частая смена перед глазами все новых и новых лиц приводит к тому, что все люди, даже которых никогда до этого не встречал, начинают казаться знакомыми. Однако этот знаком в особенности, и настолько близко, что становится неловко от невозможности припомнить, кто это, где именно с ним встречался.

Но он сам не выражает желания начать с этого. Замыкаюсь в официальную скорлупу и я.

— Мне нужно Марью Федоровну.

— Пройдите, обождите — она скоро должна быть.

Сидим с ним в зале большой, хорошей квартиры. Он держит себя хозяином, хотя в простой тужурке и высоких сапогах. И ведем вынужденный разговор, какой полагается в таких случаях вести, — о последних новостях и событиях.

Говорит непринужденно и просто, как с старым знакомым. Но напомнить об этом не хочет, и этим смущает. Кажется, близко знакомым и его разговор: родное волжское оканье и прямота подхода к предмету. И, как нарочно, не могу ни с чем его увязать в своей памяти, как ни усиливаюсь это сделать. А тут еще неизвестные мне новые неизвестные слова и понятия.

— Кадеты? Причем тут эти военные юноши?

— Так прозвали новую партию конституционных демократов, — поясняет он. — Иногда зовут и „кадюки“, а обиходное слово творчество переделывает в „гадюки“. Новая жизнь... вы видели последний номер?

„Словотворчество... Новая жизнь“... — работает моя память. — Журнал Жизнь... Фома Гордеев... Даже забыл о заданном вопросе, так неожиданно память преподнесла мне ответ на назойливый вопрос — где же я его видел: на открытках, в журналах... Конечно же, это он, писатель с волжскими настроениями и красками моей родины, с дерзостью улицы, на которой я вырос... Максим Горький.

И я смотрю на него, как баран на новые ворота. А он на меня смотрит и ждет ответа на вопрос, о котором я уже забыл.

Чтобы скрыть невольное замешательство, вынимаю часы.

— Вы торопитесь?

— Мне нужно было бы попасть в одно место.

Раздался звонок.

— Кажется, это она!

Оказалось, действительно М. Ф. Андреева. И с ее приходом само собой закончилось мое глупое положение.

— Дело вот какое... — начала она, когда мы втроем перешли в ее кабинет.

И она рассказала, как на-днях, в трамвае черносотенцами убит был Грожан. Он организовал мастерскую снарядов и непосредственно ведал ею. И теперь нужно было кем-нибудь заменить его. Дело серьезное и дело важное. Нужен не только хороший организатор, но и решительный человек. И она, и Горький присмотрели такого человека в лице нашего Чорта.

— Дело теперь за вами, — кончает Андреева: — вы должны его отпустить!

— Чортика вы должны нам отдать, — добавляет Горький. — На его место вы найдете скорее, чем мы на место Грожана.

Чорт был уступлен. И типографию приняла от него Елена.

7

Наши задачи изменяются на глазах самой жизнью. И мы, практические их выполнители, неизбежно отстаем в их наметке.

Из Орла мы выезжали еще транспортерами литературы по преимуществу. В течение двух лет мы честно сеяли на местах литературное выражение идей революции. Через две недели

после переезда в Москву обнаружили вдруг, что сейчас такой посев уже ни к чему, лишний, кустарнический. Легально выходят партийные газеты, организуется партийное издательство Колокол, открываются партийные книжные магазины. Издания нашей бакинской типографии выброшены на открытый рынок.

Наш нелегальный транспорт литературы пережил сам себя. Мысль, зародившаяся в Орле, стала здесь, в Москве, очевиднее самих фактов.

Но когда естественно прекратилась работа в типографии на Лесной и пред Никитичем был поставлен вопрос о ее ликвидации по примеру бакинской, он ответил:

— Ни под каким видом! Ленин находит, что она еще понадобится. И, пожалуй, скорее, чем мы думаем!

И любопытная вещь. Усилился спрос на нелегальные типографии в провинции. Там жизнь шла поиначе. Как преждевременная радостная улыбка с лица, она спугнута погромами и снова зарылась в землю. Под почвой она клокотала и переворачивала тяжелые камни противоречий. Провинция требовала вольных станков для местной, нелегальной проработки больших идей и вопросов.

И наши старые навыки приобретения шрифта и машин умирать не хотели еще. Словолитни еще требовали губернаторских разрешений и предъявления паспортов. И приходилось этим требованиям подчиняться.

— Это же для проформы только, — говорит Аристарх, отправляясь к Леману с только-что им самолично изготовленным паспортом.

— Но, ведь, это же не паспорт, а откровенная липа, на предмет издевательства!

Он взял старый паспорт, смыл в нем старое имя и вписал новое. Но смытое место стало желтым, а новое имя вписано свежими чернилами. И имя русское, а Аристарх типичный семит, с таким рыкающим говором, что его нельзя назвать русским именем, даже закрывши глаза.

— Сойдет! На чорта церемониться с ними?..

И сходит. В конторе Лемана лишь понимающе улыбаются при обозрении такого паспорта и товар отпускают. Торговцу ведь все равно, какой паспорт будет зарегистрирован в отпускной книге — настоящий или липовый, — лишь была бы выполнена формула обращения: товар — деньги — товар.

И эта же золотая Марксова формула хорошо известна и торговцам оружием. Они тоже сквозь пальцы смотрят на того,

кто покупает. И не их дело, для чего и что покупают. Паспорт записан, формальнось выполнена — остальное их не касается.

А оружия требуют от нас все больше и больше. Это теперь основная наша задача — снабжение оружием. Наши районные технические группы еще живы. И Лука Семеныч в Киеве окончательно перевел транспорт из-за границы с литературы на оружие.

Здесь мы закупаем его во всех оружейных магазинах: револьверы, маузеры, винчестеры — пока небольшими партиями, но без перерыва и ежедневно. Магазины привыкли к этому так же, как словолитни к липовым требованиям на типографский ассортимент. И конспирация сводится лишь к заготовке квартир, куда непосредственно из магазина, на лихаче, доставляется оружие.

И ежедневно на Моховой, в отделении конторы Новой Жизни, приходится на этот предмет вести с заказчиками переговоры и заключать сделки.

Издатель Сытин вооружает своих рабочих на случай черносотенного погрома его великолепной большой типографии. Наши с ним задачи совпадают здесь в одном пункте — вооружение рабочих. Но хитрый, практический старик конспирирует и передает свои заказы через своего молодого сына, социал-демократа.

Кушнарев предпочитает свою выдачу на оружие завуалировать ордером на выдачу рабочим пособия на их бедность.

Вооружает рабочих и мебельный фабрикант Шмидт. Но этот юноша-студент сам большевик и смотрит дальше своих предпринимательских интересов.

— С револьверами восстания не устроишь, — говорит он: — нужны по крайней мере винчестеры.

И он сам указывает квартиры-склады.

Через месяц на Пресне, где была его фабрика, его рабочие оказались вооруженными несравненно лучше других. Усмирители Пресни догадывались о его роли и совершенно сознательно подводили его в тюрьме к трагическому концу.

8

И часть наших средств пущена в русло легальной рабочей печати.

Газета Рабочий, выходившая из подземелья на Лесной, прекратила существование. Но потребность в широкой рабочегазете выросла в сотни раз. И ее надо удовлетворить.

Иннокентий и Андрей, в коалиции с нами, вошли в соглашение с московским комитетом. Решено издавать Вперед, в качестве органа МК, с представительством от него в редакции Васильева-Южина.

И мы с Голубковым ведем переговоры по этому изданию в типографии Холчева, на Тверском бульваре.

Это либеральствующий издатель бульварной Вечерней Почты. Он изворотлив, ненадежен, жуликоват. Но он единственный, не обремененный заказами: в его типографии есть место.

Мы решаем выпускать газету явочным порядком, без разрешения администрации. И загодя, до выпуска, рекламируем свой Вперед, его задачи и цели. Но мы еще слишком неискушены в новой конституционной практике. Слишком самонадеянна наша гордость, только-что вырвавшаяся из подполья.

Когда понадобилось уже назначить типографии день выхода газеты, Холчев потребовал разрешения администрации.

— Разумеется, это пустая формальность,— либеральничает он:— но может потребовать инспектор. И хорошо, если он меня только оштрафует!

И он развертывает инструкционные правила, регулирующие работу типографий. Он, Холчев, тоже за явочный порядок, потому что считает его наилучшим. Но формалисты-инспектора, к его сожалению, этого принципа не придерживаются. А рисковать закрытием типографии он не может.

Горечь первого компромисса всегда самая горькая. Но на нее пришлось идти: слишком достаточно уже ушло средств и сил на подготовку всего дела.

Добывать разрешение уже поздно. Взяли уже имевшееся разрешение на библиографический еженедельник Книжный Рынок. И этот Книжный Рынок набрали в заголовке своей газеты мелким шрифтом, а крупным Вперед: на первое время сойдет, дальше уладится.

Но этим наше конституционное обучение не закончилось. Первый же номер Вперед, при перевозке из типографии в редакцию, подвергся нападению черносотенцев. Его пачками растаскивали неизвестно куда, рвали, разбрасывали по мостовой... Свобода печати на практике претворялась в свободу погрома печати.

И братья Мураловы, работавшие в экспедиции нашей газеты, должны были организовать охранную дружину. Ранним утром она отправлялась в типографию, а оттуда эскортировала

тираж до редакции. Дружина окружала ломовика, как конвой этапную партию, с маузерами на изготовку.

А через пару дней встал вопрос об охране уже не только транспорта, но и печатания в типографии.

В киосках наша газета не продается. Ее там не рискуют выставить. Из разносчиков на ходу берут только мальчуганы. И они собираются в подъезде редакции задолго до привоза тиража из типографии. У них больше дерзости, чем у взрослых. И их быстрые ноги позволяют им брать на себя и более рискованные дела.

Комитет мобилизовал из районов, для доставки туда газет, безработных. Так что весь тираж сейчас же направляется по фабрикам и заводам. И в этом основной смысл нашего издания: оно идет именно туда, куда и должно идти по своему замыслу.

И в этом, несомненно, и смысл той черносотенной ярости, с которой газета преследуется. Ничего подобного не испытывают ни большевистская Борьба, недостаточно близкая к рабочим по языку, ни меньшевистская Рабочая Газета.

Классовый нюх черной сотни ведет ее правильным следом: она боится организации революционного сознания именно рабочих масс, а не кого-либо другого. Но своими усилиями этому помешать она лишь ускоряет ход революционной логики вещей.

Кольцо исторической неизбежности замыкается тем скорее и решительнее, чем больше этому замыканию противодействуют.

БАРРИКАДЫ

1

Вопрос о восстании решен утвердительно. Рабочие отгораживают себя от правительства и от тех, кто с ним, баррикадами.

Но мы еще продолжаем работать в редакции нашей газеты Вперед. С таким огромным трудом она налаживалась и только-что начала выходить. Пытаемся дотянуть до последней минуты.

Вчера, 6 декабря, составлен был последний повстанческий номер. А вечером в центре и в театрах уже не было света. Все спектакли отменены. Но наш выпускающий, Аристарх, все же отправился в ночь в типографию, чтобы наблюдать за печатанием последнего номера.

Сегодня он не вернулся. И о нем, и от него нет никаких известий. В типографии он не был, и типография не работала. Не работает и сегодня. А когда начнет снова работать — неизвестно.

Дело совершенно ясное. Восстание началось. И с газетой приходится оборвать.

Наскоро приводим в порядок денежные документы и книги в редакции. Собираем и упаковываем литературные материалы. Договариваемся с редакционным курьером: он остается здесь для охраны квартиры.

Последняя связка, последние распоряжения. И газетная суматоха, газетные настроения сразу отодвигаются куда-то в глубь, на запасный путь. Может быть, их уже не придется оттуда и возвращать, как оказавшийся излишним старый вагонный состав.

Решать будет улица. Ее решение — наше решение. Вчера транспорт, сегодня газета, завтра баррикады — разные этапы одной и той же революции, одинаково важные в ней и нужные.

Сегодня мы перестаем быть газетчиками, завтра встанем рядом с дружинниками, каждый в своем районе — в чем дело!..

И все внимание, напряжение, мысль немедленно переключаются за стены этих, необычно сейчас молчаливых, комнат — на шумную, многоликую, многоголосую улицу. Уже начинаешь жить там, а не здесь, откуда еще не вышли, где еще прибираем остатки неприбранного.

Мы живем с Голубковым в соседстве друг с другом на Триумфальной и Каретной-Садовой. От редакции, с Большой Никитской, это рукой подать — по Тверскому бульвару и Малой Дмитровке. Но едва выходим вчетвером — на Тверской бульвар, как обнаруживается, что прямой путь, через Страстную, уже отрезан.

И кругом недоуменные разговоры, удивленные восклицания. Прохожая публика озадачена.

— Баррикады на Бронной?..

— На Страстной драгуны стреляют в дружинников...

— На Спиридоньевке снимают ворота для баррикад!

Когда проходили сюда от дома, ничего похожего еще не было. За 3 — 4 часа мирный деловой район успел превратиться в боевой лагерь.

Направляемся по Малой Никитской, чтобы с Кудринской площади повернуть по Садовой.

Улица почти пустынна. Дворники деловито осматривают запоры ворот и захлопывают их наглухо. В домах затаились настороженность и беспокойство.

При выходе на Кудринку кучка молодежи. Стаскивают из ближайших дворов всякую негодную утварь — дровни, ящики, бочки, поломанную старую мебель... И даже самые ворота, снятые с петель. Студенческого вида молодой человек властно распоряжается.

— Живее, товарищи!.. Сюда вали!.. Оставить проход на тротуаре!

Последние слова приказа уже излишни: он в точности выполнен раньше, чем оказался произнесенным. Как-будто каждый приказывает себе сам, и то самое, что предполагает распорядитель. И все делается без разговоров, без шума, без суетни, сосредоточенно и серьезно:

— Ворота не закрывать!.. Эй, ты, дядя!

Это относится к дворнику, который торопливо и старательно припирает железные ворота особняка. И уже набрасывает цепь на калитку. Он или не слышит приказа, или не хочет слы-

шать: на войне, ведь, не говорят „дядя“ и не заботятся о воротах.

Твердым военным шагом распорядитель идет к нему через улицу.

— Сейчас же открыть!

Дворник медлит, что-то пытается объяснить. Рука распорядителя из кармана протягивается к нему с револьвером. И ворота распахиваются с большей поспешностью, чем закрывались.

— Не закрывать совсем!

На Кудринской опять разговоры. Сталкиваются два встречных течения — от Тверской и с Смоленского рынка. И все беспокойно спрашивают у всех:

— На Тверскую можно пройти?

— На Арбат пропускают?

— У Полтавских бань дружинники не пускают!

— Арбат еще свободен пока.

И люди торопливо расходятся в нужном им направлении.

Мы оказались отрезанными и по Садовой. Приходится обходить дальше — мимо Зоологического, через Грузины.

Здесь движение сильное и спешное. Очевидно, не мы одни нашли этот обходный рукав. Извозчиков уже нет. Прекратилось и всякое ездовое движение. Хотя сумерки не наступили еще. И хотя разрозненные кучки людей, густо и торопливо, спешат выбраться из района.

На каждом углу оживленные группы мальчишек. Они никуда не спешат. Но они везде опережают уличное движение. Им весело, и у них праздник. Ни одного неразбитого газового фонаря Грузины уже не имеют. Сейчас ребята добивают остатки. И уже пытаются безуспешно раскачать и повалить фонарные столбики.

Проходим несколько баррикад. Одни только начаты постройкой, другие пока не достроены. Через них, по тротуарам пропускают свободно. Но от работы не отрываются. Здесь заметна рабочая публика. И те же самые гамэны — разрушители фонарей — деловито шмыгают между взрослыми. Они самые деятельные и самые бескорыстные помощники строителей и защитников баррикад. Так повелось еще с далеких времен великой французской революции.

И — кто знает — не являются ли они невольными выразителями идеальнейших человеческих устремлений?.. И не приносят ли они на баррикады мужество и воодушевление своим старшим, отцам и братьям?

2

Добрались до дому лишь вечером.

Старый, придавленный временем дом Персиц, на углу Долгоруковской и Садовой. Около него уже строилась баррикада из всякого хлама, обнаруженного на всех соседних дворах. Парадный ход снаружи заплетен проволокой. Заплетены и соседние наружные входы в мастерские и магазинчики. Проволокой, от скоб к тротуарным тумбам, прегражден и проход по тротуару. Это квартирные баррикады, не от солдат, а от ближайших соседей: мещанский аршин всех меряет по себе.

Днем здесь полиция уже успела расклеить обязательное постановление: окна не должны быть вечером освещенными, иначе по ним будут стрелять. И вся улица приняла необычайный вид. Ни фонарей, ни светящихся окон. Изнутри окна завешены одеялами или заставлены шкафами.

И на улице вид поздних сумерек: видно небо, и смутно выделяются белые здания. От них пока достаточно света, чтобы ориентироваться в окружающем и не залезать в домашнюю нору. Там, в домах, теперь сгустилась тревожная неизвестность и ожидание опасности. И они выгоняют из нор людей на улицу. Здесь безопаснее, и в куче: на миру легче дышится.

Транзитного движения теперь здесь нет. Но улица полна своими, здешними. Она захвачена ими. На ней столько людей, сколько не бывает никогда и днем, в самое деловое время. Они не идут, а топчутся с места на место, с тротуара на тротуар. Свободно передвигаются взад и вперед и по средине дороги. Никакая езда не мешает и не настораживает. Громкие разговоры случайны и редки. Ибо никто не хочет обнаружить внутренней своей тревоги, и говорит так, чтобы слышал только близкий сосед. Так говорят лишь в необычно ответственной обстановке, серьезно и задушевно.

И оттого на улице теперь, несмотря на плотную, густую массу людей, входит в уши лишь шорох. Слабый, как отдаленный и приглушенный гул ледохода — когда шуршит о берега лед и когда льдина, наплывая на льдину, притирается и скользит на бок.

Падает с неба мягкий пушистый снежок. Он придает обстановке теплоту и покой. И даже редкие щелканья револьверов, неизвестно откуда и неизвестно зачем, не вносят ни малейшего беспокойства в толпу. Даже излишними кажутся громкие, одинокие, вслед за выстрелами, призывы:

— Товарищи, не беспокойтесь!..

— Это провокация!..

Никто не беспокоится и не останавливает шуршащего движения..

Громкий стук неожиданно врывается в это шуршанье. На момент толпа останавливается, затихает совсем. Стук топора или кузнечного молота по большим деревянным предметам. Тревожный и грозный, как в крышку гроба перед могилой, он отскакивает от уличных стен и мечется набатом над головами.

И сейчас же заговорили. Все поняли и ожили.

— Баррикада!..

— На углу Тверской?..

— Это около „Аквариума"...

— Зачем там? На Тверской!..

Сдерживаемое напряжение развязалось. Разговоры громче, движение быстрее. И то, и другое получило определенность и ясность. Похоронены покой и налаженность. Началась борьба, неизбежная и кровавая, тут же под боком, у себя дома. Борьба, которой никто еще из этой толпы никогда не видел. И, вероятно, будет об этом думать все время, когда окажется сегодня под своей крышей.

Что она принесет завтра?..

3

Сегодня первый день, когда близлежащие улицы тихи и с утра пусты. Наполнены ожиданием. Кучки людей у ворот, готовые в каждый момент в них попрятаться. Редкие торопливые перебежки по тротуарам, ближе к стенам. Небольшие группы дозорных около баррикад.

Враг не наступает еще. А его ожидают со всех сторон одновременно.

Но кучки у ворот гуще. Сегодня ведь никто не идет на службу и на работу. Чем-то надо заполнить неожиданный досуг. И на улице опасность виднее, значит — меньше обезоруживает. Кучки разрастаются, отпочковываются. Промежутки между воротами обрастают движением, перебежками. Подходят к баррикадам, выглядывают за них. Пробираются дальше, на соседний участок.

Из ближайшего парка, на Долгоруковской, выкатывают вагон и опрокидывают его на бок, поперек улицы. Рядом церковь.

— Вот и штаб!

По трамвайным столбам ползут вверх слесаря. И, забравшись, долго, сосредоточенно отпиливают от столбов дуги с проволокой. Это материал для скрепления баррикад.

По концам баррикады-вагона уже растут крылья — из скамей, досок, ящиков, деревянных ворот.

Издали доносятся выстрелы — по одиночке и пачками. Толпа редеет, расплываясь в разные стороны. Где-то далеко начинает строчить пулемет.

По Садовой, от Каретного к Тверской, проносят первого раненого. Санитарные носилки в крови. Санитар и сестра тревожны и бледны. Спешат к губернской земской управе, где уже развернут пункт и выброшен над входом красный крест.

— Началось, началось!.. — срывается с места женщина. Она только-что добродушно беседовала с дружинниками.

— Господи, что будет?!

И бежит ближе к своим воротам.

От Каретного на Садовую высыпал взвод конных жандармов. Но не успел развернуться, как посыпался револьверный горох с крыши, из слуховых окон трактира „Волна". Взвод, повертываясь обратно, смешался. Один повалился с лошади и остался лежать, другого задержали двое в седле. И беспорядочной группой, спешно скрылись опять в Каретный.

Перед нашей баррикадой, из-за угла Малой Дмитровки, осторожно выдвигается штык.

— Солдаты!..

Их еще не видно. Они подбираются цепью по стенке. И, не выставляясь сами из-за угла, направляют в уличный рукав винтовки. Угол Чичкинской молочной сразу обрастает щетиной штыков. И сразу же разрозненный залп — без прицела, без предварительного осмотра улицы. На спуг или на удачу. Пули щелкают по стенкам домов. Звенят кой-где стекла.

И сейчас же солдаты выбегают с Дмитровки к баррикаде. Уж кой-кто из них торопливо, с остервенением тычет в нее штыками, чтобы разрушить: раз она не отвечает на залп, значит — за ней никого нет.

Но в этот момент с солдатского тыла, сверху защелкали выстрелы, в разброд и по несколько в раз. Один из солдат упал. Другой завертелся винтом, но устоял. Третий рванулся назад. В один момент, захватив своих раненых, все исчезли за тем же углом, из-за которого высыпались. Перед баррикадой осталась лишь неподобранная солдатская бескозырка.

Это, очевидно, не было наступлением, а только разведкой. Улица вновь успокаивается. И скоро опять зачернели под воротами кучки, начались перебежки от дома к дому, с тротуара на тротуар.

На другом углу дома Персиц другая баррикада. Она запирает Оружейный переулок. Там как-раз оказался между двумя баррикадами — от Тверской и отсюда — полицейский участок.

Городовые непрерывно по одиночке выглядывают из ворот на обе стороны. И сейчас же прячутся. Выйти из ворот, даже выставить из них целую голову они не решаются. Их стерегут баррикадники и сейчас же берут на прицел. Два студента — один с винчестером, другой с охотничьей двухстволкой — взяли на себя эту задачу наблюдения за участком. Винчестер новехонький. В ноябре мы много их закупали в московских магазинах для боевых дружин. Их продавали тогда десятками в раз, без особых формальностей. Буржуазия всегда готова продать, даже оружие для восстания против себя. Потому что не ей же придется потом стоять перед этим оружием.

— Смотри, смотри — выглядывает!— переговариваются негромко дружинники.

— Спрятался, сукин сын!

— Это околоток! Только шапка городового, а плечо серое...

Винчестер бьет с наметки. И сейчас же из ворот участка выскакивает серая фигура, стреляет в сторону баррикады из револьвера и моментально скрывается обратно. Второй выстрел винчестера уж запоздал.

Двоих они все-таки подстрелили. И подстреленные втянуты были в ворота их невидимыми товарищами.

Если бы городовые были немного смелее, они без труда могли бы через эти баррикады прорваться. А теперь отсиживаются до сумерек, когда можно будет из этого зажима переодетыми выбраться.

4

Ночь прошла спокойно. Баррикады охранялись. И нападений не было.

Является желание пойти на разведки. Наш мир между баррикадами и двумя рядами домов, как в большом ящике. Недостает только крышки, чтобы оказаться совсем закупоренным. Не знаешь того, что кругом. Не уверен в том, что ты не один. Хочется знать, что делается в других местах.

В редакции на Никитской остались 2—3 винчестера. Их необходимо извлечь и пустить в дело. Идем вдвоем на вылазку, через Малую Дмитровку. Она совершенно свободна от баррикад. И по ней свободный выход к Страстному.

На Страстной много спешенных драгун, кучками, в разных местах. Но движение по Тверской и бульварам обычное, как всегда. Попадаешь, как в другую страну. За две улицы, за спиной — состояние войны, баррикады, боевая насторожен-

ность, выстрелы, ружья на изготовку. Здесь беззаботная, чуть не фланирующая толпа. Разговоры, смех, шутки, как-будто ничего особого не случилось. Ездят извозчики. Спокойно гуляют и сидят на бульварах.

Вешаем оружие на шею, под пальто, дулом вниз. Винчестер портативен и легок. Если осторожно шагать, дуло из-под полы не выглянет.

Возвращаемся старым путем по Тверскому. Он уже перерезан серой шеренгой солдат. Около градоначальства патруль обыскивает всех проходящих. У Богословского переулка на другом тротуаре то же самое.

— Нарвались с ковшом на брагу!

— Назад надо.

Возвращаемся в студенческую пивнушку, в конце Тверского. Из окон видно, как бульвар быстро пустеет.

— Теперь куда?..

— Через Бронные.

— Не пройдем.

— Попытаем!

Бронные и Козихи — Латинский квартал. Кривые, путаные переулки и тупички. В них запутаешься и без баррикад. И за каждым поворотом маленькая замухрышная церковь на курьих ножках.

Баррикады сплошь, одна за другой. Здесь много студентов. И здесь своя баррикадная республика. За баррикадами густо. Не менее густо и между баррикадами. Так что трудно определить, которая сторона баррикады обращена к врагу. Он еще здесь не появлялся пока.

Чем дальше, тем настороженнее дозоры. Тем труднее пропускают.

— Можно выбраться на Тверскую?

— Нельзя. В Палашевском не выпускают!

— Как же теперь?

— Обратно, по бульвару.

— Это не подходит: там обыскивают.

— Уже?.. А вам хочется обойти?

Не то студент, не то рабочий. Смотрит на нас с боку понимающим, смеющимся глазом.

— Другого пути нет!

— А кто у вас начальник?

— У нас нет начальства! А вам зачем?

Смотрит уже прямо и подозрительно.

— Переговорить надо.

— Для этого начальник не нужен... С ним вот переговорите, если нужно!

Кивает в сторону другого такого же, не выделяющегося от прочих.

— Сергей, иди сюда!

Такой же молодой, но более сосредоточенный. И тоже нето студент без формы, нето рабочий. Он переходит от одной группы к другой. Тихо с ними беседует. И, повидимому, распоряжается, как набольший.

— В чем дело? — меряет нас глазами от шапки до башмаков.

— Хотят переговорить!

— Идите!

И сразу повертывается спиной. Идем за ним на ближайший двор. В угол между помойкой и стеной соседнего большого дома. Ни с улицы, ни со двора нас не видно.

Рассказываем, как попали сюда. Он минуту пощипывает ус, думает.

— Если провести через Палашевский, на Тверскую, пожалуй, не выдеретесь — тут есть шпики — схватят, и пропадет оружие. Или у нас оставайтесь, или оставьте оружие. Потом возвратим.

И сам засмеялся над таким обещанием.

Снимаем и вручаем ему винчестеры. А браунинги подвешиваем под белье между ног. Авось не нащупают.

Дружески, тепло расстались. И тем же путем возвращаемся к бульвару. На тротуаре вдали группа солдат оглаживает сверх пальто каждого. Едущих в экипажах не щупуют, а лишь, откидывая полость, смотрят под ноги и под сиденье.

— Извозчик!.. Малая Дмитровка.

Едем к патрулю как чистая публика, с которой патрули еще церемонятся. И все-таки нас просят вылезть и слегка оглаживают сверху вниз.

Извозчик довез только до половины Дмитровки.

— Боязно, еще пожалуй подстрелят!

Пришлось добираться до Садовой пешком.

5

Вечер. Опять падает мягкий снежок. Луна затемнена облаками. На улице мягко и легко дышится.

Прохожих нет. На баррикадах спокойно. Оставлены только дозоры. Основные кадры в близлежащих квартирах и чайной. Они ежеминутно готовы к тревоге. И их позовут при малейшей опасности.

Большим искушением является сейчас — выйти за пределы своего ящика. Пробраться по теневой стороне совершенно пустынной Малой Дмитровки к центру. Идешь, как по огромной сплошной деревне, где рано ложатся спать и берегут огонь. Не лают даже собаки, потому что во дворах их нет. Они в хозяйских комнатах, по ту сторону баррикад. А бродячие, вероятно, пугаются тишины и подались к центру.

На Страстной площади кусок боевой жизни. Против монастырских ворот горит костер, как на привале в поле. Огонек не столько от холода, сколько для того, чтобы охотнее было людям коротать обезлюдевшую длинную ночь.

Около костра толкутся солдаты. Сидят на корточках, стоят на ногах. Одни отходят, другие приходят. Огонь кровавит лица и режет их тенями. Но они весело смеются, перебрасываются шутками. Около них козлы из ружей. Их можно прощупать глазами только потому, что огонь отблескивает на штыках.

Под воротами Русского Слова, в нише темнее. И оттуда видна вся площадь. Глаз нащупывает по углам Тверской и около Пушкина другие живые сгустки. Около них нет костров, и они так сливаются с брезгом ночи, что нельзя определить, солдаты ли это. Но можно об этом догадываться: от темных пятен к костру и от костров к пятнам подходят и отходят солдаты.

Очевидно, центр охраняется. И, очевидно, любопытство может быть расцениваемо и как неприятельская разведка.

Надо играть назад. И отступать осторожнее, чем шел сюда.

И теперь та же Дмитровка смотрит и дышит иначе. Не как большая спящая мирно деревня, а как враждебный затаившийся угрюмый форпост оставленного за спиной военного лагеря. Завтра, и даже сегодня, сейчас он может принять артиллерию. И за каждыми воротами, за каждой нишей, в каждом дворе могут оказаться взводы солдат, отвоевывающих у рабочих каждую баррикаду, каждую улицу.

В нашем участке все совершенно спокойно. Обитатели вечером уже не выходят на улицу, не толпятся под своими воротами. Мещанское любопытство, за два спокойных дня, уже утомилось и израсходовалось. Все спокойно сидят или спят по своим норам. Баррикады их не тревожат. На баррикады тоже не нападает никто. И пусть их охраняет тот, кому они нужны.

Здесь нет рабочих. И на баррикадах неукоснительно дозорят лишь 2—3 дружинника из молодежи студенческой. Да и им, очевидно, не так интересно охранять то, на

что не посягает никто и чем окружающее так слабо интересуется.

И эти пара-тройка дозорных по-честному, искренно даже довольны, когда останавливаются около них захожие и прохожие люди. Вступают с дозорами в разговоры, добродушно спрашивают, даже щелкают кодаками.

— Зачем вы позволяете себя снимать?

— Что же, пусть побалуется.

— А если это шпики?..

— Ну... едва ли: они теперь все попрятались!

Наивность, доверчивость, добродушие баррикадных бойцов отмечают, кажется, все революции. Они дерутся, как львы, когда непосредственно на них наваливаются озверелые, тупые солдатские массы. Самоотверженно, с исключительным геройством, свойственным только защитникам баррикад, защищают свои самодельные крепости от врага, вдесятеро сильнейшего. А в перерывы между боями — это просто люди, доверчивые, хорошие люди, которые отгоняют от баррикад даже кошку, мимоходом проявившую интерес к наваленным в груду ящикам. И это самое слабое место баррикадной борьбы.

6

С утра от Страстного неожиданно и резко ухнуло. И второй раз, и третий. Ни у кого нет сомнений — пушка. Собравшиеся на улице кучки сжимаются, оглядываются за спину на ворота. И продолжают прислушиваться.

Подбираются и выпрямляются дружинники, тоже в кучках, у концов баррикад. Это уже не вылазка солдатского взвода. Это настоящий артиллерийский бой.

Опять ухнуло. Кучки под воротами поредели. Но еще остаются. И от ворот до ворот, как по цепочке, передается:

— Стреляют вдоль Тверской... Баррикада разрушена!

Та самая, которая так четко сколачивалась в первый наступательный вечер.

Ожидание нависло над улицей. Напряженное тревожное ожидание наступления, которого отсюда не видно, которое в каждую данную минуту может стать реальным разрушительным фактом, из-за любого угла, от любого закругления улицы.

Застрекотал пулемет. И этот стрекот так четко и явственно доносится из-за крыш от Страстного: ясно — он водворен на монастырскую колокольню.

От Тверской, поперек Садовой, стремительно развертывается

сплошная серая цепь. Медленно и осторожно двигаются солдаты, плечом к плечу, ружья на изготовку. Они оглядываются по сторонам через каждый шаг. Они ждут нападения с крыш, через окна. При малейшем подозрении, винтовки готовы вскинуться и ответить залпом.

Улица затаилась и опустела. Баррикада наша тоже теперь пуста: солдаты подходят с внутренней ее стороны, с тыла. И дружинники успели уже перевернуть диспозицию. Они превратили затылок баррикады в ее лицо. И сосредоточиваются на чердаках противоположных углов. Солдаты медлят стрельбой, потому что стрелять не в кого, врага не видно. Дружинники молчат, потому что из револьвера на таком расстоянии стрелять нет смысла.

Но разрозненный солдатский залп все-таки разорвал напряженное безмолвие. Он был пущен так, зря, в направлении баррикады, которая безмолвно приняла этот залп. Потому что живая баррикада была уже над мертвой целью, наблюдала за солдатами через баррикаду, из слуховых окон.

И солдаты далеко не дошли, чтобы ее разрушить. Так же медленно и крадучись, как наступали, они начали отступать. Вероятно, увидели то, чего не могли видеть дружинники, потому что это оказалось у них за спиной...

С Петровки от Каретного ахнуло. И угол дома Персиц, около баррикады, зазиял большой брешью. Вековой кирпич обнажил свою первоначальную окраску свежей кровавой раны. Посыпалась штукатурка. Окна без звона оказывались без стекол.

Новый снаряд ударил рядом с первым, под крышу. И дальше уже пошло только баханье и треск разрывавшейся над дворами шрапнели.

Оставалось лишь слушать трехстороннюю канонаду: от Страстного, с Каретного и от Сухаревского участка на Долгоруковскую... Около Каретного, облитый солдатами керосином, пылает газетный киоск. Улица, насколько хватает с крыши глаз, совершено пуста. Не видно даже солдат. Не видно артиллеристов. И если кой-где в районе и говорят еще револьверы и ружья, то за буханьем их не слышно...

Артиллерия замолчала лишь к сумеркам. Баррикада у Дмитровки, как и у Каретного, как, вероятно, и ряд других по Садовой, осталась цела. Но она замолчала. Дружинники пришвартовались к другим. А здесь слишком очевидной оказалась невозможность загородить такую широкую нерабочую магистраль, как Садовая. Даже Божедомка и Бронные могли успешнее и дольше держаться, чем это Садовое кольцо.

И нужно отдать справедливость: правительство научилось у Японии воевать. И достаточно умело применять эту выучку у себя дома, против внутреннего врага. Но если оно выдвигает артиллерию против револьверов, то что оно сможет выдвинуть, если в руках восставших окажутся хотя бы лишь пулеметы?..

Вечером стали просачиваться вести: Садовая очищена от Самотеки до Кудринской. И чуть ли даже не от Красных Ворот. Держатся Миусы и Грузины. Солдаты пытались проникнуть на Бронные и Козихи, от Тверского бульвара и от Садовой. Но атаковали нерешительно, небольшими отрядами. И скоро прекратили попытки. Не могли совсем проникнуть с Кудринской на Пресню. Вся остальная Москва, кроме центра, продолжает стрелять...

7

С утра район уже втянут был в уличное движение центра. От Тверской к Каретному и обратно не было никаких препятствий. Не собирались под воротами кучки, всегда готовые, в случае надобности, податься назад, во двор. А свободно выходили из-под ворот и направлялись в любую сторону.

Баррикады еще стояли. Но бездействовали, очевидно — забытые и солдатами. И около них толклись уже дворники, высматривая нужный им скарб, взятый с их дворов.

По Тверской движение густо. Кой-где приводят в порядок магазины. Тверской бульвар пустует. Но это, вероятно, для удобства патрулей. Они стоят по бокам проездов на тротуарах. И в десять рук одновременно ощупывают каждого проходящего.

На углу Малой Бронной в Романовке (древняя студенческая меблирашка), между окнами второго этажа, разбиты простенки. Здесь было вывешено белое полотнище с красным крестом. И с противоположного бульварного тротуара жарили по этому кресту из пушки. И теперь, сквозь громадные пробоины, глядят на улицу комнатные потроха.

Наша редакция неприкосновенна. Но управляющий домом, какой-то старый полковник, собрал во дворе кучку черносотенцев. И они под вечер, через забор, подстреливают проходящих по Чернышевскому переулку „длинноволосых" интеллигентов.

Только теперь, после пятидневной баррикадной практики,— приходят в голову все эти кривые и тесные переулки между

Тверской, Никитской, Воздвиженкой. И по другую сторону Тверской. Чрезвычайно удобные для баррикадного наступательного продвижения к центру. Все эти Брюсовские, Кисловские, Кривоколенные. При своевременном захвате их баррикадами, так же как Козих и Бронных, войскам негде было бы маневрировать и развертываться.

И здесь как раз гнездо белой кости. Она собирает здесь черносотенцев и пакостит через заборы. Баррикады под носом у нее нагнали бы на нее ужас. И этот ужас мог повести к замешательству власти.

Но так до сих пор ведется в баррикадной борьбе. Где баррикады особенно нужны, чтобы парализовать военные маневры правительства, там их некому сооружать — нет рабочих. И потому, наиболее революционные и боевые, рабочие окраины всегда оказываются подверженными двойному риску поражения: и потому, что только защищаются, а не наступают на центр, и потому еще, что оставляют центру возможность спокойно обдумать, осмотреться и развернуть свои силы на территории.

В редакцию сходятся кой-кто из сотрудников. Разговоры немногословны, отрывочны. Только о последних впечатлениях, по пути сюда.

— У Охотного военный лагерь — всех обыскивают!

— У Манежа нашли у женщины в муфте револьвер, чуть тут же не пристрелили. Увели с конвоем.

— С Страстной колокольни по Бронным поливают из пулемета!

— Типографию Сытина обстреливают из пушек!

— Солдаты отказываются выходить из казарм!

— Говорят, направляют из Питера полк, но Николаевская дорога не пропускает. Взрывают мосты!

— Пресня держится крепко. Туда не суют носа...

Замечания сыплются без конца, зараз по нескольку.

Здесь не заседание, где говорят по очереди. Каждый завернул набегу, попутно, чтобы поделиться своим и услышать чужое. Потому что всем некогда, и все пришли только за информацией. Поэтому говорят все в раз. Голоса отрывисты, по-боевому. Моментами кажется даже, что от них пахнет порохом. Настроение подъемное, бодрое.

Но сюда многие не могли выбраться.

Вениамин на Пресне, Котяков в Замоскворечье, Андрей в Хамовниках, Иннокентий в Симоновской слободе...

Везде борьба еще развертывается. И все должны быть на своих местах.

8

Восстание подавлено. Взят последний рабочий форпост — Пресня. Третий день над городом стелет она клубы черного дыма. Ночью он наливается кровью зарева...

С дымом уходят и рассеиваются вчерашние гордые замыслы. С ним поднимаются к небу проклятия...

Возвращаются в редакцию работники из районов. Подавленные, разбитые, как с похорон самого дорогого. И здесь уже нет недавнего оживления, деловой сутолоки, бодрящего смеха и суеты. Валится из рук дело, нет ни у кого желания за него приниматься. Да и можно ли уже теперь его продолжать?..

Рабочие полки рассеяны. Их надобно собирать вновь. Снова зарываться в землю, прокладывать новый исторический ход, начиная с агитации и кружков?

Но с этим не мирится сознание. Для него безнадежность всегда источник новых надежд. И мысль, что не все потеряно,— первый спасительный огонек перед бездной отчаянья.

— Дорогие товарищи! — говорит Иннокентий.— Мы были крепки в борьбе, должны быть мужественны в поражении. Мужественными и твердыми, без иллюзий. Иллюзии нужно отбросить! Надо запасаться фальшивками и бодро спускаться в подполье. Наш день вернется, и его нужно готовить самим!

Иллюзией он считает и наше общее желание восстановить издательство. Об этом именно и идет сейчас в редакции наш разговор.

Суровая правда не всегда бывает самая приятная и привлекательная. Слаб человек даже тогда, когда он получает закалку в революционной борьбе. Ему непременно хочется иногда смягчить суровую истину.

Большинство редакции не хочет бросать дело, без попытки его восстановления. Надо лишь выждать первое короткое время, ориентироваться в создавшейся новой обстановке.

И мы снова, как муравьи, начинаем восстанавливать свое дело.

Теперь приходится начинать с меньшего и скромнее. Надо перевести редакцию из дорогой квартиры в дешевую. Тем более, что полковник-управляющий выразил категорическое желание наш квартирный договор расторгнуть.

И последний раз в этом фешенебельном доме, на Никитской, мы собираемся в канун нового 1906 года.

Старый обычай встречи хочется использовать для учета того, что осталось, с чем и с кем придется входить в завтрашний день. Итоги подведены жизнью. Перспективы еще недостаточно ясны, но они в нас самих.

Разрушенное „вчера“ и неопределенное „завтра“—таково настроение встречи. Как будто именины после похорон. И безуспешны попытки Лядова разбудить карманьолой боевую бодрость минувших дней.

А на другой день, уже в новом помещении, где еще нагромождена была, как в сарае, только-что перевезенная мебель, полиция забрала Голубковых, Андрея, Вениамина. Случайно мы опоздали туда с Еленой, и нам пришлось их потом разыскивать по участкам. Вместо меня арестован был какой-то однофамилец, помощник присяжного поверенного.

Все деловые документы и книги оказались в охранке. И о каком бы то ни было восстановлении дела нечего было и думать, по крайней мере сейчас.

Иннокентий оказался прав. Старое испытанное подполье вновь гостеприимно открывало свой надежный люк для желающих возвратиться.

Но и подполье, как только начинаешь туда спускаться, оказывается значительно изменившимся. Жизнь из него представляется совершенно иною, чем раньше. Она не стояла на месте. Она развивалась и развивается, присвоила и усвоила уже новые пути в своем поступательном ходе. Новые взаимоотношения классов, новые формы борьбы. Как ни убога конституционная действительность, она все же открывает койкакие возможности использования.

И так же новым должно стать подполье, входя в новую полосу работы. И с этой полосой связана длинная цепь подпольных переприспособлений, иных конспиративных навыков, более широкий размах работы.

Если хочешь жить, приходится переучиваться.

— Мы еще п-повоюем, чорт возьми!—говорит Алексей.— Сейчас собираем съезд, учтем силы, и п-посмотрим еще, к-кто будет смеяться последний!

Алексей — член ЦК, прикомандированный к Москве. Он руководит после Марата и областным бюро. И к нему приставлен меньшевистский броненосец Череванин. Так же, как год назад, к нам с Андреем приставлены были меньшевики Петр и Владимир.

Но наши технические дела — и цекистские, и областные — мы решаем с Алексеем неукоснительно без Броненосца, как

он прозывается между нами. И он подозрителен (не без основания, разумеется), пытается просунуть свой длинный нос в любую щель. За это прозвали его еще и Рулем. Но он мало что видит и улавливает, еще менее направляет. Так, персона грата, Чеховский генерал.

Вся нелегальная техника сейчас у ЦК (кроме боевых мастерских и лабораторий) — это типография на Лесной. И она завалена работой по подготовке съезда.

Съезд объединительный — поэтому Череванин сторожит Алексея, а Алексей сторожит Череванина. И они так же будут сторожить друг друга и после съезда — это совершенно очевидно. Но формальное единство сейчас необходимо, чтобы не расколоть рабочую армию, сохранить единство класса. Революция не закончена, и логика конкретной борьбы быстро отсеет от класса меньшевистское умничанье.

КАВКАЗСКИЙ МАГАЗИН

1

Или „магазин кавказских товаров“ — как повествовала вывеска.

Он где-то около Бутырской тюрьмы, на видном месте, делает свое невидное дело.

Самое важное в магазине — подвал, для хранения в прохладном месте товаров кавказского происхождения. Самое важное в подвале не эти товары, которых там нет, а колодезь, для отвода возможной подпольной влаги, которая могла бы подпортить товар. И самое важное в колодце конечно не вода (ее там тоже нет), а одна из стенок колодца, специально приспособленная так, чтобы ее можно было, по желанию, приподнимать вверх и ставить опять на место.

Этот секрет колодезной стенки знают лишь те, кто ее делал и кто ею пользуется. Человек посторонний его не заметит и пройдет мимо. И даже, если и знает о секрете, не может по виду определить, в которой же из стенок этот секрет.

И если этот секрет открыть, т. е. приподнять стенку, то метра на полтора ниже края колодца обнаруживается проход в сторону. Точнее пролаз, в виде звериной норы: туда можно лишь проползти на животе, а отнюдь не пройти на ногах. Стенка сейчас же закроется. И вы в абсолютной темноте, как земляной червь, должны проползти еще пару метров, прежде чем начать выпрямляться.

И когда вы зажигаете свечку или керосиновую лампу, они едва горят: здесь уже давно нет добротного кислорода — он сгорел и поглощен легкими в первый же день работы. И теперь он проникает сюда лишь через пролаз, вместе с вами. Но его не может оказаться достаточно: комнатка-погреб настолько мала, что, кроме американки, занимающей ее середину, может стоять около нее (а не двигаться) только двое людей. И головы их упираются в утолщенный пол-потолок.

Звериная пещера, с выбранным сводом, сырая и холодная, как погреб, тесная и душная, как склеп.

В земляной стенке приспособлена наборная касса. Проводить сюда электрический свет из магазина или из квартиры при магазине нельзя: это то же самое, что рассекретить пролаз. Поэтому приходится работать при лампе, уступая ей и соответствующую долю кислорода от своих легких.

Эти детали мне изложил Никитич в прошлом году, для ориентировки, при организации внешних функций типографии.

— Вы конечно, можете, осмотреть ее и сами, но я думаю, будет лучше, если к ней прокладывается возможно меньше следов.

Он прекрасный конспиратор и настолько точный монографист, что, после его рассказа, отпадает надобность непосредственного обследования.

И я пошел даже дальше. Давая инструкции Чорту, при посылке его туда, подчеркнул, что точного местонахождения кавказского магазина не знаю и, без особой надобности, не хочу знать. И ни разу не испытал нескромного желания—пройти по Лесной улице, чтобы, хотя издали, осмотреть место.

Но внутренняя жизнь мне (для дела) достаточно хорошо известна. Сандро и Василий Егорыч оказались на квартире у моего хорошего знакомого Савина.

После двух-трех часов работы, крепкий, здоровый Сандро приходит домой совершенно разбитым, мертвецки зеленым. И лежит пластом, усиленно поглощая воздух. Так и кажется, что он, как рыба на берегу, судорожно раскрывает жабры.

Василий Егорыч, как декорация магазина, не спускается вниз. И он отхаживает Сандро, когда тот отлеживается, а вечером водит его на прогулку.

Но там, при магазине, еще двое таких же, как и Сандро, подземных работников — Георгий и Сила — тоже кавказцы. И тоже, как рыбы на берегу.

И немудрено: когда пахнуло немного свободным газетным ветром и Авель переправил свою типографию в Питер, из подземелья на Лесной глухо отозвался призыв-стон:

— Вон из подполья! На чистый свободный воздух!

— Ни под каким видом: воздух еще недостаточно чист!

И ребята смирились. Они только выговорили себе право изредка посещать митинги.

Снова потекла магазинная жизнь, теперь уже нудная, неинтересная. Но раз сказано, что она нужна и такая, значит — нужно ее проводить. И они целые дни проводят в магазине,

развлекаясь там, как и всякие приказчики, игрою в шашки.

Товаров в магазине на грош: две-три головы кавказского сыра, полтора пуда рожков, пуд кишмиша и мешок рису. И все это разложено так, чтобы не было зияющей пустоты.

И все-таки случайные покупатели осматривали магазин с недоумением. Тогда им вскользь поясняли:

— Здесь не розничная торговля, а оптовая. Товары на складе, а здесь только образцы.

И если покупатель оказывается не совсем случайным и оставляет по образцам заказ, то Василий Егорыч отправляется на Сухаревку и выполняет этот заказ, нередко приплачивая к цене, выговоренной заказчиком.

Если бы магазин был русский и с русскими работниками, то давно бы уже возбудил подозрения своей необставленностью и обилием персонала.

Но кавказцы... они сами по себе в Москве — уже конспирация. Чудной народ — чем живут, зачем живут — их трудно понять: у каждого народа свои обычаи. Приди к богачу-персу в лавку в Астрахани. Сидит он себе на коврике на полу, как идол, с крашеной бородой. И ведь не потрудится встать для покупателя или похвалить свой товар. Выбирай сам, снимай с гвоздика и плати.

Так и кавказский магазин. Лежит на ларе хозяин, играют в шашки приказчики. Какому покупателю придет в голову, что это не по-кавказски.

И так, не вставая с ларя, он с покупателями и беседует.

— Здесь кавказский магазин. Откуда я возьму тэбе мыло? Спичек нэт, господин!

И продолжает лежать совершенно невозмутимо, как невозмутимо сидит и персидский купец в своей лавке.

Но эту невозмутимость нарушает иногда лишь постовой городаш. Пост рядом. И когда городашу становится скучно, он приходит сюда побеседовать. Тогда хозяин спускается с ларя, делает любезную улыбку и угощает гостя орехами. И между ними начинается дружеский разговор.

— Торгуешь мало-мало?

— Какой торговля?! По миру сбирать нада!

С городашем он всегда подчеркивает свой кавказский разговор.

— То-то и я вижу, что плоховато. Товару больше надо! — советует гость.

— Товар болше, деньги нада болше. Дорога нэ ходит, подвоз нэт... Кавказ уеду!

— И чего зря столько народу кормишь, приказчиков? В шашки, вишь, играют.

— Расшибу!.. — грозно устремляется хозяин к приказчикам. Те виновато оставляют шашки и отходят в сторону или начинают наводить в магазине порядок.

— Родня, знаешь, куда прогонишь?

Наступил декабрь. Москва украсилась баррикадами. Кавказский магазин совершенно изолировался от центра.

И его обитатели, кроме хозяина, разбрелись по баррикадам. Народ боевой, ловкий, проворный, они потом опять сошлись в магазине. Только Силу немного где-то помяли казаки, и он, убегая, должен был оставить им свой маузер.

2

В январе уже пришлось почистить машину и настраиваться на работу. Все газеты кончили свои дни. И нужно было думать хотя бы о том, чтобы иметь место для печатания резолюций и директив партийного центра.

Свобода печати сведена к размерам воробьиного носа. Я еще смог заказать в какой-то мастерской на Садовой заголовок-клише: Партийные Известия. Но пустить его в дело оказывалось возможным лишь на Лесной, в подземельи.

Пришел материал для работы. И работники повеселели, залезая вновь в дооктябрьскую шкуру. С такими же предосторожностями, как раньше, доставляют бумагу с нанятого в Кокоревском подворье товарного склада. Там всегда хранится рис, рожки, кишмиш. И туда же, на хранение, свозится и бумага. И здесь же она укладывается в кишмишные ящики или в мешки с рисом. Чтобы свезти, когда понадобится, в кавказский магазин, под видом партии свежих товаров. Сюда же свозится и опорожненная тара, уже вновь наполненная готовой продукцией.

Первый номер Известий идет целиком в Питер. Оттуда уже начнется его распространение.

И Елена, непосредственно после Чорта, ведающая типографией, везет груз в транспортную контору для отправки.

Но декабрь еще у всех в памяти. Движение по железным дорогам не вполне восстановлено. Товарные массы не везде учтены и приведены в порядок. Приемщик груза требует его вскрытия: иначе его наниматель не может взять на себя ответственности за доставку и сохранность.

— Времена, знаете, ненадежные!

— Без разрешения владельца, — отговаривается Елена, — я этого не могу сделать.

Договариваются на том, что до завтра груз остается в кладовой при конторе, пока не соблаговолит так или иначе ответить его владелец.

Вскрывать, разумеется, не имелось в виду. Просто надо его взять обратно и отправить багажом с нарочными. И если не начали с этого, то, конечно, не без основания: нет денег, и приходится экономить на каждой мелочи. Но раз возникают затруднения, деньги надо найти.

А не может ли обратный вывоз груза, в связи с отказом от вскрытия, возбудить подозрительность? А может быть, и донос? Сейчас так много всяких добровольцев и кающихся в своих непроявленных, тайных согрешениях.

Во всяком случае нужно быть готовыми к тому, чтобы, в случае надобности, взять груз обратно силой.

И на другой день Елена отправляется на склад с своим извозчиком. А мы вчетвером, с Голубковым, Сандро и Алексеем, вооруженные револьверами, держимся в рассыпную около склада. По условленному сигналу, мы готовы немедленно изолировать склад и быстро произвести операцию нужной нам выемки.

Вчера у нас не было в мыслях привлекать к этому делу Алексея. Но когда я с ним говорил о возможности такой операции, он вызвался сам:

— Это же к-куда интереснее, чем изо дня в день наблюдать, к-как Броненосец толчет в ступе воду. С ним, кажется, скоро дойдешь до самоубийства: не товарищ, а какая-то унылая тень!..

И он встал, как и мы, под начало Сандро, сегодняшнего нашего предводителя.

А дело кончается совсем пустяками. Сегодня уже дежурит на складе другой приемщик. Он не знает о вчерашних разговорах. Но он видит, что товар уже лежит на складе, значит апробирован и не вызывает сомнений. Никаких разговоров о вскрытии. Он его принимает, мажет клеймо и выдает накладную.

Через два дня товар уже получен в Питере.

3

И кавказский магазин продолжает работать полным ходом. Попрежнему спускаются в свою шахту работники, чтобы в

несколько часов оставить там месяцы жизни. Попрежнему выходят оттуда мертвецки зелеными и разбитыми, чтобы, отлежавшись, готовиться к новому туда спуску...

Попрежнему блюдется над склепом-колодцем строжайшая конспирация. Но ее исподволь, как капля камень, долбит вольная жизнь.

Началось с прислуги. Она жила здесь с самого начала. Ее специально прислали из Иванова, молодую, фабричную работницу, только-что пережившую у себя дома большую забастовку и организацию первого рабочего совета депутатов. В составе его была и она.

Ей только восемнадцать лет. И она только лишь начала широко раскрывать в жизнь глаза. Посылая в типографию, ей сказали о боевом подвиге, и она это поняла буквально.

Но действительность всегда прозаичнее, чем юное о ней представление. Привыкшая к движению, к шуму, к толпе, она оказалась в монастыре: мрачный, конспиративный грузин-хозяин. Грузинка-хозяйка, не разговаривающая по-русски. Грузины-работники — конспираторы. Мрачный монастырский фон, и она, окающая ивановская девушка Марья (будущая Труба), которая учится жизни, которую тянет на улицу, к людям, к своему простому окающему говору, к живому, артельному делу.

И она тайком, хотя и не часто, убегает на митинги. Но об этом не говорит никому, потому что знает строгость внутреннего распорядка. И преступлением не считает, потому что Ольга Афанасьевна, к которой она изредка тоже забегает здесь, старая ивановская подпольщица, не осуждает так сурово ее естественную тягу к жизни.

Но хозяева подозрительны. Они настойчиво добиваются — где была?

И девица, не умеющая изворачиваться, краснеет, сбивается...

Чего мудреного, что здесь зарождается подозрение, растет неприязнь: она, конечно, не выдаст, но она, по молодости и неопытности, может навести на след.

И после декабря, когда понадобилось снова залезать в склеп и восстанавливать строгую конспирацию, в кавказском магазине решают вопрос, как с ней быть... Вопрос мог обернуться трагически.

Она разрубила этот узел сама, даже не зная о серьезности их разговоров. Встретилась с ивановскими подпольщиками и с ними вместе уехала к себе домой.

Нашли другую прислугу, менее молодую, и более спокойную, московскую работницу.

Но река жизни подмывала кавказский магазин уже с другой стороны...

К весне стали появляться в Питере легальные партийные газеты: Эхо, Вперед... В Москве выходил Светоч. Выпускаются партийные сборники: Текущий момент, Вопросы дня...

И снова тускнеет звезда кавказского магазина. Разве может он угоняться за темпом работы в частных типографиях и за их тиражами?

Даже когда приходится печатать прокламации, Сандро предпочитает собрать дружину наборщиков и сделать налет на какую-нибудь частную типографию. Все входы закрыты, внутри вооруженная охрана, хозяин под конвоем. И хозяйские же наборщики и печатники, „подчиняясь насилию", быстрее, чем хозяйскую работу, выполняют этот принудительный заказ.

Скорее и с меньшим риском, чем если бы его выполнять на Лесной.

Сандро специально даже поступил в частную типографию и обзавелся нужными для таких операций связями. И он неукоснительно работает и в кавказском магазине, когда в нем встречается надобность.

Но это означает постепенное и неуклонное высвобождение подземелья, выход его наружу и приспособление к новым условиям.

И на одном из свиданий, на явке, хозяин кавказского магазина заявляет, что так дальше продолжаться не может.

— Нужно товар закупать — нельзя же быть торговцем в пустом магазине! Нужны деньги, а дела мало — не оправдывается. И семья живет, как в могиле. Как ни верти, а выходит — надо кончать! Ребята тоже дела хотят...

На другой день, ясным майским утречком, разыскиваю в Пименовском тупике фельдшера Сухорученко. Это Алексей так себя именует здесь.

Он только-что встал и начал собираться в отход. Мы начинаем разговор в процессе его одевания и сборов.

И входит новый гость. В летней поддевке с сборками и приказчичьем картузе с суконным козырьком, он походит на охотнорядца или приволжского прасола. По бритому же подбородку и закрученным кверху рыжим усам напоминает бывшего фельдфебеля или вахмистра. Но живой, подвижный, веселый взгляд говорит о своем, конспиративном. Значит, костюм и наружность простой маскарад.

Он здоровается с Алексеем, дружески, по-знакомому, кивает в мою сторону и садится на свободный стул.

— Долго спите!

— В-ведь рано еще...

Алексей хочет отложить наш разговор на другое время. Но тот его останавливает.

— Продолжайте, я не буду мешать.

И сразу молчаливо входит в беседу, весело и хитро поблескивая глазами.

— Вот, Мирон хочет прикончить нашу типографию,— говорит ему Алексей.

— Не прикончить,— поправляю,— а временно убрать в надежное место, пока не сгодится вновь.

Для меня уже ясно теперь из слов Алексея, что это свой близкий человек и что о типографии он знает не меньше, чем и Алексей. Поэтому я рассказываю им двоим то же, что рассказал бы и одному Алексею.

Однако в разговор он активно не вмешивается, а только внимательно и сочувственно слушает и поглядывает. Только под конец ставит мне прямой вопрос:

— Как вы думаете ее сохранить?

— Есть арендованный торговый склад. Там хранится наш товар и... другие материалы.

— А квартира? Ведь ей цены нет, такой квартире!

— Надо поселить в ней своего человека, который мог бы открыть там какую-нибудь мастерскую. Обойдется много дешевле, чем магазин.

— Что же, это почти хорошо. Но надо помнить: только пока!

Делает нажим на пока и снимает картуз. Обнаруживается совершенно голая голова, слишком резко противоречащая и молодому веселому взгляду и залихватским рыжим усам.

И я еще не успел оправиться от неожиданности этого противоречия, как он уже опять закрыл голову картузом и быстро поднялся.

— Я пошел — вы не опоздайте!

И так же быстро вышел, как и вошел. Алексей начал торопиться сборами.

— Как же решаем?

— Так чего же решать, к-когда уже решено?...— удивляется он.— Если Ленин сам решает пока ликвидировать, о чем р-разговор?..

4

Кавказский магазин исподволь упаковывается. Разбирают, чистят и жирно смазывают части машины. Как ценное оружие,

перед сдачей его на хранение. Старательно укладывают в небольшие ящики под номерами и особыми знаками. По ним потом, по особому списку, можно с точностью определить содержание каждого. Список будет передан на хранение особо от ящиков. Поэтому он составляется так, чтобы мог разобраться всякий, кому придется потом разбирать ящики и устанавливать части.

Подобран и рассортирован шрифт. Разложен по кассам. И так кассами и упакован, чтобы, когда понадобится, сразу же можно было вскрыть тару и начинать работу.

Так в старину, вероятно, заботливая помещица-маменька собирала свое детище в дальнее путешествие. Чтобы каждая мелочь обихода была на месте и под руками, чтобы дитятко не испытало никаких неудобств и не беспокоило себя пустыми заботами: подумал и взял тут же без лишних хлопот.

— Дело, можно сказать, на ходу будет передано! — хвастает Сандро.

Но ему, как и Силе, как и Георгию, видимо, грустно так говорить. Когда человек шутит прощаясь, это значит — он хочет, чтобы не видели его слез. Плакать о самом деле, конечно, не было смысла — на сегодня оно переживало себя, не удовлетворяло уже, не давало того, что нужно.

Но в нем оставалось страдание — свое и чужое. В небольших ящиках укладывались тяжкие подземельные ночи, распластанные бессильные дни, когда люди, как рыба на берегу, судорожно ловили жабрами воздух. Страдания, претворявшиеся в яркие мечты и незабываемые слова, зовущие в бой за другую человеческую действительность.

— Вот я работаю сейчас в настоящей типографии, — говорит Сандро, — светло, тепло, на людях... А к работе не тянет — не интересно, отбываешь только часы!

И все они — Сандро, Сила, Георгий — собираются уезжать в Питер, в партийную типографию.

В июле 1906 года типография была вывезена на склад, в Кокоревском подворье.

Алексей уже сидел в это время в Бутырской тюрьме и ждал высылки. В начале августа я занял соседнюю с ним камеру. А через неделю, когда Алексей отправлялся в этап, его тюремный кабинет занял Голубков. Сандро, после нашего ареста с Еленой у Голубкова, чистил нашу квартиру от документов. И через несколько месяцев, следующей весной, приветствовал нас, проходя через тюремный двор на этап.

Когда человек заперт в тюрьму, отдельные звенья жизни,

от которой его оторвали, ему особенно ценны: по ним восстанавливаются прорывы живой действительности, и сама жизнь не утрачивает своей цельности и поучительности.

Ровно через год после нашего ареста в тюрьму привезли Новикова и Якубова, арестованных в типографии московского комитета на Сретенке, в магазине. Это она, наша типография, восстановлена была здесь, а теперь хранилась на складах охранки, в качестве вещественного доказательства.

А еще через год, по коридору, мимо моей камеры, с одеялом и подушкой проследовал Чорт. Тот самый Чорт, который был первым заведующим типографии на Лесной. Но сейчас он пришел сюда по другому делу...

И еще прошел бесконечно долгий и невидный тюремный год... Мы с Еленой, последней заведующей типографией, шли в сибирском этапе из Бутырской тюрьмы на вокзал... по Лесной улице.

— Кавказский магазин был здесь,— указывает глазами Елена, — в этом доме, вот вход!

И я разглядываю его не в теперешней обстановке и не с этой неинтересной мне, новой вывеской. В памяти встает сентябрь пятого года, Марат, Никитич, разговор о кавказском магазине перед назначением Чорта. Именно это место — улица, магазин, вход — в моей памяти до сих пор было пустым. Я сознательно не хотел его заполнять, когда посылал туда Чорта. Сознательно направлял свои шаги в сторону от этой улицы, когда ходила туда Елена, моя жена.

И только теперь, через четыре года, когда уже всякие опасности для кавказского магазина далеко позади, этот пробел в памяти можно заполнить. Для истории пролетарской борьбы он может еще пригодиться.

КОНЦОВКА—НЕ КОНЕЦ

1

Жизнь нельзя описывать по порядку, день за днем, мелочь за мелочью. Она становится тогда прозаичной, неуклюжей и скучной. Как огромная, старая рогожа. А между тем это гигантский художественнейший ковер. И на нем величайшей красоты самотканная незавершенная роспись хитроумнейших узоров, увлекательнейшая поэзия сочетаний.

Смена красок и теней — это смена противоречий. Через них понятнее и дороже становится жизнь. И они дают ей ценность и полноту содержания.

И жизнь — это непрерывная революция, непрерывная смена противоположений, непрерывное завершение художественнейшей узорной росписи.

И кто говорит, что на московских баррикадах расстреляна революция, тот не знает, не понимает, не видит жизни!

Революция ушла в глубь. Не на убыль и не в подполье, а именно в глубь. Так, говорят, бывает во время землетрясений, когда на пути бурной реки нагромождаются обломки массивов и скал. Разве уничтожается тем ее сила... Она дробится и разливается, идет в обход, пробивает новые пути, просачивается везде, где не оказывается препятствий и где ее раньше не было совершенно. И она ищет новое русло, в котором станет опять полноводной и бурной.

В Москве, в Ростове, в Харькове, в Сибири, в Латвии, в Польше и на Кавказе — везде расстреливают Декабрь. Везде на пути революции громоздятся массивы и скалы. Давят виновных и невиновных, всех без разбора. Уничтожая одних, тем самым готовят других в удесятеренном числе. Ткань революции не разрывается, лишь уплотняется уток, быстрее мелькают челноки, разнообразнее, художественнее получается новый революционный узор.

История не повторяется. Но она претворяется. То, что было, не вернется опять тем же самым, как было. Но оно при-

дет, не может не придти в новых обогащенных и усиленных формах. Это основной закон живой жизни.

Страдания родят революцию. Поражение революции удесятеряет страдания. И разве не для того, чтобы вдесятеро усилить и увеличить новую революцию?..

Вот почему нам не стыдно уходить снова в подполье.

Мы ткачи революции. И мы обязаны подготовлять ее исторически новый, обогащенный узор. Обязаны пролитой сегодня кровью восстания пропитать завтрашний день. Собирать старые и новые силы для завтрашнего восстания.

И нам нет дела сейчас в январе, когда только-что потухло зарево Пресни, до выборов в Думу. Она в стороне от революции. И в стороне от русла жизни рабочих масс. Она не решает их исторической тяжбы с самодержавным укладом.

Наш парламент — партийный съезд. И порядок дня — вопросы революции, вопросы восстания.

Но старое подполье везде запущено, а иногда и разрушено. Его нужно создавать вновь. И это гораздо труднее, чем раньше. Многих не досчитываются, многие стоят в раздумьи, иные отряхнули с себя подпольную паутину и не хотят ее больше на себе видеть.

Московское областное бюро обезглавлено накануне восстания: Марат в тюрьме, Алексей еще не назначен. Но кому-то нужно поддержать организационные функции, надо восстановить связи. Нужно кого-то временно в эту телегу впрячь.

Мы с Андреем, сговорившись на этом, едем к Красным Воротам. Там живет один из цекистов, год назад арестованных у Леонида Андреева. Перед восстанием он работал в *Борьбе*, был в редакции нашего *Вперед*. И он — человек, испытанный в прошлом.

— Мы по твою душу приехали, Михаил,— говорит Андрей:— пора за работу браться!

— Что ты спишь, мужичек, уж весна на дворе?..— раздумчиво отвечает Михаил вопросом. — А в чем, собственно, дело?

И когда мы его излагаем ему, он долго думает. Потом смотрит попеременно на нас обоих.

— Нет, уж увольте меня, прошу вас... Не под силу мне это!

— Вот глупости! Когда это скромность была твоим украшением?.. Да и не к лицу она нам сегодня!

— Это не скромность,—хмурится он. Опять оглядел нас серьезно и пристально. И как-будто решился.

— Почти десять лет я перехожу из одной тюрьмы в другую. В тюрьме о воле думаешь, на воле о той же тюрьме... Устал я от этого!

Говорит раздумчиво, как в себе читает.

— И вот на нее посмотрите,—указывает на высохшую, печальную, черненькую жену:—она только и живет свиданиями через решетку и хлопотами в тюремных конторах... Какое у меня право, скажите мне, так уродовать ее жизнь!

О каком ему особом праве могли мы сказать, раз человек перестал его находить в себе? Можно было бы ему сказать, что вся борьба за новую жизнь неизбежно уродует чьи-то старые жизни; что сейчас, когда эта борьба понесла временное поражение, неизмеримо больше уродуется и жизней тех, которые боролись, и новых, еще не вступивших в борьбу...

Но ведь это он знал не хуже нас и сам. И знал, что этот довод его о загубленной жизни маленькой женщины — гнилой довод.

— Был человек, и нет человека!—говорит Андрей, когда мы оказались на улице.

Эта первая ласточка не оказалась последней: восстанавливать подполье труднее, чем его создавать вновь.

2

Пытаемся снова восстановить нашу газету. От либерализма типографщика Холчева не осталось никакого следа.

— Что вы от меня хотите?—спрашивает он.—Чтобы мне закрыли типографию?..

Он даже разговаривает с нами не как с заказчиками, а как с просителями, которые ему без надобности надоедают.

— Ваша бумага? Ее ничего не осталось. Боюсь, не перерасходовали ли вы мою бумагу — в той же самой кладовой была и ваша, и моя. Ваши авансовые полторы тысячи?! Бог мой! А неустойку кто мне заплатит за вас?..

Разбиты по всем пунктам. Судиться с ним бесполезно: наш экземпляр договора забран охранкой и бесследно исчез.

Толкаемся в другие типографии. Любезно и охотно разговаривают, пока не скажем, какую газету выпускать будем. После этого тон сейчас же меняется.

— Все машины заняты, никак нельзя!

Пытаемся через своих печатников сначала разведать, где имеется свободное место, чтобы втиснуться. Находиться и там, и тут. А как только дело доходит до переговоров с владель-

цем типографии, место всегда оказывается только-что занятым.

Всего два-три месяца назад союз печатников мог распоряжаться хозяевами. Сытины, Кушнаревы давали ему деньги на оружие для рабочих. Теперь хозяева прибирают к рукам рабочих и становятся в своих типографиях прежними хозяевами.

С газетой пришлось покончить и думать о нелегальной работе.

И тоже надо начинать с начала — с гектографа. И делать все самому: даже студенческая молодежь из организации какбудто под метлу вычищена. Часть по тюрьмам и ссылкам раскидана, часть отошла, „образумилась", занялась учебниками. Остались единицы, которые разрываются на массу дел.

И любопытная вещь, одно из показательнейших противоречий. Интеллигенция отходит, когда оказывается в особенности нужной: в районах небывалый спрос на пропагандистов. Рабочие кружки сами родятся, их не приходится собирать, сколачивать, как раньше. Прет в них рабочая молодежь, задетая баррикадами. Возвращается с приростом рабочий актив, случайно увернувшийся от ликвидации.

И не агитации уже они требуют — она живая проходила перед глазами от забастовки до восстания. А нужна учеба, как и „благоразумным" студентам, только другая учеба. Им нужно понять сложную цепь явлений в глубинном социальном разрезе. Сверлят в голове вопросы не где и что, а почему и как. Рабочая молодежь хочет осмыслить, кадровик — подковаться.

Мой старый знакомый Слуховский просил пристроить его к пропагандистской работе. Человек он знающий, солидный (борода лопатой и лысина). Много околачивался раньше около партийной публики и, по Мартовскому уставу, мог претендовать на членский билет.

— Замечаю, что интеллигенция рыло от рабочих воротит в сторону, — говорит он мне: — хочу тряхнуть стариной!

Это его обычай подчеркнуть свою готовность на жертвенную роль.

Ему с готовностью и быстро дали кружок.

И этот вот старый пропагандист, которому мы когда-то, когда учились, чуть не смотрели в рот, теперь растерялся.

Прежде всего он пришел на занятия, вырядившись под рабочего, — в засаленном картузе и в косоворотке. И сразу заметили маскарад, подделку, заподозрели в трусости.

— Раз боишься — не суйся! — говорил о нем потом один

из кружковцев.— И совсем мы не такие чучела, каким он обрядился. Обидно даже — как-будто на тебя ребячьи штаны с проймой одели!

А затем уже он сам мне жаловался:

— Я им о строении общества рассказываю, а они спрашивают: как это по антюдирингу будет?.. Слышали где-то, не переварили, переврали и ввертывают! Боюсь, что у меня с ними ничего не получится.

И, конечно, не получилось. Старый пропагандист не понял новых учеников. Новые непереваренные слова (а их слишком много вколочено в голову боевыми месяцами) требуют немедленного оформления в понятия, сведения в какую-то, хотя бы примитивную, схему. Так же, как отдельные части костюма, для примерки сшиваются на живую нитку. И старый пропагандист для этого оказался так же неприспособленным, как для столичной мастерской деревенский швец.

Слова и понятия, зацепившись однажды в сознании, становятся живыми. И у живого человека непременно требуют немедленной увязки с жизнью и с практикой. Если этой увязки не укажет учитель, ее будет искать и непременно найдет сам ученик, собственным разумом.

Был один книжный магазин у московского комитета — Весна. Сейчас развертываются отделения по районам.

— Перед восстанием не было такого спроса на книгу,— говорит заведующая магазином,— а сейчас рвут из рук!

Районные комитеты почти сплошь из рабочих, кроме секретарей. Общегородские конференции — рабочие на три четверти. Самостоятельно рабочими строятся профессиональные союзы. Интеллигенция лишь для справок, разъяснений юридических норм, консультации и партийного представительства.

Класс берет руководство своей политикой в свои руки.

И разве можно в этой атмосфере рабочего роста думать, что революция кончилась, что восстание не повторимо?!.

3

И все-таки нехватает рук, мало людей. Потребность в них растет неизмеримо быстрее, чем их подготовляет практика. И еще быстрее их вылавливает полиция.

Аресты ежедневно, массовые. На них как-то перестаешь обращать внимание, и к ним все привыкли. Все московские участки обращены в тюрьмы, потому что тюрьмы уже давно переполнены.

И как-то механически место арестованного занимает в ра-

боте другой, ближайший, не в очереди, а под руками, или кто первый мелькнул в глаза.

— Вчера арестован Алексей,— бросает, между прочим, Голубков:— завтра на явке принимает Владимирский.

— Секретарь у нас уезжает,— ловит меня председатель комитета Степан:— посоветуй, пожалуйста, кого бы запрячь?

Он случайно и удачно выразился: запрячь. Что такое секретарь московского комитета теперь? Де-юре — это исполнительная власть крупнейшей партийной организации, ее практический организующий центр. Де-факто—это безответная партийная кляча, впряженная в колымагу, которую может вести по меньшей мере четверка достаточно резвых коней.

Это штабный генерал без ординарцев, директор департамента без канцелярии, интендант без заведующих и сторожей складов, квартирмейстер без адресов, паспортное бюро без паспортистов.

Рабочие районы оправляются, растут, активизируются, требуют. А передаточные механизмы изнашиваются, выпадают, уничтожаются, выходят в тюремный тираж. И организационные формы на глазах отстают от потребностей жизни.

И все яснее, все настоятельнее становится необходимость перестройки подпольной работы, переорганизации ее функций. Подполье должно децентрализоваться в районы.

Но жизнь не стоит. Общая политика совершает свой круг. И на запросы ее приходится давать надлежащий ответ, хотя бы и в ненадлежащих условиях.

За неимением подходящей квартиры, комитет собирается на этот раз в пригородной Останкинской роще. Путь указывают пикеты. Они же потом скрытым кольцом охраняют заседание от посторонних глаз и ушей: вопрос слишком важный, чтобы допустить какой-либо риск.

Старик Рамишвили информирует о положении Думы, о предполагаемом (по разговорам) ее разгоне. И он специально приехал от ЦК, чтобы на месте узнать о настроении московских рабочих, о их готовности и возможности к защите обреченного парламента.

— Дума — это достижение революции,— говорит он,— конечно несовершенное, не учредительное собрание. Но она — противопоставление самовластию, и постольку в праве претендовать на защиту рабочего класса.

Он держится скромно и с достоинством, как добросовестный демократ-парламентарий. Большая с проседью борода, бедноватый костюм и спокойная, без горячности, речь напо-

микает скорее приволжского деревенского учителя, чем кавказца. И парламентский подход — сказать осторожно, подумавши: достижение, самовластие. Если не знать, что он лидер с.-д. фракции, можно принять за трудовика, даже за левого кадета.

— Мы, правда, привыкли к другим терминам (завоевание, самодержавие),— язвит Гусев, как-будто в сторону,— однако не в этом дело. А нужно ли защищать господское учреждение, чуждое рабочему классу? Если она призовет к восстанию, тогда ей по пути с нами: мы готовы!

У Рамишвили мало защитников: из 15 членов комитета — меньшевиков только трое. И они высказываются лишь по обязанности и для того, чтобы сгладить противоречия позиций депутата и комитета.

— Товарищ Рамишвили прав, призывая к поддержке Думы,— высказываются они, — и конечно он разумеет не безусловную поддержку, а при наличности революционной инициативы самой Думы. Повидимому, такая точка зрения разделяется и большинством выступавших?

Из районов сообщают о рабочих настроениях, о возможности их развернуть, в случае надобности во всеобщую забастовку-протест.

Попутно Леший информирует об усиленном брожении в московских казармах и лагерях. Он учитывает декабрьскую неудачу с астраханцами и объясняет ее нашей тогдашней неопытностью, медлительностью.

— Теперь вполне можно рассчитывать на поддержку!

Он не говорит о восстании. И никто другой тоже не говорит о нем. Но все думают именно об этом. И забастовка-протест сама собою понимается как начало возможного вооруженного восстания.

И это вопрос слишком серьезный, чтобы его обсуждать без руководящей санкции. Но и забастовка-протест, при данных условиях, может стихийно перерасти в восстание. И эту возможность надо поставить перед руководящим центром.

И Владимирскому дается поручение немедленно выехать в Питер, для переговоров с соответствующими центрами.

Но когда уже заседание кончилось и меньшевики с депутатом отошли первой группой, наскоро и вполголоса Владимирскому дается наказ:

— Найти Ленина, подробно его информировать и получить конкретные указания — в какой мере использовать данную ситуацию и насколько далеко идти в привлечении войск.

Дума разогнана и собирается заседать в Выборге. Вопрос о всеобщей забастовке решается сегодня на экстренной общегородской конференции: Сокольники, 6-й лучевой просек, до железной дороги, направо, пароль...

Назначенная на вечер конференция оказалась ночной.

Делегаты, в одиночку и группами, переползают через полотно железной дороги, зажатое в лесу, и скрываются под деревьями. Здесь уже совсем сумерки. Приходится ступать осторожно, чтобы не запнуться за корневища или не наколоться глазом. В лесу тихо и пахнет прелым опавшим листом и елью.

И конференция располагается не на поляне, как обычно днем, а тут же в гущине, между деревьями: все равно ораторов не будет видно, а здесь они слышнее, и можно не повышать голоса. И делегаты сгруживаются плотно друг к другу— сидя, лежа, прислонившись спиной к дереву или опершись на траву локтем. Вновь приходящие усаживаются так, что от центра их уже не видно. Только слышится с той или иной стороны:

— Подожмись-ка, парень, малость, присядем тут.

— Ну, чего прешь, не видишь? Возьми глаза в зубы!

— А ты не шеперься, как барин...

— Тише, товарищи,— не дома на печке.

— Можно, пожалуй, и начинать?.. Пока не заснули.

Многие угнездились удобно, под разлапистыми ветвями старых елей, как под шатром. После дневной работы, под разговоры, кое-кто с успехом может и выспаться.

Если бы сейчас развести здесь костер, со стороны конференция могла бы сойти за шайку разбойников из сказочных брынских лесов. Но костра развести нельзя.

И единственный огонек, освещающий лишь одно лицо,—это свечка в руках председателя Степана. Он ее привязывает шпагатом к сучку около себя: ему нужно вести запись ораторов. И у него на колене листок бумаги с карандашом.

Вводный доклад делает Алексинский. Этот маленький человек, с высушенным бабьим лицом, недурной краснобай. Когда говорит, то кажется, что он встаёт на цыпочки, как-будто надевает на себя большой не по росту костюм. Но это кажется только теперь, в темноте, когда не видишь его, а только слушаешь. Днем это скрадывается: ему помогает его подвижное бабье лицо. А сейчас слова не согреты, жестки, сыплются как горох. И горохом же в стену доходят до слушателей.

— Самодержвие снова распоясывается!.. Даже кадетская Дума, Дума Муромцевых и Кизеветтеров, выталкивается на революционный путь!.. Рабочий класс не позволит царскому стоптанному сапогу топтать свои завоевания!..

Он говорит так же, как говорил перед студентами в дни октябрьской осады университета полицией. Та же облитературенность речи, тот же интеллигентский сарказм.

Но он не видит лиц и не понимает, что говорит мимо аудитории. Здесь подавляющее большинство рабочих. И они знают по опыту, что самодержавие распоясалось еще на Пресне.

— Ежели теперь говорить о революционности Думы,—возражает в прениях рабочий-районщик,—так это еще посмотреть надо! Билет до Выборга—пара рублей,—тут и вся цена революционности ихней!

— Ехали бы сюда вот, к нам,—реплика из-под елки:—можно и о баррикадах поговорить...

— Да, вот так!—соглашается оратор.—Оно, конечно, насчет забастовки попытать можно. Следует попытать! Только опять же с голыми руками...

Список Степана зачеркивается сверху и растет вниз. Хвост не уменьшается, а удлиняется. Сгорела одна свеча, подвязывается к сучку другая. А до половины записей еще далеко.

Думе не верят—чужая она, не надежная. Но забастовка волнует независимо от нее: придавленная боевая активность требует выхода.

— Надо заявить о себе—и то уж давно молчим! Показать нужно, что Пресней Москва не кончала, а начинает!..

Молодой голос часто срывается, как-будто торопится ухватить нужное слово, а оно не дается.

Идет рассвет. Резче выделяются серые лица. На каждом печать заботы и утомленности прослушанной ночи. Голоса утрачивают звучность и полноту, они слабы и беспризывны, как у людей крайне уставших.

И только теперь догадывается кто-то:

— Закрыть прения!

— Давно пора...

И только теперь можно голосовать руками—стало совсем светло.

— Товарищи, голосую!—встает на ноги охрипший Степан.—Кто за забастовку?..

Из-за кустов, из-под елок, просто с земли вытягиваются руки.

Против—мало. Это те, которые сомневаются в ее успехе.

Они приняли бы забастовку, если бы уверены были, что массы отзовутся дружно.

— Рабочие еще не вошли в новые политические оглобли,— бросает комитетчик Владимир.— Эти оглобли их раздражают, давит хомут! Но они инстинктивно хотят начинать не с того, с чего начинали, а на чем кончили. Кто нюхал порох, того не прельстишь палкой, хотя она и сделана под ружье!

— По моему, товарищи, надо бы маленечко обождать...— вторит рыжебородый старый ткач.— Массу трудно сейчас на подъем взять, на забастовку: на фабриках много совсем сырого народу! И облегчения кой-какие имеются. Конечно, если сразу за землю, так и сырой народ тронется! А только лучше бы чуточку обождать, подготовиться — так я думаю.

Выступление решено. Но нет ни у кого уверенности, что оно дружно будет подхвачено. Даже у тех, кто за него высказывался. Так выходило: не выступать нельзя, что бы из этого ни получилось — лучше кризис, чем неизвестность, неопределенность. Дума раздражала гневными бездейственными разговорами. Надоедала бесконечным повторением одних и тех же словесных угроз, с одного и того же сидячего места. Ее речи, как назойливые июльские мухи, всех беспокоят, тревожат и никого не кусают. И нужно раз навсегда с этой раздражающей настороженностью бесцельного ожидания кончить. Нужно сделать действенный вывод из недоговоренных слов, хотя бы этот вывод и бил по тебе.

Нужна рабочая боевая ясность и точность, вместо адвокатских вывертов и подзуживаний.

И получилось так: по форме забастовка — протест против самодержавия, разогнавшего думу, по классовой сути — демонстрация действия против думской говорильни.

Забастовка-протест вышла таким же недоноском, каким оказалось и думское выборгское воззвание. Демонстрация действия получила значение дубового клина между рабочей и буржуазной политикой.

— Мы свою историческую задачу выполнили,— заявил член Думы от Москвы, кадет Тесленко, представителю комитета:— мы призвали народ на защиту его попранных прав. Чего вы еще хотите от нас?

— Действительного и немедленного доведения вашего призыва до народа, участия ваших типографий, ваших учреждений, ваших сил и средств в широком распространении вашего же выборгского воззвания, в его претворении в действие!

Представитель комитета имел утопическое поручение: во-

влечь московское отделение кадетской партии в активное распространение выборгского воззвания. И говорил с адвокатом Тесленко, как с председателем отделения.

— Мы этого не можем,— заключил Тесленко,— согласитесь сами: народное представительство и агитационная канцелярия — вещи несовместимые!

Ясно: их историческая задача — призвать, наша — выполнить. А как мы к этому призыву относимся — их мало интересует. Приказ по армии, не справляясь с желаниями солдат.

И солдаты революции — рабочие массы — после опыта с первой Думой и выборгским воззванием, строят собственную классовую политику. Она складывается вне парламента и независимо от него. Но она обращает парламент в свою трибуну для агитации.

Но учиться этой политике и ее наблюдать приходится уже в тюрьме, через ее каменные стены.

Неделю назад дворник нашего дома, при встрече под воротами, с оглядкой дипломатически намекает:

— Какой то человек два раза спрашивал, где вы служите...

Значит надо подготовиться к скорейшей эвакуации. И мы договариваемся с Иннокентием: я должен выехать в Питер для организации типографии ПК.

Завтра рано утром общегородская конференция МК. И сегодня вечером надо собрать все, что хранится в разных местах—паспорта, бланки, адреса...

Мы возвращаемся с Еленой домой вечером мимо квартиры наших друзей Голубковых. За делами их редко приходится видеть. И через два дня придется расстаться надолго. Так заманчиво провести с ними этот последний вечер.

За пару часов до нашего прихода, Голубков зашел по делу к комитетчику Мальцману. Ему открыла там дверь полиция. И она же теперь открыла перед нами Голубковские двери...

Елена еще смогла спрятать в прическу партийные деньги в крупных купюрах. Но куда смог бы я спрятать об'емистый свой бумажник с паспортами, бланками, адресами?..

Дерзкая моя попытка бежать на улице от конвоя, чтобы предупредить товарищей, не удалась: встречный шпик самоотверженно бросился на мостовую под мои ноги, и я оказался смятым десятком набежавших других.

И мы с Еленой вышли в тираж на целых три года.

ОГЛАВЛЕНИЕ